

9-1973

стихи

Потрусь
Бровка

Перевел
с белорусского
В. КОРЧАГИН.

Веселка

Отчий край! Боры, болотца,
Журавлиные луга...
И веселкою зовется
В небе радуга-дуга.

Но была у нас Веселка,
И не в небе — на земле:
Активистка, комсомолка,
Лучше всех девчат в селе.

На работе, в споре, в пляске
Всех бывала горячей!
А красою — как из сказки:
Уст пожар да синь очей.

И Веселкою вся волость
Эту девушку звала —
За пригожесть, за веселость
Да за светлые дела.

Было нас, парней, немало. —
Потеряли все покой!
Но она лишь хохотала,
А надежды — никакой.

Помню хлопца-краснофлотца...
Помню, вспыхнул ее взор...
В небе радуга зажжется —
Сердцу больно. До сих пор.

Симфония утра

Легко найдя мое окно.
Рассветный луч скользнул ко мне...
Листва деревьев, как в кино.
Трепещет прямо на стене
Перемещается экран —
И ветви вниз ползут на нем.
Вот на столе он заиграл

Веселым розовым огнем.
Все ярче утро, все звучней
Там, за окном, — его певцы:
Вдруг защечечет воробей,
И заведут свое скворцы.
Вступает весь крылатый хор,
Разливом — звон, и треск, и свист...
А вот затарахтел мотор:
То катит к полю тракторист.
Электровоза гулкий бас
Пророкотал недалеко.
К шоссе пошел с цистерной МАЗ —
Везет он в город молоко.
А там, за лесом, где поет
Гудок фабричный паровой,
Сверкнул, взвиваясь, самолет.
Тот, что сближает Минск с Москвой.
И голоса со всех сторон
Так солнечно слились в одно.
Что стыдно спать. Какой тут сон!
Сижу, работаю давно...

Кавказский рисунок

Стоят утесы-великаны,
К стопам их льнут луга, поля.
В синь,
Как зеленые фонтаны,
С предгорья рвутся тополя.
Иду по тропке каменистой.
Орел клекочет вдалеке,
И смех горянки,
Юный, чистый.
Звенит в сверкучем ручейке.
А скал причудливая груда —
Как рассыпной застывший гром...
Кем высечено
Это чудо!
Каким гигантским топором!
А над бездонною тесниной,
Там, где отвесна крутизна.
Корнями,
С цепкостью орлиной,
За почву держится сосна.
И, словно белый свод чертога,
Пух облаков чарует взор...
Недаром
Рисовали бога
На облаке и между гор.

За что вас так люблю!..

Где б ни был я на белом свете,
Вы все — со мной. Не отделию.
Вы мне скажите, вы ответьте:
За что я так вот вас люблю!
Люблю березу ту кривую,
Что у отцовского двора;
Ушачку, речечку родную.
Хоть далеко ей до Днепра;
И пару сосен на пригорке.
Таких певучих на ветру;
И хаты и дымок их горький.
Плывущий к гумнам поутру;
И луговой моей тропинки
Едва приметный поясок;
И лес и те его ложбинки.
Где пили мы кленовый сок.
Ах, отчего тот лес так светел.
Так памятен в нем каждый гриб!..
И ведь нигде-то я не встретил
Ни лучших птах, ни лучших рыб!
Не диво ль, что лишь в нашей чаще
Была черника так сладка,
Был добр и ласков дождь шумящий
Как материнская рука!
А васильки в том русом жите,
Где волны — как по ковылю!
Нет, вы ответьте, вы скажите:
За что, за что вас так люблю!!

Роман
Солнцев

Эконда

Занесло нас э куда!
Перед нами — Эконда.
Вся фактория встречает
прилетевший самолет.
Летчик что в толпу бросает —
дальше перышком плывет!
По рукам — конверты, свертки,
бочка, ящичек, ружье...
Напряженно солнце смотрит
прямо в существо мое.
Отбегая понемногу
с яркой взлетной полосы,
летчикам дают дорогу
вечно дремлющие псы...
На снегу лежат олени.
И недвижимые стоят.
Нынче время возвращенья
представителей бригад.

Куча грамот, пива ящик —
разрешил купить райком.
Строганины брус блестящий.
Хлеб сегодняшний с дымком.
Хлеб посыплю желтой солью,
буду я иметь в виду:
— Молодец, хороший соболь
в нынешнем ходил году...
Нет честнее человека
на планете, чем эвенк.
Врет эвенк — так у эвенка
глупо губы лезут вверх.
Врет эвенк — так видно сразу
по смеющимся глазам...
И внимаю я рассказу —
лишь рукой по волосам!
Тут для споров темы хватит.
Нож — сюда. Олешка — стоп.
На малиновом закате
с желтой лампочкою столб...
В полутьме под бокарями
бак с бензином, и дрова,
и собаки за дровами —
их не различишь сперва.
Уравнялись в стуже, в мраке
все они в своих правах:
и дрова, и эти баки,
и собаки на дровах...
Горевать мне некогда.
Тихо светит Эконда.
Гаснет медленно пространство,
полон снега Звездный ковш.
И душа твоя прекрасна —
от такого не уйдешь...

Стихи о чайке

На песке, блестящем веселее воска,
птица та лежала — белых перьев горстка.
У воды лежала в неумолчном гаме
птица с красным клювом, с красными
ногами.
И толпились люди, бормотали: «Жалко!..»
Маленькая девочка ткнула пальцем:
«Чайка!!»
Угадала, девочка! Вот ведь как нелепо:
опустело синее, голубое небо!
Не кричит пронзительно, ветром относима,
чайка возле мачты, пролетая мимо.
Не висит над лаковой вечером водою,
слабо озаряема сильною зарею...
А в краю далеком, в городе средь леса,

нету у Озолина к жизни интереса!
Что же с ним случилось!! Написал письмо я.
Думал простодушно: сочиню большое,
чтоб ему не скучно, — впечатленья лета,
про загар, про девушек, и — про утро это.
(Как она лежала в неумолчном гаме
птица с красным клювом, с красными
ногами...)
И зачем я только написал о птице!
Словно мину страшную прилепил
к странице!
Просто, как зевака, не подумав здраво,
помянул я чайку... И напрасно, право!
И теперь далеко, в городе средь леса,
нету у Озолина к жизни интереса!
Ведь когда-то в юности он ходил матросом
к берегам Канады, к неродным березам,
и летели чайки вслед за кораблями,
раскрывая рты беззвучно над волнами,
как привет Отчизны, той земли прекрасной,
где друзья и жены, флаг струится красный...
Почему порою мы к друзьям нечутки!
Беззаботно шутим. Разные есть шутки.
Одному опасны новости о спорте.
А другому — ложь... И вы со мной
не спорьте!
Отослал письмо я — после спохватился!
Сотню раз раскаялся. Звонил —
не дозвонился!
И в ответ помчались срочно телеграммы:
— Как! Какая чайка! (Все детали драмы!..)
Самолет ли тронул розовой струей!
Дробь ли подцепила чайку над страной!
Иль сама устала, старая, упала!..
Я писал ответы. А ему все мало!
Я писал, что это единичный случай.
«Черт же меня дернул! Ты меня не слушай!
А про то послушай, как сверкает море.
Миллионы чаек виснут на просторе!..»
Что теперь мне почта, марки и конверты!
Не пишу я писем. Шлю друзьям конфеты.

ПРОЗА

ИОН ДРУЦЭ

ПОВЕСТЬ

ЗАПАХ СПЕЛОЙ АЙВЫ

I

Была только середина апреля, а Кишинев уже шелестел свежей листвой. Весна взорвалась за какие-нибудь два-три дня, и началом этого взрыва послужил немислимо ранний для Молдавии дождь. Он пошел ночью, с десятого на одиннадцатое апреля, и лил до самого белого дня, и грохотал гром, сверкали молнии по всему небу, а к утру на город накатила весна. Высокий, красивый и печальный учитель шел по проспекту Ленина, вдыхал запах свежей зелени и думал про себя: «Вот эта ранняя гроза и доконала меня...»

В правой руке он нес портфель, в левой — сетку с апельсинами. Дойдя до Пушкинской, он протиснулся сквозь толпу пешеходов, ожидавших у светофора, храбро ступил на мостовую и только тогда увидел летевшую прямо на него черную «Волгу». Он улыбнулся, потому что как же еще поступить молдаванину, который своими глазами видит собственный конец?

«Вот эта самая гроза...» — начал было он опять, и тут же огромная сила, на которую он вряд ли был способен при других обстоятельствах, буквально выбросила его вперед. Правда, толку от этого было мало, потому что там, за черной «Волгой», шла другая «Волга», зеленоватого цвета, и он второй раз ужаснулся потому, что, не успев выбраться из-под колес одной машины, кидается под другую. «Вот эта самая ночная гроза!...»

Дикий пересвист тормозов, грохот железа, звон разбитого стекла, властная трель постового милиционера и мелкая морщинистая картошка, покотившаяся вниз по Пушкинской. Картошка высыпалась из сетки маленькой старушечки, которая дожидалась у перекрестка вместе с другими пешеходами, но, когда учитель ступил на мостовую, она машинально увязалась за ним, доверяясь его молодости и сообразительности. На их счастье, асфальт был уже сухой, и тормоза у машин хорошие; другое дело, что на первые машины налетели сзади другие, а на тех еще налетели. Теперь шоферы и пешеходы, собравшись вокруг, орали и вопили на все лады, старушка крестилась, а учитель был уже на другом тротуаре, куда не чаял было добраться. Его вдруг залихорадило. Бледный, весь в испарине, он искал, на что бы присесть. Неподалеку были какие-то скамейки, но, оглянувшись, он увидел, что положение на мостовой осложняется. Милиция замеряет расстояния между машинами; регистрируются, допрашиваются свидетели, и он счел за благо свернуть на Колодезную. Дойдя до Болгарской, еще раз свернул и пошел вверх к Садовой, в ту часть города, где должно бы еще сохраниться хоть немного покоя, свежего воздуха и тишины.

Стоял чудный весенний день. Небо было празднично голубое, солнце по-летнему теплое, на древних акациях, распоровших своими костями толстый слой асфальта, галдели воробьи, и со стороны Костюженского шоссе несло гарью. Видать, где-то в садах жгли прошлогоднюю листву. Каждый год с этого дыма начиналась весна в городе, а весна хороша, когда ты дома, и, видимо, потому едкий дым нагонял на учителя жуткую тоску.

«А на Буковине в эту пору ребята начинают запускать бумажные змеи...»

Садовую он прошел почти всю, но ни покоя, ни тишины уже там не было, и потому спустился в Пушкинский парк. Ему не давала покоя мысль о 'ом раннем дожде, ему нужно было продумать какие-то обстоятельства своей жизни, связанные с этим дождем. В парке его ждало излюбленное место — каменные скамейки, расположенные амфитеатром вокруг памятника Штефана Великого. Положил свои вещи, сел и просидел долго; не шелохнувшись, дожидаясь, когда пробьют часы на площади. Забыл с вечера завести свои ручные часы, а спросить время у прохожих не было сил. Вот, казалось бы, пустячное дело — остановить прохожего и спросить, который час, а на это нужна определенная внутренняя энергия, и этой-то энергии у него как раз и не было.

На площади, под аркой, ударили в колокол раз, потом, спустя какое-то время, еще раз, но это могли быть только четверти часа. До полудня было еще далеко. Хотя, подумал он, кто знает, за всеми этими происшествиями время бежит быстро. Но тут под аркой пробило одиннадцать раз. Он улыбнулся, облегченно вздохнул, и оттого, что время было еще раннее, ему стало как-то лучше.

«А, кстати! — сказал он сам себе. — Относительно того ночного дождя. Давай обмозгуем».

Он был хорошим учителем и, когда его ученики, там, на севере Молдавии, заходили в тупик, говорил им: «Дазайте обмозгуем». И это не было ханжеской формулой, подразумевающей, что, дескать, ты, ученик, будешь ломать голову и думать, а я в это время постою рядом с тобой и посмотрю, что там у тебя получится. Нет, он был хорошим учителем, и актером, и художником, и мог, зная тему урока, вообразить себя незнающим, стать рядом с учеником, пойти вместе с ним на поиски некоего давно исчезнувшего государства, заражая ученика энергией и упорством. Тогда он, правда, еще не знал, чем все это может кончиться, не знал, что, растрачивая себя слишком безрассудно, рискуешь закончить все свои размышления под колесами автомашины.

«Так, значит, относительно того самого дождя, и грома, и молнии», — начал было он снова, и опять (в который раз) мысль остановилась, как вкопанная, как норовистая лошадка перед большой рекой.

«Нет, — подумал он, — сначала нужно успокоить нервы. Мозг не в состоянии что-либо продумать, пока несаь взбудоражены».

Лучше всего он успокаивался в пути, особенно в поезде, но поезд, которым он собирался уехать на север, шел только в пять. Правда, он мог уехать еще вчера. Обычно из больницы выписывали после обеда, так, чтобы больные сразу успели на этот поезд, но он, выписавшись, остался переночевать. У него были дела в министерстве, и в институте, и в Обществе по охране памятников культуры. К своему несчастью, он с утра увлекся глубокими раздумьями и чуть не попал под машины. Его до сих пор трясло, и в этом взбудораженном состоянии он не считал возможным являться в государственные учреждения. Ему в высшей степени было присуще чувство опрятности — опрятности внешней, опрятности внутренней, — и в таком расстроенном виде он не мог появиться ни перед друзьями, ни перед протисниками своими.

«А над Буковиной стоят теперь теплые солнечные дни...»

Хотя это, может, и не делает чести мужчине, он любил при случае погреться на солнышке. Как ни странно, а именно при ленивой сонливости, навеванной солнечным теплом, ему приходили в голову самые интересные мысли, самые верные и точные решения. В Кишиневе было солнечно и тепло, и вот он сидит на скамейке и греется, а сонливой лени и в помине нету, потому что, в самом деле, откуда она возьмется в городе, где царят спешка, шум и грохот. Это состояние можно было обрести только тем, в родных местах, так сказать, на малой родине, хотя трудно решить, где теперь его малая родина...

Буковина до сих пор потрясает его во сне своими красками, своими запахами, но ведь это только часть его жизни, потому что после Буковины он успел еще пожить на севере Молдавии, и если на Буковине осталось детство и отчий дом, то на севере Молдавии остались ученики, жена с сыном, осталась его любовь. И была та любовь у него первая, а первая любовь, радостна она или печальна, но она единственна, неповторима...

Он сидел на каменной скамейке, чувствовал, как с каждой секундой каменеет, тупеет, а это для него было равносильно смерти. Ему предстояло в тот день принять самое важное в своей жизни решение, потому что сесть-то он сядет в поезд в пять часов, а на какой станции сойти — в Петренах или Вереженах — это ему еще предстояло решить. Смешно подумать: для иного колхозника и проблемы такой не существует — в мгновение ока он решает, чем ехать, где сойти, — а тут человек с высшим образованием два месяца бьется, и все без толку.

Петрены — это маленькая станция с двумя тополями, с уютным залом ожидания, с вечно открытой кассой, в которой всегда можно купить билеты на все поезда, на все направления. Этот домик из красного кирпича был первым каменным строением, которое он видел в жизни. Отсюда он часто ездил с родителями в Черновицы, с этой станции уехал на войну отец, с этой же станции уехал и сам он, уже юношей, учиться в Кишинев. Может, потому, что деревня была неподалеку, всего в трех верстах, мать часто провожала сына, и в его душе они стали чем-то похожими меж собой — полная жизни мать и хмурое, неподвижное здание вокзала. Потом, когда он уже был на третьем курсе, матери не стало, а

спустя какое-то время и сам вокзал перестроили, перекрасили, так что, кроме щемящего чувства печали, ничего не ждало его на перроне того вокзала.

Вережены — это было совсем другое. Чистый и благополучный, побеленный известью вокзал на полпути между Черновицами и Кишиневом. С одной стороны лес, с другой — холмистое поле. Длинные хранилища для зерна, склады деревянных ящиков консервного завода, белые, аккуратные домики вокруг. Он так часто проезжал через эту станцию, что знал уже и как сложены буквы в названии под крышей, и чем торгует продавец в буфете, знал в лицо всех трех дежурных по станции и сильно удивился бы, если бы ему кто сказал тогда, что эта станция станет рядом с Петренами, даже вытеснит их, и в тридцать два года он будет лежать со стенокардией в Кишиневской республиканской больнице по милости все той же самой станции. А ехать ему туда хотелось, о, как ему хотелось туда, но весь его дух, все его достоинство восставало против этого желания.

«Ах, если бы не та страшная ночная гроза с десятого на одиннадцатое...»

Солнце по-летнему слепило глаза, дул прохладный ветер, и по-прежнему пахло гарью. Рядом с ним у каменной скамейки лежали его вещи — полная сетка апельсинов и портфель, набитый теплыми вещами, так что замки едва запирались. Теперь, поскольку он был собой недоволен, то и его собственные вещи как-то тяготили его. Ну что за идиотство — сетка с апельсинами и портфель, набитый так, что вот-вот расплывется по всем швам. В портфель он упрятал свои теплые вещи, потому что, когда его положили в больницу, был еще холодный март, ну, а апельсины он купил утром, выстояв огромную, часа на два, очередь. Он их не собирался покупать, но как раз, когда он выходил из боль-» ницы, выгружали из машины ящики с апельсинами, и те, у кого были дети, тут же становились в очередь. У него был сын, и он тоже встал в очередь.

«Здорово, старина!»

Вдруг он увидел в расщелинах каменной скамейки, на которой сидел, огромное количество маленьких жучков. Они собирались целыми скопищами там, куда проникали лучи солнца, но не слишком выползали, потому что весеннее солнышко хорошо только в укрытии, куда ветер не добирается. Тоже, небось, не дураки. Он им обрадовался, как родным, точно они тоже были родом с Северной Буковины. Их кирпичные, в черную крапинку спины стояли не шелохнувшись, и он подумал, что все в мире суeta суeta и ничего человеку не нужно, кроме капли солнечного тепла в весеннюю пору. Нужно каждую весну суметь стать жучком, погреться, не слишком высовываясь, а там и мысли прояснятся и решения придут сами собой.

«Что ж, — сказал он сам себе, — пошли, погреемся».

Кишинев он знал довольно хорошо — как-никак а пять лет прожил. И хотя в годы учебы он был и бедным и застенчивым, но молодость есть молодость, м он, конечно, знал неплохо те закутки в окрестностях города, куда уединялись влюбленные. Взяв портфель и сетку с апельсинами, он поплелся к Комсомольскому озеру и всю дорогу уговаривал сам себя не думать больше о том ночном дожде и быть внимательным при переходе улиц. Хотя его и выписали из больницы, чувствовал он себя еще неважно, и то ли от того, что много ходил в то утро, то ли еще по какой причине, но голова начала слегка кружиться, и потому он не стал особенно долго выбирать. Чуть в стороне от каменных лестниц, каскадами спускавшихся к озеру, чернела небольшая эстрадная сцена, построенная для летних выступлений. Уже когда забивали в нее последние гвозди, выяснилось, что она слишком мала для нужд города, и тут же построили другую, на десять тысяч мест, несколько подальше, а эта была отдана бабушкам, воспитывавшим внуков, и одиноким молодым людям с неустроенной личной судьбой.

Теперь тут было тепло, пустынно. Под ногами сухо шуршала прошлогодняя листва, над головой шелестела листва молодая. Весна взорвалась, конечно же, благодаря тому ночному дождю, и как его мучает до сих пор тот дождь, это ж уму непостижимо! Он выбрал себе одну из многочисленных скамеек, раскинутых кое-как, точно была большая ссора между ними. Уселся лицом к солнышку, нашел даже какой-то старый фанерный ящик, на

который закинул ноги этак на западный манер, прищурился от удовольствия, которого еще не было, но которое должно было вот-вот наступить, и вдруг услышал рядом прокуренный женский голос:

— У вас тут свободно?

«Вот она, — подумал он, — наша сладкая жизнь. Ла долче вита».

Собственно, он забыл, что молодые люди с неустроенной судьбой ходят сюда, чтобы знакомиться.

Ему не хотелось знакомиться, не хотелось говорить, и он только кивнул. Скамейка, на которой он сидел, скрипнула, чуть покачнулась и замерла.

— Чего лицо кислое? Такой молодой, красивый, а лицо кислое...

Он подумал, что она смеется над ним. Скинул ноги с ящика, выпрямился, оглянулся. Ярко накрашенные губы, синие круги под глазами, но лицо миловидное, и оно как бы говорило: вот нравишься ты мне, и ничего я с собой поделать не могу.

— Это я-то молод и красив?!

— Так рост же, господи! Пойди поищи другого, чтоб такого росту!

Он улыбнулся: как же, чуть не забыл про свои метр восемьдесят пять. Они были всегда его мукой.

Все детство проходил в одной рубашке и одной паре штанов — донашивать со старших было невозможно, не налезало. В школе, в поле, на перекрестках дорог, на посиделках, когда говорить становилось не о чем, говорили о его удивительном росте, о выгоде и хлопотах этого явления. Празда, у сельских девушек его рост не вызывал особых эмоций, и только мать, провожая первый раз в Кишинев, прошептала на вокзале:

— Не верь девушкам. Ни красивым, ни дурнушкам, никому не верь.

— Я же не свататься. Я учиться еду! Мать вздохнула и улыбнулась.

— Ты-то едешь учиться, но мы не знаем, зачем они туда поедут...

И правда, первое время ему пришлось туго в университете. Он был еще весь деревенский, застенчивый, тосковал по своему детству, а они бегали за ним стаями, писали любовные записки, строили глазки, дулись и прощали ему, хотя и дуться было не на что и прощать было нечего. На втором курсе стало еще хуже. Падкие до высоких кавалеров, девушки прямо изводили его, распространяли о нем самые несусветные сплетни, имитировали его тяжелую, чуть вразвалочку походку, пересаживались в столовой за другие столы, если он случайно садился с кем-нибудь из них, и такое было время, что хоть бросай учебу и беги куда глаза глядят.

— Курите? — спросила женщина хриплым голосом.

— Нет.

— Что так? Язва?

— Нету у меня язвы. Но нет и свободного времени. Пора на поезд, так что, увы, здравствуйте и до свидания.

— Детки дома заждались? — спросила она ехидно, и он встал, взял сетку с апельсинами, портфель с теплыми вещами и молча поплелся своей дорогой. Вот уж воистину ирония судьбы: единственное, чего ему недоставало, это такого знакомства. Обогнув озеро, пошел к тому, другому зеленому театру, и хотя там было ветреннее и неуютней, знакомства с ним никто не искал. Забрался на сцену, заваленную всяким хламом: детские качалки, спортивные снаряды, сломанные весла. Уселся в старой лодке, лицом к солнышку, тихо, для уюта, раскачал сам себя. Было хорошо, было солнечно, почти как там, на Буковине, но найти тут покой ему было не дано. Тот хриплый, прокуренный женский голос обладал даром будоражить мужскую кровь. Тот бесстыжий чем-то голос разбудил в нем вулкан, который врачи с таким трудом тушили два месяца, и его больное сердце опять сорвалось с размеренного ритма и поскакало на одной ножке бог весть куда. «Ах, если бы не та ночная гроза...» — начал было опять кто-то внутри его существа жаловаться плаксивым голосом. И вдруг мужчина в нем восстал, он на секунду остервенел и сказал сам себе: «Это неправда, до той ночной грозы было еще многое». И чтобы не попасть обратно на ту же

койку, с которой только что встал, оставался только один путь — процеживать поток воспоминаний медленно, глоток за глотком. Этому Хсрию научил профессор Анестиаде. Николай Христофорович как-то очень хорошо втолковал ему, что беда молдаван — их взрывчатая эмоциональность. Когда у молдаванина нет явных предлогов для эмоций, он бежит к своему прошлому, откапывает самое драматическое, самое печальное в своих воспоминаниях.

— Как же нам в таком случае быть, — спросил тогда Хория у профессора, производившего обход, — забыть свою историю? Отказаться от своего прошлого?

— Нет, зачем же?.. Но нужно непременно регулировать поток воспоминаний: любой образ, любая картина прошлого, как бы она ни волновала поначалу, если держать себя на расстоянии и дать мозгу время всесторонне ее продумать, в конечном счете окажется не тем, чем была в самом начале. Ум — это командующий, а чувства, в том числе и эмоции, — его армия. Любая операция должна иметь свою точную цель, а то ведь что это за командующий, что это за армия, если меж ними нет слаженности, если бои происходят просто потому, что настроение было кислое, просто ради того, чтобы вкусить еще один раз горечь поражения?

«Что ж, — сказал Хория сам себе. — Попробуем думать организованно».

Женский голос не давал ему покоя, но не тот, прокуренный, а другой, родной и близкий...

II

Хория был на третьем курсе, когда появилась та, которой суждено было стать его горем, его судьбой. Осенью, как только они вернулись с уборки винограда, по университету прошел слух, что на факультет французского языка поступила какая-то феноменальная цыганочка, откуда-то из-под Бельц. Такой шельмы, говорили ребята, мир еще не видывал. Смуглое, точеное лицо, изящные крылатые ноздри, которые чуть-чуть трепетали, хватая воздух, тонкая длинная шея и стройное тело, созданное богом для любви, и только для любви.

Поначалу она Хории не понравилась. А может, он нарочно заставил себя пройти стороной, подчиняясь той древней крестьянской мудрости, гласящей, что излишне красивая баба в доме — лишние хлопоты. Так или иначе, но при первой встрече он сказал себе: «Нет, сначала нужно посмотреть на ее родителей, чтобы сообразить, что к чему в этой красавице». Такая стройность редко встречалась среди деревенских девушек, успевших наработаться в поле до поступления в университет, и ее бедным родителям, думал он, нелегко далась холеность своей дочери. Хотя в то же время удивляли ее феноменальные способности к языкам. Подумать только — приехала из какой-то глухомани, кроме Кишинева, ничего б жизни не видела, а шпарит по-французски так, что профессора прямо диву даются. Звали ее Женей, но из-за пристрастия к французскому языку ребята прозвали ее Жанет.

Красивые парни прямо' сводили ее с ума. Ее черные, с цыганщиной, глаза не пропускали ни одной университетской шевелюры. Свидания ей назначали чуть ли не каждый день, она охотно на них шла, гуляла с парнями по самым темным аллеям, которые ни до, ни после революции не освещались ничем, кроме синего неба, луны и звезд. Она бывала ласкова и доступна до удивления, она придавала храбрости самым скромным и застенчивым, но, доведя парней до высшего накала, до сладкой дрожи в позвоночнике, она мигом трезвела, выскальзывала, как щука, просачивалась, как вода сквозь песок, и уж не было никаких сил вернуть ее обратно к прежним играм.

Часть студентов ее боготворила, другие ругали последними словами, вынашивая планы адской мести, но равновесие вокруг нее не нарушалось, количество поклонников примерно соответствовало количеству ее хулителей.

Теперь, разомлев от весеннего солнца и тихо покачиваясь в своей лодочке, заброшенной на сцене зеленого театра, Хория не без удовольствия вспоминал, что его не было среди тех первых дураков, которые толпились вокруг нее. Но в середине зимы, сразу

после зимней сессии, настал тот роковой день, когда и он потерял голову. Влюбился он в актовом зале, после обеда, часа в четыре. Глупо, конечно, что человек помнит и день, и место, и час, но если он их в самом деле помнит, куда денешься? Хотя запомнить было не так уж трудно: это были дни, когда их исторический факультет праздновал свою первую и, может быть, самую крупную победу.

В республике решили учредить Общество охраны памятников культуры. Много лет факультет истории университета добивался создания этого Общества, и вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.

В актовом зале горели все три люстры, на сцене царствовал огромный букет тюльпанов, а в зале чинно сидели подстриженные и отутюженные студенты. Была долгая тишина, потом в этой тишине на сцену вышел, сияя в своем новеньком, с иголки костюме, Иларие Семенович Ротару. Была большая справедливость в том, что он вышел первый, потому что если в университете и был человек, который боролся до конца за создание Общества, то это был любимец студентов доцент Ротару. И была большая мудрость в том, что и ректор и остальные профессора, шедшие за ним, как бы запоздали чуть-чуть, оставив его одного перед всем залом. Иларие Семенович, вдруг поняв, что выскочил слишком резво, смутился, но это смущение отступило перед большой радостью. У него прямо сияли глаза от счастья, и студенты вдруг встали, потому что у них тоже сияли глаза, и актовый зал гремел от ликования.

«Боже мой, кажется, целая вечность прошла с тех пор...»

Когда южный темперамент поутих и все уселись, Иларие Семенович начал говорить, как и полагалось в таких случаях, с трибуны. Язык у него было хорошо подвешен. Красиво и сочно обрисовав проблему в ее, так сказать, первоизданном виде, он затем стал рассуждать на тему о том, из чего нужно исходить, определяя ценность того или иного исторического памятника и какое место эти памятники должны занять в общекультурной жизни республики.

— Между прочим... — сказал он, опасливо скосив глаза, что обычно означало только одно — Иларие Семенович собирается чуть-чуть свернуть с борозды подготовленной речи и сам еще не уверен, хорошо ли это у него получится. Студенты наострили уши, потому что, как правило, эти отклонения у него бывали интересней, чем сами речи. — Я хотел бы, — сказал он, — поговорить с вами о судьбе Звонницы на Каприанской горе. Любой молдаванин знает легенду о том, как Штефан Великий, потерпев тяжелое поражение в битве с турками, постучался в хижину отшельника Даниила на Каприанской горе и попросил ночлега. Любой наш школьник может дословно повторить ответ отшельника: «Отдых воина, потерпевшего поражение, — на том же поле, где -была разгромлена его армия». И уж кто не знает про ту ночь, когда Штефан собрал остатки войск, вернулся на поле брани и победил.

Тут Иларие Семенович налил себе из графина полстакана воды и медленно отпивал ее маленькими глотками. И дело не в том, что его одолела жажда — просто нужна была пауза, чтобы прикинуть, как дальше быть.

— А между тем, — решительно сказал Иларие Семенович, — мало кто знает, что эти слова стоили жизни бедному отшельнику. Много лет спустя, когда Штефан однажды во время охоты забрел в те края, его сердце содрогнулось — янычары сожгли лачугу отшельника, а его самого повесили. И стояла тишина, глубокая, мертвая тишина стояла над тем краем. Потрясенный господарь повелел над остатками лачуги возвести Звонницу, назначить туда из числа своих солдат звонарей, и каждый день, на рассвете и на закате чтобы звонили колокола на Каприанской горе.

Ротару, конечно же, не случайно был любимцем студентов. Он умел говорить, умел перевоплощаться, и, не сходя с трибуны, не снимая новенький, с иголки костюм, он проиграл туркам битву, постучался к отшельнику, собрал остатки войска и победил. Теперь, вытерев пот со лба белоснежным платочком, он отдал распоряжение возвести Звонницу над останками отшельника, выждал полагавшуюся в таких случаях паузу и добавил тихо, печально:

— Все это вещи известные, все это гордость нашей истории, но вы поезжайте на Каприянскую гору и посмотрите, что осталось от той Звонницы. Нижнее помещение завалено мешками с ядохимикатами. Ветер сорвал половину крыши, кругом кустарники, запустение, а в обеденное время мальчишки из соседних деревень привязывают своих коров к стоякам той самой Звонницы.

Ротару умолк, и в актовом зале наступила мертвая тишина. Было обидно, было стыдно. И за себя и за невнимание к своей истории. Иларие Семенович налил еще полстакана воды и вдруг взорвался, не успев его пригубить.

— Между прочим, — сказал он, — рядом со Звонницей по склону холма рассыпана Каприяна, большая деревня, ведущая свое начало тоже с тех самых времен. Поговаривают даже, что ее основали звонари, служившие на Звоннице. Давайте спросим себя: как могло случиться, что дети привязывают своих буренок к стоякам Звонницы, с которой их предки сотни лет подряд звонили — когда занималась заря и когда гасли сумерки? Народ там живет не бедный, не глупый, есть там прекрасная средняя школа, есть своя интеллигенция, даже, по-моему, и сейчас у нас в университете кто-то учится оттуда, из Каприяны.

Стали вспоминать. Студенты — народ дотошный. Острых языков много, а истина одна. К сожалению, никто не мог вспомнить, ни как он выглядит, тот студент, ни на каком он курсе. Иларие Семенович уже готов был вернуться к делам Общества, но у него была отвратительная привычка: он не давал спуску своей памяти, он заставлял ее на четвереньках ползти и добывать ему сведения, без которых мог бы и обойтись.

— И даже не студент, а студентка, смуглая такая, красавица, на первом курсе...

— Жанет?!

— Да вот же она, в третьем ряду сидит... Девушка поднялась, в один миг ее глаза сузились, точно она никак не ожидала, что ее в конце концов откопают. Она долго, вопросительно как-то смотрела на доцента, но он не хотел ее щадить: история была выше смазливой первокурсницы. Точеные ноздри встрепенулись, Жанет словно слетела с ветки и стала быстро что-то шпарить по-французски. Зал взорвался — ишь ты, красавица! Испугалась родного языка, на иностранном изъясняется. Зал свистел и ржал, и только доцент Ротару с серьезным видом старался проникнуть в изящный узор французской речи, но, когда Жанет, кончив, села, он улыбнулся и сказал:

— Милая девушка! Если даже допустить, что я все понял, то и тогда этого было бы недостаточно, потому что мы не вдвоем на скамеечке в темном уголке парка. Нас тут около шестисот, и всем хотелось бы услышать ваш ответ, и, если можно, на том же языке, на котором изъяснялся Штефан с отшельником Даниилом.

«В темном уголке парка» — это было отлично сказано. Зал грохотал от удовольствия. Молодец Ротару, этим вертихвосткам не нужно спуску давать, не то они завтра-послезавтра своих родителей не узнают! Странно было только то, что весь этот шум и гам совсем не действовали на Жанет. Она вдруг встала, посмотрела еще раз на доцента, точно хотела сказать: мне вас жалко, но ничего не поделаешь, сами напросились. И заговорила по-молдавски. Говорила она так же быстро и хватко. Изредка в ее речи мелькали старинные обороты, которые отдавали средневековьем, но и они звучали красиво в ее устах. Она сообщила, что крышу Звонницы чинят чуть ли не каждый год, что этой весной собирали в деревне по тридцать копеек со двора и купили цемент, укрепили фундамент. В нижнем помещении никаких ядохимикатов нет, там просто лежат несколько бумажных ящиков из-под чешского пива, весной там праздновали маевку, и ящики остались с той маевки. Ну, а дички вокруг растут не сами по себе — их перенесли из леса люди и посадили, чтобы гора не залысела, а то земля там глинистая, неважная.

— Что до ребятишек и их буренок, то, насколько я знаю, у нас в стране нет специальных постановлений, которые бы указывали, где ребятишкам можно привязывать своих коров, а где нельзя, и я боюсь, что если бы даже такое постановление и было, вряд ли бы оно выполнялось...

И наступила тишина, вероятно, такая же глубокая, как и та, что стояла, когда Штефан возвращался с охоты. Все смотрели на доцента: ну, как он выкрутится? Спустя какое-то время Ротару улыбнулся и спросил:

— Если действительно все обстоит так, то зачем нужен был еще и французский язык?

— Я ответила сначала по-французски, чтобы пощадить вашу репутацию, потому что, по идее, в университете знающими считаются преподаватели, а незнающими — студенты.

Зал ахнул. Это было неслыханно для Кишиневского университета. В одну секунду Жанет стала героиней, но это было ей тоже ни к чему, она тут же села, забыла обо всем на свете, и ее черные глаза опять пошли по рядам в поисках красивого чуба. Ничего, старик Штефан знал, кого посылать, чтобы два раза звонили в колокол на Каприянской горе. Эту породу людей ничем не проймешь, она лихо знает свое дело, и что ей горе, что ей слава...

Хория тогда не досидел до конца собрания, у него не было никаких сил досидеть. Он влюбился. Впервые в жизни он влюбился, и это было похоже на потоп, на пожар, на землетрясение. По чистой случайности оказалось, что они сидели рядом, он был за ее спиной в другом ряду, и с самого начала собрания ему никак не сиделось на стуле, потому что ее волосы и вся она пахла айвой. Этот удивительный запах его прямо пьянил, укачивал, разрывал на части. И пока шла перебранка между Жанет и доцентом, он вдруг вспомнил, что год тому назад был на Каприянской горе, был в той древней деревне с тихими, целомудренными, похожими на монашек женщинами, и там тоже пахло айвой. В каждом дворе, на каждом перекрестке, с каждого подоконника выглядывали спелые айвы. И в один миг запах спелой айвы стал его судьбой, и он сказал себе: «Все, свершилось!» Юношество кончилось, началась большая взрослая жизнь. Он встал и вышел.

III

А на Комсомольском озере становилось душно. Может, потому, что оно лежало в низине, может, к полудню солнце стало что-то слишком уж припекать, но Хория весь покрылся испариной. Тело обмякло, в ушах шумело море, которого он ни разу в жизни еще не видел. Нащупал в кармане валидол, бросил таблетку под язык, пересел с лодки чуть подальше, в глубь сцены, в тенечек, но мучила духота, нужно было побыстрее выбраться на простор, на воздух. С портфелем в одной руке, с сеткой, полной апельсинов, в другой, он заковылял напрямик к желтому зданию сельхозинститута, едва выглядывавшему из-за пригорка: там была конечная остановка троллейбусов, а сами троллейбусы представлялись ему теперь спасением, потому что на своих размякших ногах он вряд ли бы добрался до вокзала.

В половине третьего он сошел в центре, около молдавского театра, и, поскольку до прихода поезда время еще было, решил зайти куда-нибудь перекусить. Есть не хотелось, но он знал, что после еды ему станет несколько покойнее. На дверях ресторана «Молдова» висела табличка: «Закрито. Спецобслуживание». У входа в кафе «Днестр» стояла очередь, человек двадцать, не так уж много, можно было выстоять ее, но рядом со входом висело меню, в котором больше половины блюд было уже вычеркнуто. В кафе «Молочная» был санитарный день, так что оставалось только кафе на углу Ленина и Болгарской под названием «Золотой початок». Очередь там тоже была изрядная, и в меню возле некоторых названий красовались таинственные пометки карандашом, но вкусно пахло теплой мамалыгой, и пока он стоял и размышлял, как быть, выглянула женщина, дежурившая у вешалки, и спросила:

— Одиночки есть? Чтобы совсем один человек.

На его счастье, все пришли небольшими компаниями, по два, по три, одиночкой был только он, и, подняв руку, как ученик, знающий урок, Хория прошел и разделся. Сесть ему пришлось за угловой столик, где уже сидели две хохотушки, впервые выбравшиеся в свет и считавшие это, видимо, большим событием в своей жизни.

«Ах, если бы не та жуткая ночная гроза с десятого на одиннадцатое апреля, как бы все прекрасно было!»

Девушки хохотали, в изнеможении валились друг на друга и, случайно задев его туфлями под столом, краснели и извинялись. Они давно съели свое мороженое, попили сладкой водицы и рассчитались, но не уходили, и ему очень хотелось верить, что и сам его приход в какой-то мере надоумил девушек не спешить. Потом он устыдился этого своего желания. Какая нелепость! Когда он всем нравился, это было ему в тягость, а теперь ему польстила бы симпатия двух глупых девочек. Но нет. Сердце, его больное сердце почти два месяца под наблюдением профессора Анестиаде думало только о той, смуглой, с мальчишеской прической, и теперь, чуть поправившись, сердце снова по ней тосковало... А начались все эти муки тогда, в актовом зале.

Некоторое время спустя после того случая у них с Жанет начался роман, хотя романом все это вряд ли можно было назвать. Случайно встретив ее в длинных коридорах университета, он не то что улыбался, у него как-то само по себе светлело лицо, а уж глаз у нее был наметан. Она его, что называется, учуяла. Ее лицо тоже стало светлеть при встречах, но не сразу, не открыто, а несколько мгновений спустя, когда они уже разминутся, и, хотя он ее лица уже не мог видеть, по каким-то признакам все же угадывал, когда она ему отвечала. Потом, при встречах, он как-то почтительно стал кланяться, а на это Жанет, перенявшая, видимо, вместе с языком некоторые фортели парижанок, стала делать большие, удивленные глаза. После этого он обиделся, и при встречах его лицо больше не светлело, а в ответ на это Жанет вовсе перестала его замечать. И уже, встречаясь, он смотрел в одну сторону, она в другую, но, конечно, одно дело, когда люди смотрят в разные стороны просто потому, что так им смотрится, а другое дело, когда они нарочито, демонстративно делают это.

Подобные маленькие интрижки — улыбки, многозначительные взгляды, немые укоры и бессловесные разрывы — очень популярны в Кишиневе среди молодежи. Они возникают ежечасно, ежеминутно, как грибы после дождя, и после них люди страдают, как и после больших и бурных романов. С большинстве своем эти интрижки ничем не кончаются, они даже до знакомства не доходят, но бывают и с продолжением, да еще с каким! У них с Жанет был именно тот самый редкий случай. Спустя какое-то время они оба стали жалеть о разрыве, но, жалея, он почему-то ждал и надеялся, что она сделает первый шаг. Она сама разорвала ту тонкую нить, которая их связывала, и сама должна была преодолеть трудность, возникшую в их отношениях. В конце концов ее звали Жанет, у нее была сотня романов, для нее это было пустячным делом, а он убил бы на это полгода и вряд ли бы что надумал. Хотя, правду сказать, за время их разрыва он написал ей с десятков писем, которые тут же рвал, но, видимо, были среди них и дельные. Одно письмо он помнил с первой до последней строчки и в минуты горечи и одиночества вспоминал те строчки и жалел, что не сберег их. Такие звонкие и горячие слова не рождались больше в его душе и, кто знает, родятся ли еще когда?..

Полная официантка принесла горячую мамалыгу с токаной. Он не стал есть сразу. Пододвинув к себе блюдо и чуть наклонившись над столом, он жадно вдыхал в себя запах распаренной кукурузной муки, запах детства, запах милой родины. Вспомнил, что недавно где-то вычитал забавное утверждение о том, что фасоль помогла болгарам пережить многовековое турецкое иго. Он подумал, что если у каждого народа есть одно такое блюдо-союзник, блюдо — друг и товарищ, то у молдаван это мамалыга. Мы много хвастаем своими садами и виноградниками, мечтаем завалить страну яблоками, залить ее вином, но в трудные для народа времена нашим предкам помогали выжить не кружка с вином и не ящик с яблоками, а эта скромная мамалыга.

Теперь ее в Молдавии почти не едят, теперь кое-кто ее стыдится, потому что такова сущность человека — забыть то, чему ты больше всего обязан, и, назло этой вот сущности, Хория вдыхал в себя запах мамалыги, чтобы разбудить в себе образ детства, образ Буковины. Увы, крохотный кусочек мамалыги быстро остыл, образ Северной Буковины

рассеялся, и перед его глазами опять замелькали девушки Кишиневского университета, и среди них красивая и неповторимая Жанет.

Некоторое время спустя после их размолвки, в том же актовом зале университета, в котором он влюбился, показывали какой-то плохой фильм местной киностудии. Никому не хотелось на него идти. Городская пресса успела его уже расхвалить, а народ все не шел в кинотеатры. Организовали просмотр для студентов. Зал был большой, народу мало, и им посоветовали сесть в шахматном порядке, на случай, если заглянет проректор, чтобы создалось впечатление полного зала. На экране показывали неестественных людей, совершающих неестественные поступки и говоривших неестественным языком. Хория сидел, съездившись: этот фильм глубоко оскорблял его национальное достоинство. Ему казалось, что каждый фильм — это выход на мировую арену, что завтра-послезавтра мир увидит на экране этих примитивных и неестественных молдаван. Он начал было уже про себя с кем-то полемизировать, кому-то доказывать, почему такие фильмы вредно снимать, но в это время кто-то тихо сел рядом в пустовавшее кресло. Еще не видя, кто сел, он содрогнулся. Запахло спелой айвой, сильно, упоительно запахло, а это могло означать только одно: примирение. И уже то, что сотворила местная киностудия, перестало его трогать. Наоборот, этот фильм даже чем-то ему стал нравиться. Какой-то милый примитив, хочешь — смотришь, не хочешь — не надо.

Она в темноте склонилась к нему свою красивую головку, и он весь встрепенулся от того, что мы обычно называем счастьем.

— Слушай...

Она заговорила просто, задушевно, обыденно, точно они росли в одной деревне, сидели в школе за одной партой, а между тем общались они впервые в жизни. А может, это не так, может, храбрые букоиняне служили звонарями там, на Каприянской горе, и это они основали там Звонницу? А может, предки Жанет ездили некогда в Буковину за дубовыми бочками и там подружались с предками Хории, и чего, собственно, начинать все сначала, раз они уж столько веков знакомы. Как бы там ни было, сидел он и слушал ее шепот. Вокруг нежились на солнце нескончаемые айвовые сады, а Жанет о чем-то шептала тихо и медленно, потому что в зале вдруг раздался смех. Она стала следить за экраном, чтобы угадать, что там было и отчего в зале смеялись.

— Слушай... В будущее воскресенье ты свободен?

— Относительно, как и все в этом мире... А что?

— Поехали к нам в Каприяну.

— Куда-куда? •

Она опять уставилась на экран, потому что в зале снова смеялись. <

— В будущее воскресенье у нас Храм. Поехали. Наедемся орехов, попьем виноградного соку.

— А перебродивший, кисленький, будет?

— Разыщем.

— И музыка будет?

— Какой же Храм без музыки!

В молдавских деревнях в осеннюю пору они очень популярны, эти праздники под общим названием Храм. В разных деревнях они приходятся на разные воскресенья, поскольку изначально это были престольные праздники местных церквей, а сами церкви, как известно, возводились в честь различных святых. Потом со временем религиозный смысл этих праздников исчез, в церквях не служили, но осенние праздники сохранились, вобрав в себя новые традиции, новые осмысления: главное, что осенью, когда кончается уборка урожая, главное, что в разные воскресенья, так что и к тебе приедут погостить из соседних деревень и сам ты к ним поедешь, когда у них будет Храм.

В осеннюю пору студенты сплошь и рядом убегали на день-два, когда у них бывал дома Храм. Кто посостоятельнее, приглашал друзей к себе на празднество, но приглашали в основном парни парней, девушки девушек. В редких случаях, когда вопрос женитьбы был

уже решен, бывало и иначе — девушка приглашала парня или парень девушку. А тут с ходу, не успев еще толком познакомиться. Хотя, с другой стороны, что еще можно ждать от этой Жанет?

— А там меня не поколотят?

Она выждала паузу, потому что на экране целовались — глупо, по-животному впились друг в друга, так что смотреть было противно. Режиссер фильма, видимо, считал этот поцелуй большой находкой. Камера долго, мучительно долго фиксировала этот момент, и Жанет не выдержала, отвернулась. Затем, минутой спустя, прошептала:

— Не беспокойся, у нас все ниже тебя ростом... Он был счастлив, но приличия требовали ответить как-то достойно, сдержанно. Он не знал еще, как бы это поудачнее выразить, но она еще раз пощекотала ему висок своими локонами и сновадохнула на него спелой айвой.

— В субботу. В пять. Приходи прямо к поезду — билеты я сама куплю.

IV

В кафе вдруг резко потемнело, и официантки включили большие люстры. Над городом опустились огромные черные тучи, казалось, вот-вот пойдет дождь, но пошел ненадолго снег, и он подумал: «Уж эта апрельская погода, прямо кошмар один! Утром было тепло, была весна, даже лето, а теперь опять март, даже не март, а октябрь, и зима еще впереди!...»

Девушки-хохотушки давно ушли. Перед ним стояла пустая тарелка, хотя он толком не помнил, что ел и было ли ему вкусно. Официантка, полная дама средних лет в мини-юбке, плыла по залу медленно, с чувством достоинства, потому что одно резкое движение — и все, что с таким трудом было на нее натянуто, могло треснуть по швам и разлететься в разные стороны. У нее было хорошее настроение, она мурлыкала про себя какой-то любовный мотив, заглядывала всем мужикам в самые зрачки и на просьбы Хории рассчитать его говорила многозначительно: «Одну минутку». Свободные два стула она прислонила спинками к столу в том смысле, что все занято, и, улучив момент, села рядом с учителем, боднула его большой своей грудью в плечо и прошептала:

— Жора, почему ты меня мучаешь?!

Он улыбнулся. Ну что за напасть, вторую таблетку валидола приходится глотать, а эти идиотки прут навалом!

— Меня не Жора, меня Хорией зовут.

— Ох, господи, большая разница. Одна буква всего — что Хора, что Жора. — Вздохнула, обволокла его томным взглядом. — Так почему же ты, гад такой, мучаешь меня?! Я же извелась вся.

Напористый заезжий дядька, стоявший некоторое время у входа в ожидании своей очереди, пошел напролом, решив испортить официантке игру:

— А что, тут свободно?

— Занято, гражданин. Вы же видите, стул прислонен.

— А, не морочьте мне голову! Надо же, старый человек полчаса стоит на ногах, а она тут заливает и вертит хвостом.

— Это вы обо мне говорите? Да как вам не стыдно? Присела, чтобы с братом родным, с которым уже два года...

— Ну, уже он ей братом доводится!!

Хория улыбнулся, положил на стол металлический рубль. Она механически сунула его в карман и спросила миролюбиво:

— Придешь сегодня? Приходи, мы к десяти закрываемся.

— Не знаю...

— Как хочешь. А то приходи, я сегодня свободна. Последние слова она кинула ему вдогонку, когда он, нагруженный портфелем и сеткой, уже выходил из кафе. Голос у нее

был звонкий, глаз цепкий. Ему казалось, что весь народ, и внутри кафе и на улице, видел эту сцену. Было стыдно, неприятно, точно его уличили в чем-то неприличном, и, чтобы побыстрее избавиться от всей этой кутерьмы, он прыгнул в первый же троллейбус. К его удивлению, троллейбус не пошел прямо, вниз к вокзалу, а свернул с проспекта Ленина и пошел вверх по Болгарской. Пока Хория размышлял, как ему быть, пока прикидывал, то ли выйти через заднюю, то ли через переднюю дверь, троллейбус стоял уже на Садовой. Он сошел, оглянулся и улыбнулся: перед ним, прямо напротив, красовались высокие кладбищенские ворота.

Он любил когда-то хаживать сюда. Для многих сельских ребят, учившихся в те годы в университете, кладбище на Садовой не имело того зловещего смысла, как это общепринято везде. То ли потому, что в городе мало было парков, то ли потому, что почти все вузы города так или иначе, а тяготели к Садовой, то ли потому, что в кладбищах есть своя красота, своя романтика, студенты любили этот уголок. Тут, среди зелени, тишины и старинных мраморных надгробий русских князей, они знакомились, мечтали, учили уроки и целовались. Может, память юности, может, желание начать все сначала, а может, та скамеечка, на которой они некогда сживали с Жанет, заставили его перейти улицу и пройти сквозь высокие ворота в мир его недавней юности. Он увидел еще издали ту самую скамейку, которая была когда-то их скамейкой. Они ее выбрали потому, что с одной стороны высилось надгробие бессарабского губернатора, а с другой были густые заросли черемухи. Им обоим понравились и густая зелень и темный мрамор. Тебя не видят, а для тебя все вокруг как на ладони. К тому же неподалеку было большое дерево грецкого ореха — это был их дедушка, единственный дедушка и со стороны невесты и со стороны жениха. Теперь оно стояло одиноко. Еще не зазеленело, ему было еще далеко до своих знаменитых, пахнущих до удушья листьев. Но дедушка стоял, живой, могучий и крепкий, и, пока он был жив, жив был и сам Хория, жива была и та смуглянка, которая стала крестом и счастьем на его жизненном пути.

...В ту субботу он выгладил свои польские лавсановые брюки, сшившие ему полной месячной стипендии, нарядился в голубую водолазку, занятую у односельчанина, учившегося в мединституте, и понесся что было силы на вокзал. Трижды обошел перрон, заглянул во все закуточки, а Жанет не было. Уже и поезд подошел, и посадка началась, а ее все не было, и он начал было подумывать: а не разыграла ли она его? И тут же в толпе мелькнула модная, только что из парикмахерской прическа.

— Ну? Едем?

— Если успеем.

Вагоны были битком набиты. Ехали в основном колхозники из близлежащих сел, приезжавшие рано утром торговать на рынке. Возвращались с пустыми плетеными кошелками из-под фруктов, с разной утварью, купленной в магазинах, так что ни сесть, ни пройти. Но Хории это даже нравилось. В разговорах, во взглядах, в жестах он узнавал своих односельчан, своих родичей, и эта встреча волновала, настраивала на какую-то праздничную волну. Только Жанет вдруг приуныла. Чем дальше отъезжали они от Кишинева, тем застенчивей и целомудренней становилась она.

Колхозники распивали вино, нарочно припасенное для обратной дороги, громко шутили, еще громче смеялись, обсуждая меж собой происшествия на рынке. Живописные по природе своей, заряжаясь энергией и артистизмом друг от друга, они в конце концов превратились в актеров самодеятельного театра, и Хория подумал про себя: «Господи! Эти наши кинорежиссеры объезжают всю страну и дерутся из-за какой-то сухопарой гусыни, которая только и умеет, что делать удивленные глаза и целоваться взапас, а тут такие актеры, такие сюжеты, что поспевай только снимать!»

Под Унгенами, когда весь этот балаган одним дыханием слетел с поезда, они остались вдвоем во всем вагоне, и это преждевременное уединение их как-то смутило. Они, в сущности, еще не знали друг друга, они стыдились своих чувств, боялись самих себя. К уединению они еще не были готовы, и тоненькая ниточка, связывавшая их, могла в любую

секунду порваться — и все, никто и ничто в этом мире не сможет из двух кусков сделать одну целую нитку.

Жанет выглядела усталой, и он сказал:

— Если хочешь вздремнуть, я могу одолжить свою шляпу. Не забудь только сказать, на какой мы станции сходим.

Она улыбнулась. Они там, на Буковине, умеют прясть, умеют обращаться с нитками.

— Боишься, что завезу бог знает куда?

— Меня трудно завезти бог знает куда, потому что все эти северные районы Молдавии я знаю, как свои пять пальцев.

— Откуда ты их так хорошо знаешь?

— Студенческая любознательность. Зарабатывали деньги. И после первого и после второго курса объезжали эти края. Собирали фольклор, фотографировали деревянные распятия, стоявшие в поле, на перекрестках, при въездах в деревни. Ах, какие мы тут видели распятия!..

— А наше, Каприянское распятие все же не видели?..

— Отчего же? Оно у меня даже сфотографировано. Вот вернемся — покажу...

Жанет резко повернула голову. В ее черных глазах с детской быстротой и непосредственностью появилась обида и сожаление. Она, видимо, собиралась обворовать его своей деревней, это было самое лучшее, самое красивое, что было в ее жизни, и вдруг оказывается, что он уже все видел, все знает... С трудом пересиливая свое настроение, она спросила:

— Что же, и тогда тебя тоже какая-нибудь дура пригласила?

Он рассмеялся.

— Да нет, затащил нас туда Иларие Семенович. Он охотился за той книгой из бычьей кожи, в которой, говорят, записаны имена звонарей и главные события их жизни. Одному ему было не под силу ее раскопать, и он думал — вместе добудем.

У нее опять начало светлеть лицо.

— И что же? Нашли?

— Какое там! Три дня бегали от деда Иона до бабки Фрэсыны, да так ни с чем и уехали.

Успокоившись, она как-то загадочно улыбнулась про себя. Ничего, Каприяна остается еще ее тайной, ее богатством, и растрачивать это добро она пока что не собиралась.

Эта загадочность ему почему-то не понравилась, и он спросил, надеясь вызвать ее на откровенность:

— А вообще-то эта книга в природе существует?

— Существует. А как же?!

— Ты-то сама видела ее?

— Я-то? Когда была в шестом классе, этот «талмуд» всю зиму валялся у нас за печкой.

— Там же жарко, эти страницы из кожи могли рассохнуться и погибнуть.

— Да нет, они через столько рук прошли, что им уже ничего не страшно!..

— И куда потом та книга делась?

Жанет грустно, устало, по-деревенски тупо ответила:

— Кто знает...

Она произнесла эти слова с той же печальной интонацией, с которой им отвечали на всех перекрестках, когда они бегали по деревне в поисках этого осколка древних летописцев. Но как и тогда, так и теперь Хория подумал, что за этим «кто знает» скрывается очень точное знание того, где эта книга. И его вдруг залихорадило, ему захотелось еще раз попытать счастья: вдруг он тот самый человек, которому суждено ее заполучить?

Это же слава на всю республику, это же готовая диссертация!

Он подсел поближе к девушке, но Жанет смотрела уже куда-то в поле, и он понял, что она ему не помощник в этом. И если подумать, что еще после войны эта книга лежала в

нижнем помещении Звонницы, на специальном столике, и любой ребенок, любой прохожий мог подойти, полистать, списать что-нибудь, прочесть вслух.

Рядом стоял подсвечник, глиняная миска с зернами пшеницы. Изредка зайдет какая-нибудь старушка, зажжет свечку, положит монетку рядом с миской, поклонится этим скрижалям, приняв их за святое писание, и опять долго, два и три дня никого нет, только ветер скрипит старыми дверьми, и тихо отзванивает колокол, когда сильный порыв ветра раскачает его.

Потом какому-то маленькому начальнику из сельсовета захотелось полистать «талмуд», но подняться на гору было лень, и он послал дежурного принести ему книгу. Вероятно, он оставил ее у себя как украшение, и, увидев эту старину, маленький районный начальник пожелал увезти ее с собой, в район. Года три эта книга из бычьей кожи путешествовала. То она в сельсовете, то она в районе, то она в Кишиневе.

Каприяна волнуется, Каприяна снаряжает делегацию, крестьяне приезжают в столицу, забирают ее, увозят домой и кладут там же, в Звоннице, на столе, возле бронзового подсвечника. И опять какому-то маленькому чину трудно подняться на гору, и он посылает за ней.

Лет пять или шесть тянулась эта волынка. Потом крестьянам надоело ездить за книгой. А поскольку вся деревня относилась с большим трепетом к тем листкам, подтверждавшим в какой-то степени знатность и древнюю грамотность Каприяны, то люди вдруг упрятали, унесли из Звонницы и ее, и подсвечник, и глиняную миску с пшеницей, и на этом путешествия древнего фолианта кончились. О нем, может, никто и не вспомнил бы, но как раз в те годы молодой историк сделал в своей диссертации одну ссылку на эту древнюю книгу, а после той ссылки историки загорелись таким интересом к ней, что чуть ли не каждое лето приезжали ученые в Каприяну. Они ловили ее тайно и открыто, в одиночку и целыми группами.

На общем собрании колхозников выступал сам президент академии, разъяснял людям, какой научный интерес представляли те листки, была объявлена неслыханная премия тому, кто эту летопись раздобудет.

Люди слушали внимательно, согласно кивали, удивлялись размеру премии и тому, что за те деньги можно бы закупить, а когда заходила речь конкретно, когда ставился вопрос ребром, где же она, та самая книга, слышалось в ответ знаменитое «кто знает...».

— Понравилась вам наша деревня? — спросила вдруг Жанет.

Он помялся: очень уж неожиданно, прямо в яблочко попала она.

— Да, понравилась...

— Что вам так уж пришлось по душе?

— Девушка одна обворожила. Смуглая такая. Не то в восьмом, не то в девятом классе училась.

Жанет подумала.

— Она вам не могла тогда понравиться. У нее были очень длинные косы и очень короткий ум.

— И вот тем не менее и даже более того...

— Ничего себе, понравилась, а сам сидит целый год и ждет, когда та девушка сама подсядет к нему и пригласит на Храм.

— Я бы подсел к ней давным-давно, но, как бы это сказать...

— По-мужски скажи.

«Ну и язва!» — подумал он про себя, а вслух сказал:

— Конкуренция была слишком большая.

— А без конкуренции ты бы до сих пор гулял по университету в мятых брюках. Пошли. На следующей станции сходим!

Стояла теплая ночь, над чернеющими вдаль холмами висела огромная ослепительная луна.

Они сошли на красивой белой станции под названием Вережены — это была единственная побеленная станция на всей дороге от Одессы до самих Черновиц. Он даже спросил тогда, в три часа утра, когда они только что сошли:

— У вас тут что, так много извести?

Она ответила тихо и таинственно, наклонившись над самым его ухом:

— У нас тут много чего имеется...

Хория рассмеялся: было в ней что-то лихое, озорное, мальчишеское, и, конечно, она была феноменом в своем роде, эта самая Жанет. Если ее знал весь университет и добрая половина Кишинева, то что уж говорить о станции Вережены! Едва они прошли через калитку за зданием вокзала на маленькую площадь, где днем останавливались автобусы, — и, подумать только — в три часа утра, в каком-то темном закутке, встречали их, как родных. В единственном грузовике, стоявшем на привокзальной площади и уже набитом до отказа приехавшим людом, нашлось и для них место, а шофер любезно согласился ради Жанет сделать какой-то там крюк, а уж от того перекрестка, уверяли его знакомые Жанет, просто рукой подать. Ехали весело, с ветерком, по-братски прижавшись друг к другу. Километров через пятнадцать их выгрузили прямо в поле, на макушке какого-то холма. Луна тем временем скрылась за тучи, и все вокруг утонуло в густых сумерках, только бетонные столбы белели ровными рядами, то спускаясь по склонам виноградников, то выкарабкиваясь из глубоких долин.

Проводив машину, они долго еще простояли на холме, потому что та самая треклятая ниточка опять была натянута, готовая вот-вот порваться. На их счастье, в них жил еще дух какого-то древнего крестьянского упрямства.

Они стояли рядом, прихваченные утренней прохладой, и ждали. Ведь если правда, что все в мире постоянно течет и изменяется, то должно же это касаться и окружающего их мира. Что-то в конце концов должно произойти, важно только терпеливо дожидаться этого.

Тем временем то ли у них глаза привыкли к темноте, то ли начало уже рассветать, но из ночного сумрака стали выплывать и расходиться в разные стороны ровные ряды виноградников. Листва на кустах темная, почти черная, но уже шелестит, и это так странно, так приятно, когда мягко шелестит черная листва...

Утро пробиралось к ним по далеким ложбинам, окольными, таинственными тропами, словно рождение дня, сохранив свою святость на протяжении стольких тысячелетий, должно было оставаться тайней и на этот раз. А они стояли рядом, взволнованные, неподвижные, точно входили в храм неведомого будущего...

Священная земля наших предков, земля наших родителей, земля наших детей, и как бы еще выразить чувство трепета, охватывающее человека каждый раз при встрече со своей малой родиной... Свежий утренний холодок, и покой, и дремлющие в ночи холмы, и печаль, и восторг, и чувство преклонения перед этой нескончаемой красотой, и желание поклониться, поклясться в верности этой красоте, а потом прожить еще большую жизнь, оставаясь верным своей клятве...

Время шло, а они все еще стояли на холме, и виноградники осаждали их со всех сторон, будто они были крепостью, которую нужно было непременно взять. А они стояли — она с сумочкой, он с плащом. Стояли и ждали, вдруг еще какое чудо произойдет, а чудес больше не было. День родился у них на глазах.

Гребни восточных холмов розовели, над низинами нависали тонкие, прозрачные дымки, и вдруг Жанет сказала тихо-тихо:

— В детстве мне почему-то казалось, что вон там, за теми холмами, начинается степь и в той степи есть удивительное село, в котором растет, ничего о том не ведая, мой будущий муж... — И уже другим тоном добавила: — Северная Буковина — это там?

— В общем, там."

— Ну, тогда что же ты... Скажи: доброе утро, Женя. И поцелуй меня.

У нее дрогнул голос, когда она это сказала. Он поразился ее мужеству, ее откровенности и тихо сказал ей:

— Доброе утро, Женья.

И поцеловал ее, и то ли потому, что было поле, то ли потому, что было утро, поцелуй его был неумел, и свеж, и чист, как и весь тот мир, что их окружал.

— А теперь пошли. У нас сегодня много радостей впереди, у нас сегодня Храм. Только не заводи больше разговоров о том «талмуде» из бычьей кожи. У нас не любят, если кто об этом заговаривает.

— Но вы-то сами меж собой говорите об этом? Она посмотрела на него долго, изучающе, словно не ожидала, что он спросит об этом. И сказала тихо:

— Нет, не говорим.

— Никогда?

— Во всяком случае, при мне никто никогда об этом не говорил.

— Ну, что ж, так и быть. Со временем он часто возвращался к тому холму, к тому раннему утру и думал про себя, как иногда самый незначительный случай может перевернуть всю жизнь человека.

Кто знает, если бы им попалась попутная машина и довезла бы их до самых до ворот ее отчего дома, а то великое царство тишины и покоя осталось бы для них неведомым — кто знает, как бы в дальнейшем сложилась их жизнь!

Спускались и поднимались они по каким-то одной Жанет известным тропинкам. Она шла впереди, он шел следом за ней и старался не поднимать глаз от тропки, чтобы не видеть, до чего красиво и маняще пружинит под платьем ее крепкое молодое тело. Им можно было свободно любоваться в коридорах университета, там, гделюдно и шумно, но почему-то уже нельзя было здесь, в поле, где никого не было.

— Послушай, эти ваши долины отзываются на человеческий голос?

— Не все. А что, ты любишь эхо?

— Да, забавно... В детстве пасли корову, ну и, конечно, баловались...

— Я тоже люблю подразнить долины. Давай пойдем низом, сделаем небольшой крюк, но зато долина там на редкость голосиста.

Идти было легко и приятно. Высокие холмы уползали медленно во все стороны, и были похожи они на огромных доисторических животных, уснувших теперь на заре, и слабый дымок в долинах казался дыханием этих животных. Было жутко, было страшно и приятно в то же время, и крик парня вместе с криком девушки ушли далеко, рука об руку, на запад, пока не растаяли где-то там, в запрутских поймах. И снова дорога, и опять тропинка, и еще один спуск, и еще один подъем. Она спросила:

— Ты не устал? Он засмеялся.

— Разве от такой красоты можно устать? Она вздохнула.

— Еще как! Попробуй каждый день взбираться на эти кручи и спускаться с них. Тут, знаешь, какие нужно иметь крепкие ноги...

— Крепкие ноги везде хороши — и в степи, и на корабле, и даже в городе. Вообще японцы считают, что человек должен каждый день...

И умолк, потому что неожиданно с правой стороны, на гребне соседнего холма выросла древненькая, но все еще красивая Звонница Штефана Великого. И дрогнуло сердце, потому что, как там ни говори, а то, что шло к нам через четыре столетия, принадлежит уже не нам одним. Они стояли на одном холме, а на соседнем, так что прямо рукой было подать, стояла Звонница, но деревни почему-то не было на месте, на склоне холма, и он спросил:

— А где же Каприяна?

— Да вон она, внизу. .

Между обоими холмами висела пелена белесого тумана. Внизу, из-под нее, еле-еле вырисовывались дома, и только два-три домика окраины, взобравшиеся выше других по склону, стояли над туманом так, что поначалу казалось, что деревни-то нет — всего два каких-то домика. «У нас на Буковине такое редко бывает», — подумал он и вдруг переполнился чувством нежности, признательности к этой самой девушке, которая два года берегла эту красоту и только теперь, только ему решилась ее показать. Мягко, одной рукой

он обнял Жанет, но та увернулась, будто те два домика окраины, стоявшие над туманом, могли их увидеть и осудить.

С этого последнего холма они не то что спустились, а прямо сбежали. Тропинка была крутой и скользкой. Под утро прошел небольшой дождик, даже не то что дождик, а просто так, ради праздника прибило пыль. У крайних домиков дорога шла по склону, параллельно гребню холма, так что с одной стороны на уровне головы стояли дворы, заборы и дома, а по другую сторону у ног чернели крыши и дымоходы. Кустарники, свирепый лай собак. Это была не деревня, а цел~~ый~~ мир, и хоть есть союзник, неизвестно еще, как тебя примут. Даже сама Жанет, и та с чего-то заволновалась. И вдруг, когда они уже были в деревне, из-за каких-то кустов выскочил огромный детина в помятой шляпе и крикнул:

— Хенде хох! Руки вверх!

Жанет прямо расцвела от радости такой встречи:

— Симионел, ты-то откуда свалился на нашу голову?!

Тот засмеялся и тут же захлебнулся, закашлялся, словно подавился собственным хорошим настроением. Потом, сразу погрузнев, сказал, с трудом удерживая себя от смеха:

— Вышел, думал, может, гости какие приедут и не будут знать, как ехать к своей родне, и тут я как р-зз выхожу к ним...

Жанет его похвалила:

— Это ты молодец, что додумался. Со мною вот тоже гость и не знает, как дойти до нашего дома, но поскольку я сама тут, то я же и покажу ему дорогу. Надеюсь, это тебе не будет в обиду?

— Нет, конечно, а что, ты, это самое... — И снова захихикал и закашлялся. — Замуж еще не вышла?

— Нет еще. А у тебя как с женитьбой?

— Тоже не женился, но вот собираюсь...

— Дай тебе бог хорошую жену.

— И тебе желаю всего хорошего...

И тут же исчез, потому что опять было отчего-то смешно, и опять спазмы...

Они пошли дальше, и Жанет тихо рассказывала историю Симионела: его мама батрачила когда-то у священника, там его родила, там и оставила, и затерялась где-то в мире. Он рос сам по себе, служил у священника, а когда в сорок четвертом тот решил уехать в Румынию, ему оставили всё хозяйство, но он ничего не захотел взять. Живет в той же лачуге, в которой родила его мать, и хотя дом священника давно снесли и построили на том месте кооперацию, его лачугу оставили. Симионел живет тем до сих пор и по ночам сторожит кооперацию. Хороший парень, но у него какой-то психический дефект — он давится собственным смехом. И, надо же, как на грех уродился смешливым, и тянет его на веселье, хоть ты плачь. А иначе он бы давно женился.

Уже и дорога и местность вокруг стали выравниваться, и дома пошли ладные, что по правую, что по левую сторону, но вдруг из-за какого-то забора донесся тонкий женский голос:

— Женечка, и тебе не стыдно обходить мой дом? Да разве я не тетя тебе, разве я не так же хорошо готовилась к Храму, как твоя мама?

В деревне уже играли музыканты, мелькали в коридорах кривых улочек грузовики, на которых приезжали гости, начинался Храм, великий осенний праздник деревенской жизни, день, которого ждали, лелеяли весь год. И, сворачивая с тропинки, чтобы успокоить тетю, Жанет шепнула ему:

— Постарайся не пить. Тут в каждом доме полно вина, и вольют они его в тебя так, что даже и сам не заметишь.

Он удивился:

— Что же, совсем не пить, прямо ни одного стаканчика?

Она прошла молча несколько шагов и сказала, не оборачиваясь, уже во дворе своей тети:

— Я хочу, чтобы ты сегодня был трезвым, чтобы я весь день тебя любила, а к пьяному я не знаю еще, какое у меня будет чувство.

— Ты не пожалеешь. Выпивший я еще лучше, чем трезвый.

— Нет. Хорошее на лучшее я не меняю.

Едва они переступили порог дома, в нос ударил благодатный дух очага, запах приготовленных блюд. Было тепло, уютно в доме, и от этого всего ему ужас как захотелось спать. Он знакомился с ее родней, шутил и смеялся их шуткам, пил вино, закусывал, а его все больше и больше морил сон, и в конце концов он очутился один в соседней комнате на мягком диване, и рядом белела пуховая подушка. Снял ботинки, лег, укрылся полосатым одеялом и, засыпая, услышал во дворе шепот тети:

— Это и есть тот самый парень?

Что ответила Жанет, не слышно было, видимо, она просто кивнула. Пчеле небольшой паузы тетя зачатила:

— Славный. И высокий — у нас в селе не знаю, кто смог бы стать рядом с ним...

Что было дальше, он уже не слышал. Он спал. А когда проснулся, был уже полдень, вовсю играли музыканты, во дворе смеялись какие-то парни, чьи-то девушки. Жанет вошла сразу, как только он проснулся, а может, он проснулся от того, что она вошла. Она была уже в другом платье, в туфлях на высоких каблуках, от нее немыслимо пахло айвой — она, конечно, побывала уже дома.

— Ну, страшных снов не видел?

Он улыбнулся — до чего красивая, до чего хмельная была эта зараза, которая произносила «р» на французский манер. Умылся, чтобы как-то освежить лицо, она выгладила его водолазку, за что он попытался ее поцеловать, но из этого ничего не получилось, потому что вошла тетя.

— Послушай, Женя, — сказала она удивленно. — Мне кажется, что за эти несколько часов сна он еще немного вырос!

— Может быть, — улыбнулась Женя. — Люди и вправду во сне растут.

— Тогда ты ему не давай больше спать, а то потом не докричишься до него.

Они прошли через узкую калитку, вышли кривыми переулками на главную улицу, и началась та знаменитая карусель, которая в Молдавии называется Храмом. Описать это в хронологическом порядке почти немыслимо. Каждый дом сияет чистотой и доброй волей, в каждом доме гости произносят цветистые тосты, пьют вино, поют песни и едят куриный студень. А если гостей в доме нету, то значит, они только что были и вышли или вот-вот должны нагряться, и избежать этого загула немыслимо, потому что сам ты, откуда бы ты ни был родом и как бы тебя ни звали, должен уметь на Храме сидеть за столом, пить вино и петь песни, иначе грош цена и тебе и всему твоему роду. И если у тебя что есть за душой, то, несомненно, на том празднике выложишь, ну, а если ничего нет, то так тому и быть — кому не дано, с того, говорят, не спросится.

V

— Эй, ты, длинный, а ну отойди!

Хория обернулся — двое рабочих обхаживали мраморное надгробие бессарабского генерал-губернатора, прикидывая, как бы его свалить. Вид у них был злой, решительный. Занятый своими бедами, он тогда мельком взглянул на них, так и не поняв, что бы это могло означать. Только теперь до него дошло...

— Да вы что, обалдели?! Это же могила губернатора, в его доме великие люди бывали...

— А нам все равно, — сказал один из рабочих, чуть подвыпивший и потому более словоохотливый. — Что губернатор, что архиерей... Могила ликвидируется по плану. Проект есть.

— Но ведь это же исторический памятник! — не унимался учитель.

— Родня он тебе, что ли? — ехидно спросил второй рабочий.

— Какая он мне родня?

— Ну, дак чего зря глотку дерешь?

Хория казалось, что работы им тут дня на два, но тут же, к своему удивлению, он увидел, что огромная глыба мрамора стала тихо качаться из стороны в сторону. И неожиданно для самого себя спросил:

— Орех тоже выкопаете?

— Не... С ним пускай возьмется дорожники...

— А при чем тут дорожник;!?

— Дак троллейбусы будут сигать по этому месту — ты что же, газет не читаешь? Выпрямляют дорогу на Костюжены. Газеты надо читать, а то все вы на вид ученые, а газет в руки не берете...

Хория взял свои вещи и, расстроенный, направился к воротам. Вот еще один уголок, еще одна память их общей с Жанет жизни уходит в небытие, а было так мало в этом мире мест, где они сживали вдвоем и было им хорошо...

Чтобы как-то успокоить себя, решил пойти пешком до вокзала. Он знал когда-то, как пройти через Ботанику или через Долину роз от кладбища к вокзалу, и хотя дороги были плохие, все глина да грязь, он пошел по ним, чтобы как-то натрудиться, проветрить свою голову, подумать наконец над тем главным вопросом, которого он боялся и рее откладывал. А в Долине роз уже цвели запахи. Вы спросите: чем пахло? Не розами, конечно, для этого было еще слишком рано, и не айвой, потому что айвы тут и в помине не было, но пахло весной. Не городской, суетливой и сумбурной весной, а сельской, мягкой, задумчивой. Журчит ручеек, спускаясь по обочине дороги. У одного из поворотов размокал бумажный кораблик — с этим надводным флотом хлопотливо, тут везде свои законы. Хория высвободил кораблик из плена, и как-то легче на душе стало. Какому-то мальчику это может показаться великим предзнаменованием, а может, так оно и есть...

«Ах, если бы не тот дождь в начале апреля, как бы все хорошо можно было устроить...»

Из открытых окон каменного дома доносилась музыка. По радио передавали народный танец батуту, и он вспомнил, что тогда, на Храме, музыканты тоже играли эту самую батуту. Вообще нужно сказать, что музыканты тогда в Каприяне были отличные. Играли они в центре села, на импровизированной сцене. Около ста танцующих пар двигалось огромным кругом, как мягкий водоворот реки, а со всех сторон глазело село, и серебристая, позолоченная солнцем пыль висела над всей долиной. Потом, когда, устав, музыканты валят себе на колени отливающие на солнце медные трубы и по этим трубам стекают капли пота, глядишь, хваткие каприянцы уже обхаживают гостей, и начинаются приглашения, просьбы, поклоны. «Пошли и пошли, вы у нас еще ни разу не были, это не дело, мы очень просим, только на один стаканчик, не более». И вот они идут, вереницей десять, пятнадцать пар, но вдруг на одном перекрестке словно из-под земли вырастает веселый дядька, которому все они очень нравятся; и он громко заявляет, что не выдержит, умрет или наложит руки на себя, если они по дороге к тому главному дому, куда они шли, не завернут к нему, хотя бы на одну минутку, чтобы посмотреть, как он живет. Дядька он хороший и до того красиво уговаривает их, что они соглашаются зайти на минутку, но не успевают дойти до его дома, и вот уже дородная тетка вместе со своими двумя сыновьями, открыв калитку, хватает гостей парами, тащит их к себе в дом, сажает за стол, наливает стаканы отличное вино, и все это молча, молча, молча, потому что в самом деле к чему тут слова?

Во скольких домах они с Жанет гуляли в то воскресенье — трудно сказать. Ему запомнился дом Жанет, куда пришли они сначала вдвоем познакомиться с ее родителями — маленькой, хмурой женщиной, страдавшей головной болью, и высоким, немногословным, трудолюбивым и вечно расположенным к мужской дружбе стариком. Жили они все дружно,

в согласии, и временами даже казалось, что Жанет им не дочка, а внучка, — до того родители были старомодные, древние, и до того она была огненна и современна.

Второй раз он попал в ее дом уже в кругу большой компании молодежи, и Хория очень смущался, когда Жанет уговаривала всех есть и пить не только от своего имени, а говорила «мы»: «Мы вас очень просим, вы нас обидите». Как-то получалось, что они уже семья, уже ячейка общества, и было приятно, было и страшновато в то же время, потому что в любую минуту это могло обернуться игрой, а играть в это ему не хотелось.

Еще он запомнил учителя французского языка Харета Васильевича — он вырвал их из какой-то компании и на минутку затащил к себе. Харет Васильевич учился когда-то в Париже, и, хотя жил вдовцом, дом у него был убран и ухожен на редкость. Небольшой кабинет был буквально завален книгами на французском языке.

Он очень любил Жанет, она была его лучшей ученицей, его гордостью, он говорил ей на французском, она упрямо отвечала по-молдавски, чтобы не обидеть Хорию, но в конце концов это, кажется, обидело учителя...

Под вечер, когда музыкантов увели на отдых, Хория каким-то образом очутился один в маленьком переулке, и, пока раздумывал, что да как, местный парень, учившийся в Одесском политехническом, подкатил к нему на мотоцикле, усадил на заднее сиденье и повез в поле показывать сады и виноградники. В сущности, они почти не были знакомы, но один был местный, другой гость, а кругом Храм, и, стало быть, о чем речь...

Хория постеснялся сказать, что видел на рассвете и сады и виноградники, и хорошо сделал, потому что теперь, после полудня, те же самые холмы, те же самые долины казались уже совсем другими. На убранных виноградниках висела позолоченная, в багряных крапинках листва, сады мелькали то длинными, то поперечными коридорами, в глубоких долинах рассеялся туман, и видно далеко, за пять-шесть верст видно одиноких овечек, щиплющих травку на серых холмах.

В соседних деревнях люди трудятся — то ли Храм уже был, то ли еще только будет. Ветер бьет острой струей, то обволакивая прохладой, то накатывая теплом угасающего дня. Голова гудит от поля, от выпитого вина, от молодости. Легкий мотоцикл свернул с полевой дороги, побежал по мягкому, выгоревшему пастбищу и затормозил возле древней, сколоченной из старых досок овчарни. Одиноким каприанский пастух, измаявшийся оттого, что деревня гуляла, а он тут торчал со своими овечками, принял их, как родных. Он, оказывается, тоже готовился к Храму, тоже ждал гостей — у него было и вино, и орехи, и свежая брынза, и так он им был рад, что на прощание прямо прослезился. Много времени спустя Хория узнал, что слезы старика имели еще и другой смысл. Парень на мотоцикле доводился внуком тому пастуху, и это не было простой поездкой, это было миссией примирения, поскольку родители парня были в ссоре со стариком.

Вечером в Доме культуры молодежь устроила бал. До двух часов ночи модная прическа Жанет мелькала среди танцующих пар. Она измочалила всех молодых парнишек, впервые вышедших в свет; на частые дамские вальсы-она приглашала только помолвленных, у которых свадьба была, что называется, на носу; ее вырывали друг у друга два заезжих морячка, каким-то образом оказавшиеся на этом Храме, и в конце концов Хория, сидевший в уголочке, стал подумывать, что, может быть, не следовало бы ему сюда приезжать.

А тем временем бал шел к концу, и тучи сгущались. Жанет нагнетала атмосферу с каждой минутой.

Уже парни смотрели вокруг по-волчьи и вызывали друг друга на улицу на пару слов, несколько раз кто-то устраивал короткое замыкание, погружая бал в глубокую тьму, а ей все было мало, ей нужна была варфоломеевская ночь, пожар, стрельба из пушек, и, когда во втором часу ночи кто-то из чего-то таки выстрелил, и опять короткое замыкание, ему снова пощекотали висок, в нос ударил густой запах спелой айвы, и ее тихий голос спросил шепотом:

— Ты сможешь один найти наш дом?

— А что?

— Ты иди пока один, а я скоро тебя догоню. Только с дороги не сворачивай, а то переулком заблудишься.

Она, видимо, выбралась не через главный вход, а через какой-то другой, может, даже через окно, и когда он был у ее дома, она вынырнула из темноты, Как-то зябко прильнула к его плечу, сказала грустным, уставшим голосом:

— Насилу убежала. Сумасшедшие все какие-то. Перед тем как открыть калитку, она дернула его за рукав и поднесла палец к губам, дав ему тем самым понять, что все остальное должно произойти в глубочайшей тайне. Они прошли по тропинке к дому, но не поднялись на ступеньки крыльца. Жанет прошла дальше, уже по другой тропке, в сторону сада.

Еще одна калитка, отделявшая теперь внутренний двор от садика, потом пошли деревья, кусты малины, и где-то там в зарослях небольшое строение — не то летний шалашик, не то сарай, не то просто навес. Была, правда, входная дверь. Жанет ее открыла, дверь протяжно скрипнула, Жанет вздрогнула, но этот скрип не только не напугал ее, а, наоборот, придал еще больше решимости. Она ступила в темноту, поманив его за собой. Кошелки с виноградом, бочка, в которой сладкие передавленные ягоды уже бродили тяжелым духом хмеля, а из уголка светились в темноте две кошелки с желтой айвой, и этот запах айвы, воюя с другими запахами осени, царствовал тут под крышей.

Девушка спросила тихо-тихо, не то что шепотом, а одним дыханием:

— Тебе тут нравится?

Этот шепот подействовал на него возбуждающе. Озноб желаемых волнений потряс все его существо, и он ответил тоже одним дыханием, чтобы не вспугнуть эту таинственность:

— Рай.

— Это самая моя любимая комната.

Она ушла в уголок, выбрала две крупные айвы, одну дала ему, другую оставила себе. Есть айву они уже не в силах были, но и не прикоснуться к ней тоже было нельзя. И они стояли, держа в руках по одной айве, точно молились таинственному богу спелых круглых плодов, точно клялись в чем-то друг другу. Их укачивал покой конца осени, вокруг шелестел опавшей листвой сад, темная прохлада осени сочилась рекой по тому странному помещению, и тем удивительней, тем незыблемей казался и цвет, и запах, и упругая налитость айвы.

Жанет вдруг стала строптивой. Стоя рядом, она упорно не давала себя обнять и в конце концов, отвернувшись, пожаловалась кому-то:

— О, эта айва, она когда нибудь сведет меня с ума...

Прикуривая от зажигалки, Хория заметил в углу на старых саях подушку и козух — не то там кто-то спал, не то собирался только лечь, и, зная, что Жанет любительница больших неожиданностей, спросил:

— Мы тут одни?

Она сказала грустно и устало, глядя в сторону:

— Нет. С нами еще две кошелки с айвой...

Он попытался снова, в который раз за этот вечер, обнять ее, иначе какой же это Храм, какая же это молодость! На этот раз она оказалась более податливой. Он обнял девушку и поцеловал. Она никак не ответила на его поцелуй, но некоторое время спустя тоном знатного дегустатора, отпившего глоток из новой бочки, сказала:

— Нет.

У него похолодело нутро.

— Что нет?

— Не умеешь ты целоваться. Ну совсем прямо не умеешь. Сейчас я тебя научу.

Он был выше ее ростом, и она поднялась на цыпочки, прошлась ладошками по его плечам, мягко, по-кошачьи прильнула к нему. Ее мягкие руки, и грудь, и щеки, все это медленно, властно, неотвратимо плело единую, грандиозную тайну сближения. Она то бранила его, то прощала, то теряла, то снова находила, она гоняла его по кругу, как гонит

дикий зверь свою добычу — тихо, мягко, прочно. Он уже был ее навсегда, навеки, но ей все еще было мало, она уже колдовала над его душой, над его дыханием, и он отдал ей душу, отдал ей в губы свое дыхание и содрогнулся, потому что наступил конец, наступило начало.

Обезумев от полноты счастья и уже не помня себя, он взял ее на руки, донес до саней, начал прорываться к ее молодости, к ее чарам, но Жанет оставалась сама собой. Это был ее любимый вид спорта, и она не могла отказать себе в удовольствии поиграть еще раз. В критическую минуту выскользнула из его рук и, тяжело дыша, стоя уже в дверях, сказала:

— Там есть коуж и подушка. Ложись и спи.

И ушла. Она не пожелала ему доброй ночи, не сказала, когда и как они вернутся в Кишинев, и он почему-то догадался, что до рассвета она еще вернется.

Снял обувь, лег, закурил, долго слушал перебаты ночного веселья деревни, слушал, как поскрипывают высвобожденные от плодов ветки на ветру. Он лежал с открытыми глазами и ждал ее, ждал долго, потом подумал, что, верно, не смогла выйти. Родители, должно, учуяли, к чему идет дело, а мамаша у нее такая, что, если войдешь в дом, не скоро выберешься обратно.

Вытянулся поудобнее на старых саях, задремал, а когда открыл глаза, она уже стояла рядом в одной ночной рубашечке, с накинутым на плечи платком.

Он встал, широко развел руки, обнял ее, но она кулачками уперлась в его грудь и прошептала:

— Погоди, я все собиралась спросить тебя... Ты что же, любишь меня?

— Люблю.

Она помолчала, вслушиваясь в таинственные шорохи ночи, а может, прикидывала, куда бы это слово понадежнее припрятать, потому что слишком оно маленькое и слишком многое значит в человеческой жизни.

И тогда он ее спросил:

— А ты будешь мне верной, так, чтобы на всю жизнь, душой и телом?

— Ишь, сколько он запрашивает! — Потом, минуту спустя, сказала грустно как-то: — Разве в наше время кто-нибудь может обещать быть верным душой и телом?! Либо одно, либо другое. — Затем вздохнула и улыбнулась в темноте. — Тебе будет нелегко со мной. Я ведь немного сумасшедшая.

Его уже совсем укачало, он уже обезумел от этого запаха спелой айвы. И он тоже улыбнулся.

— Ничего, все мы немного сумасшедшие.

— Ну, тогда, после того, как я тебе это сказала... Кулачки, которыми она упиралась в его грудь, размякли, растаяли, платок, которым она укрывала свои плечи, упал.

Она прильнула к нему, сказала слабым голосом:

— Дома никого нету, но я тебя в дом не приглашаю. Там холодно, неудобно и совсем не пахнет айвой, а без айвы какая же это любовь...

Она отдалась ему легко, без борьбы, без ложных клятв, без мучительных внутренних раздумий, но она была еще девушкой, первой девушкой в его жизни.

До этого у него совсем не было женщин, он очень приблизительно представлял себе, что и как. А может, подействовала усталость, новизна обстановки. Так или иначе, но на рассвете он лежал весь взмыленный, а она тихо посапывала рядом, такая же красивая, такая же непорочная.

Под утро и он уснул, но она тут же проснулась и разбудила его.

— У тебя сегодня зачет?

— Зачет.

— Надо быстро собраться, а 70 опоздаешь на поезд. Я-то приеду только вечерним поездом.

Побежала в дом, раздобыла где-то старый школьный портфель, набила в него всякой еды, бутылку виноградного сока и те самые две айвы. Спросила, есть ли у него деньги на обратный билет, и, одевшись на скорую руку, садами, виноградниками, как это и полагалось

хорошенькой молодой жене, проводила его до тропинки, до той самой тети, которая первой затащила их к себе в дом. Полчаса спустя, пока он поднимался по склону холма, она все еще стояла внизу у плетенного заборчика и махала ему рукой, но, когда он забрался на самый верх, ее уже видно не было.

Предутренний туман укрывал и саму деревню, и крайние домики, и девушку, и только на соседнем холме гордо чернел силуэт древней и загадочной Звонницы Штефана Великого.

VI

Когда он поднимался по ступенькам Кишиневского вокзала, диктор объявлял, что поезд «Одесса — Черновицы» опаздывает. На сколько именно опаздывает, не сказали, и это его как-то обрадовало. Он боялся спешки, этого великого разрушителя современного человека. Ничего хорошего не удалось еще людям создать в спешке, ну, а для него, человека, которому нужно было решить едва ли не самое главное дело жизни, спешка вообще была губительна.

К тому же он еле волочил ноги от усталости. Идти через Ботанику всегда было трудно, а теперь, весной, после того как дороги развезло, он измотался так, что руки и ноги были чугунные, и если бы на перроне уже стоял поезд «Одесса — Черновицы», он вряд ли бы им уехал. Отъезжающему тоже нужно определенное душевное равновесие, определенный покой, и если всего этого нет, то куда кидаться...

Зал ожидания был переполнен, на скамейках ни одного свободного местечка. Вечная спешка, шум и гам, и все это происходит в сумраке, потому что фасонистые окна оказались слишком малыми для такого большого зала.

А над всем этим царил тяжелый дух плесени, так как вокзал стоял в низине и чуть ли не каждый год, после больших и обильных дождей, его заливало. Хория, однако, не стал расстраивать себя. Наоборот, он любил и этот вокзал, и его полумрак, и его тяжелый дух. В трудные годы студенчества, когда нужна была на одну ночь крыша над головой, он приходил сюда, и вокзал охотно его принимал.

Он знал это двухэтажное строение как свои пять пальцев и потому без особого труда на втором этаже, в зале для военных, нашел хорошую скамейку.

Поставил вещи, сел, но его все равно поташнивало. Пошел и купил в буфете бутылку корнештской минеральной воды, выпил несколько глотков, вздохнул глубоко, оглянулся и сказал сам себе: «Хватит». Хватит думать о ней, довольно думать о том, что было.

Зачем самому сводить себя с ума, когда это хорошо делают другие? Нужно, наоборот, построить дамбу и перекрыть путь этому огненному шквалу, иначе он погубит.

Ведь смешно подумать — всего несколько часов, как вышел человек из больницы, а голова уже гудит сплошным звоном, дыхание тяжелое, и он подумал, что если сейчас вот спуститься в медпункт вокзала к той самой девушке, которая почти два месяца назад вызвала «Скорую помощь» и отправила его в больницу, то она опять вызовет «Скорую помощь». Дежурила тогда полная русская блондинка. Измерила давление, прослушала легкие, сердце, позвонила в «Скорую Помощь», потом спросила:

— Вам что, в поезде стало плохо?

— Да нет, мне и дома еще было как-то не по себе...

— Зачем же вы уехали в таком состоянии?

— Да знаете, как бывает другой раз в жизни — нужно ехать, и ты едешь...

— Да, бывает, — согласилась она, но некоторое время спустя сказала вслух, точно его уже не было рядом: — Какие эти молдаване чудаки, с каким безразличием гробят они собственное здоровье...

«Ах, если бы не было того ночного урагана в начале апреля, и ничего бы тогда не надо — ни богатырского здоровья, ни любви, ни школы...»

Минут восемь — десять, примерно столько, сколько длится перемена в школе, он просидел с закрытыми глазами и смог держать себя в руках, не думая о той своей большой боли, но потом опять занесло. Ум — это, конечно, не только благо, это и большая беда наша. А может, виновником этого нового срыва был сам кишиневский вокзал с его шумом, с его запахами. Сидеть на жестких скамейках — радость не такая уж большая. Тогда, давно, в студенческие годы, когда он приходил сюда отсыпаться, он тоже цепенел на этих скамейках, но тогда у него было здоровое сердце, тогда все было впереди, и он говорил себе: «Ничего, пусть сейчас в этом городе для меня не найдется ватного матраца и казенной подушки под головой, но придет время, и этот город меня примет. Хочет того Кишинев или нет, но в одном из его дворов будут играть мои детишки, по его тротуарам будут стучать каблочки моей жены, и среди сотен тысяч окон засветятся когда-нибудь и мои два окошка». Так он думал тогда, и эти мысли помогали ему коротать ночи на жестких вокзальных скамейках, но теперь от тех давних иллюзий ничего не осталось, потому что Кишинев, увы, не принял их. Ни его самого, ни его жену, ни его сына. И добро бы хоть город ясно и открыто сказал бы ему с самого начала: «Нет, дорогой друг, ничего у нас с тобой не выйдет, и не тешь ты себя глупыми надеждами».

Нет, Кишинев был долго благосклонен к нему, он открывал перед ним не только площади и фасады многоэтажных домов, но и старые подворотни и темные закоулки, и временами казалось — все, вросли, это уже навеки, и только Жанет, даже не столько она, сколько ее черные глаза скользили по всему тревожно и недоверчиво. А может, он тогда был еще молод и глуп, может, у мужчин интуиция не так развита, как у женщин, потому что при более вдумчивом анализе уже тогда можно было угадать, что у них сложится в этом городе, а что сложиться никак не может.

Тогда, после Храма, он вернулся из Каприяны, уже внутренне считая себя женатым. Предостережения многих предков, долбивших молодым, что, дескать, смотри, женишься и тогда узнаешь, почем фунт лиха, все те древние и нудные нравоучения вдруг проснулись в нем, и, не успев еще зарегистрироваться, он уже шел по городу, обремененный большим семейством.

Ему предстоял первый и самый главный бой. Защита диплома была на носу, и тут все решалось. Университет в основном выпускал учителей для сельских школ. И для студентов, не имевших ни прописки, ни жилья в городе, направление на работу в одну из сельских школ было неминуемо. А учительствовать им не хотелось. Хория мечтал стать ученым-историком: начиная со второго курса, он печатал календарные заметки в газетах.

Что касается Жанет, то она с самого первого дня их знакомства сказала, что не хочет пасти белых овец. Учителей она называла пастухами белых овец. В сельской школе у них была старая доска, и, хотя она была покрашена в черное, все-таки краски расходились волнами. Почерк у их сельской учительницы был красивый, ровный, но черные волны все равно проступали меж буквами, и тогда казалось, что эта старая и тихая женщина пасет нескончаемую отару белых овец. А это, по наблюдениям Жанет, было не женское дело.

Поначалу у Хории были кой-какие карты на руках, было чем играть. То есть козырей у него, конечно, не было, да и те карты, что были, он в руках не держал, но они каким-то образом влияли. Положение и перспективы того или иного человека складываются из отношений к нему разных лиц или разных групп влиятельных людей, и почти каждый вдумчивый студент знает, на что он может рассчитывать. У Хории поначалу кое-что было. В университете он был на хорошем счету.

Два раза ездил на симпозиумы студентов-историков.

В ученых записках университета напечатали даже небольшой его труд — статью о формах и традициях деревянной скульптуры в молдавских деревнях, и, хотя статью без конца сокращали и кромсали, какие-то мысли там все же остались.

Каждый год из числа лучших студентов университет оставлял двух-трех в аспирантуре. Хория на это очень рассчитывал. После окончания первого курса ему чуть ли не с кафедры было обещано, что он будет оставлен в аспирантуре. Потом, как это всегда

бывает, стали появляться сомнения, другие кандидатуры, в которых заинтересованы какие-то лица, и уже после второго курса ему гарантии никто не собирался давать, хотя от обещаний и не отказывались. На третьем курсе его положение стало колебаться, после четвертого курса уже при нем об аспирантуре не заговаривали, и единственный, кто все эти годы ободряюще жал ему руку и советовал не вешать носа, был тот же Иларию Семенович Ротару.

Он был любимцем университета не только потому, что хорошо говорил и одевался со вкусом. Он был истинным, неподдельным по своей человеческой сути, а студент, да еще с далекой Буковины, на что он может еще рассчитывать, кроме этой истинности и неподдельности? И нет ничего странного в том, что, вернувшись из Каприяны, Хория стал подумывать, каким бы образом посвятить своего кумира в эти житейские заботы. Недели две он все размышлял, не зная, как к этому подступиться, а тем временем Иларию Семенович гулял себе по университету, никаких забот не зная. Среднего роста, коренастый, сильный и ловкий, он был создан, казалось, исключительно для деревенской жизни. В свои тридцать лет он умел пахать и сеять, ловить рыбу, ковать лошадей, плотничать, складывать печки, консервировать фрукты, и злые языки даже утверждали, что мышинного цвета демисезонное пальто, в котором он вечерами щеголял по центральной улице города, было сшито им самим на машинке, занятой у соседки по лестничной клетке. Его невероятно мучила мужицкая сметливость, она была в нем ключом, искала применения, его руки ныли по тяжелой, требующей ловкости и силы работе, а между тем судьба решила иначе, и он, закончив в Москве аспирантуру и защитив диссертацию, преподавал историю средних веков.

Хотя, надо сказать, и в должность преподавателя он вносил свое понимание дела. Одно время вузы Кишинева посылали своих представителей по селам, чтобы подобрать хороших ребят для очередного приема. От исторического факультета ездил в основном Ротару. За две-три недели он успевал объезжать немыслимое количество средних школ. Его черные, маленькие и круглые глаза откапывали у учеников скрытые способности с точностью рентгена. Заманивал он их одним своим видом, одной коротко остриженной челкой. Ребята ему доверялись с первой же минуты и потом не жалели. Кстати, и сам Хория попал в университет таким же образом. Он собирался поступить в летнюю школу, уже и медицинскую комиссию прошел, но вот появился перед экзаменами Ротару, отвел его в сторонку, спросил: поэт Холбан, живший в прошлом веке на Буковине, его однофамилец или родня? Хория ответил, что ни то, ни другое, объяснил, почему он так думает. Иларию Семенович не согласился с его доводами, но посоветовал поступать на исторический, сказав при этом, что у него логика историка. Хория не знал тогда за собой еще никаких талантов, и одни эти слова Ротару поставили его на ноги, и только за это он ему оста'нется благодарным до конца жизни.

Правда, потом, когда Хория поступил в университет, Иларию Семенович потерял его из виду, и с полгода при встречах он к нему приглядывался и припоминал: где это он его раньше видел? Нужно сказать, что Ротару умел на редкость тонко и прочно устанавливать свои отношения со студентами. Какое-то разумное чувство такта, унаследованное в своей деревне, подсказывало ему, кого из студентов нужно приблизить, кого нужно держать на расстоянии, кому нужно говорить абсолютно все, а кто может без этого и обойтись.

Через полгода Ротару вспомнил. Он снова откопал Хорию и, чувствуя, видимо, за собой вину, что так долго его не замечал, теперь принял самое активное участие в его судьбе. Выхлопотал ему место в общежитии; когда у Хории бывало особенно туго с деньгами, устраивал так, чтобы та или иная газета заказала ему календарную статейку о том или ином деятеле, причем все знали, что эти статейки Хория спишет в энциклопедии. Изредка Ротару доставал для него редкие книги, а те, которые он брал для себя в фондовой библиотеке академии, давал студенту на день-два полистать.

К великой зависти студентов, Ротару часто гулял вдвоем с Хорией по Пушкинскому парку. Правда, дружба эта не была бескорыстной до такой степени, как это представлялось Хории. Ротару любил своего студента за одно редкое качество — в его речи часто мелькали

свежие идеи. Вот ведь удивительное дело — и знаний у него не так уж много и даже изученный материал он не успевал толком осваивать, а уже какой-то механизм начинал вырабатывать свежие мысли. Он не рожден был идти по проторенной дорожке, и, рассказывая про какое-то средневековое событие своими словами, он вдруг высвечивал событие своим личным отношением к этому делу, и уже возникала откуда-то оригинальная, хорошая мысль.

Иларие Семенович зажигался от этих его новых мыслей мгновенно и начинал сам сыпать ими, и, хотя впрямую он ни разу не использовал ни одной мысли своего ученика, почему-то после каждой беседы с этим студентом он уходил домой обогащенный, ему хотелось сесть за свою докторскую диссертацию и не отходить от стола, пока работа не будет закончена.

Будущее Хории для него было ясным как божий день, но для того, чтобы высвободить парню силы для учебы, чтобы его не терзали излишние сомнения, он сказал как-то ему:

— Мое положение в университете не такое уж прочное, как это может показаться со стороны, но, думаю, оставить хорошего студента в аспирантуре мне удастся. Ты ведь хочешь остаться в аспирантуре?

— Хочу.

— Ну, в таком случае, когда подойдет к этому делу, я думаю, ты сможешь меня найти в коридорах университета?..

— Смогу.

Этот короткий и определенный ответ несколько смутил Иларие Семеновича, потому что среди достоинств, вывезенных им из родной деревни, был еще и один недостаток — скупость. Он хорошо понимал, что расположение преподавателя к тому или иному студенту — это уже определенное материальное благо, дружба преподавателя со студентом — это уже состояние, ну, а прямое обещание — это уже клад, и по всему видно было, что, дав обещание, он тут же стал жалеть об этом, и гордый Хория решил про себя никогда, ни при каких обстоятельствах не прибегать к этому авансу. Но жизнь есть жизнь, она с личной гордостью индивидуума мало считается, и вот он, вернувшись из Каприяны, стал высматривать Иларие Семеновича. Однажды поздно вечером он перехватил его в коридоре — Ротару куда-то спешил и, видя, что Хория идет ему наперерез, предложил проводить себя до троллейбуса. По дороге Хория рассказал ему в двух словах суть дела, утаив только имя девушки и название деревни. Ротару, правда, был на редкость тактичен в подобных делах. Он только спросил:

— Это что, серьезно?

— Очень серьезно.

— И отложить невозможно?

— Невозможно.

Почему-то эта новость озадачила доцента. Вероятно, он видел несколько иначе будущее своего любимого студента, может, он даже собирался посылать его в аспирантуру в Москву. А может, его собственное положение в университете было не столь уж прочным, может, он думал о своей личной жизни, о том, при каких обстоятельствах он сам женился, но так или иначе, а пропустил он три троллейбуса, все размышляя, и так ни к чему и не пришел.

— Мне нужно несколько дней, чтобы все продумать. Это дело терпит несколько дней?

Хория улыбнулся:

— Потерпит, куда денется.

— Ну, будь здоров и не расстраивайся.

Неделю спустя, встретив Хорию в вестибюле республиканской библиотеки, он взял его с собой на Комсомольское озеро, куда ходил через день грести на лодке. Он брал обычно большие, четырехместные лодки и часа по два работал веслами, чтобы натрудить свои

крепкие мышцы, иначе, говорил он, бессонница одолевает. Для него это было таким важным и торжественным актом, что все два часа он мучился, опасаясь, как бы Хория не попросил у него погрести. У Хории хватило ума этого не делать, и, в высшей степени довольный тем, что и на этот раз выложился до конца, Иларию Семенович пригласил его в летний ресторан, сооруженный на горке, у спуска к озеру. Заказал бутылку вина, два шашлыка, и, когда шашлыки были уже на столе и вино разлито по стаканам, он вдруг вспомнил:

— Между прочим, ты знаешь, это Общество по охране памятников культуры создается.

— Так оно же давно...

— Да нет, то были одни разговоры, а теперь есть решение.

— Ну что же... В таком случае я вас пездравляю.

— Не ты меня, а я тебя должен поздравить.

— Меня-то с какой стати?

— Видишь ли, по штату там полагаются три человека. О председателе не будем говорить — это не нашего ума дело. Секретарь там уже утвержден. Но есть там еще должность инспектора, и если твои дела сложатся так, что нужно будет идти работать, то лучшего места, думается мне...

— Да о чем вы говорите, кто меня туда возьмет?

— Председатель тебя возьмет.

— Так неизвестно еще, кто им будет.

— Не исключено, что председателем буду назначен я.

Хория зарделся, тут же встал, чтобы от всей души, как говорится, но Иларию Семенович нахмурился:

— Да погоди ты, не все так просто. Во-первых, кроме меня, там фигурируют еще две кандидатуры. Во-вторых, надо будет уломать комиссию по распределению. Положим, что мы ее уломаем. Остается милиция. Прописки у тебя нету, но мне передавали, что сын одного милицейского работника будет в этом году поступать в университет, так что это тоже может устроиться. Ну, насчет жилья с самого начала должен сказать тебе — никаких перспектив. Я сам вот живу в блочной квартире, шум и гам со всех сторон. Так, чтобы потом не было претензий с твоей стороны...

Надо отдать ему должное — он был человеком слова. Через несколько дней, как только его утвердили председателем Общества, он тут же подписал приказ о назначении Хории инспектором. Две комнатки, полученные для размещения Общества в инкубаторе (так в Кишиневе называли двухэтажную пристройку, в которой размещалось с полсотни учреждений), были распределены Иларию Семеновичем следующим образом. Одну он взял себе и секретарю, а другую, имевшую тоже, как и первая, свой выход в коридор, он отдал инспектору. На возражения секретаря, что, дескать, зачем инспектору отдельная комната, он ответил, что, кроме Хории, там будут еще материалы, макеты, документация, библиотека, одним словом — ад, и зачем председателю с секретарем сидеть в том сарае? Успокоив секретаря, он не пожалел три рубля, дал их сторожу, и тот раздобыл где-то на складе старый пружинный матрац, нашел и деревянную коробку к нему, и таким образом, пока суть да дело, Хория устроился в отдельной комнате и даже с удобствами — в случае нужды было где переночевать и чай вскипятить.

После сдачи госэкзаменов они с Жанет расписались. Сыграли две свадьбы — одну на Буковине, другую в Каприяне. Летом ездили в Карпаты, до одури ходили по горам, а к осени вернулись обратно в Кишинев. Снимать комнату они не стали, потому что ни лишних денег, ни надобности особой в ней не было. Жанет жила в общежитии, а он мотался по командировкам. Еще летом купил себе фотоаппарат, научился у друга-земляка, студента политехнического института составлять чертежи всевозможных древних строений, и только его в городе и видели.

К сожалению, он слишком поздно понял, какого маху дал. Вместо того, чтобы сидеть тихо в своем учреждении, решать кроссворды и помогать секретарю Общества товарищу

Балцату добывать детали к автомашине; вместо того, чтобы кусочек за кусочком отвоевывать местечко в столице республики для себя и для своей семьи, он пешком, на попутных машинах таскался по деревням, записывал легенды и предания, фотографировал, делал чертежи с древних колоколен, точно те колокольни, простояв столько веков, не могли простоять еще год-два, пока инспектор Хория устроит свою личную жизнь.

Отношения с секретарем Общества не сложились с самого начала. Они были слишком разными: если Хория был словоохотлив, любил юмор, то Балцату был мрачен, тугодум с вечно нахмуренным лицом — не то недоспал, не то переспал. Не успел Хория вернуться из первой командировки, как Балцату окунулся в привезенные им материалы, долго и кропотливо их изучал несколько дней кряду, потом протянул как-то неопределенно:

— Да-а...

Этот возглас внес какую-то нервозность в маленькое учреждение, состоявшее из трех человек, так что Иларию Семенович, уже видевший и одобрявший привезенные материалы, вынужден был снова вернуться к ним, заново их просматривать. Должно быть, он смотрел несколько иначе на мир, чем его секретарь. Они меж собой, вероятно, подолгу спорили, когда Хория бывал в командировках, и эти споры были нелегкими, потому что со временем Иларию Семенович стал заглядывать к нему все реже и реже, и даже в те дни, когда он заходил, они смотрели исподлобья друг на друга.

А Хория, на свое несчастье, ничего этого не понимал, он носился как угорелый из одного края республики в другой, таскал на себе от автобуса к вокзалу и от вокзала на автобус полные чемоданы с материалами, и с каждым его приездом напряжение внутри их коллектива росло. И когда жизнь там стала невыносимой, когда они уже физически не могли больше находиться вместе, секретаря Общества, видимо, куда-то вызвали, где-то ему что-то втолковали, и он решил пойти на мировую. Однажды утром он пришел в почти нормальном настроении и попросил Хорию постоять за него в очереди в спортивном магазине — там как раз привезли ветровые стекла для «Москвичей».

Хория был занят в то утро, но, сославшись на свою занятость, он подошел к окну, посмотрел на поставленную под окном машину секретаря и спросил:

— Зачем вам еще одно ветровое стекло, когда вон заводское еще в целости?

Балцату ничего не сказал — он только ухмыльнулся, и это означало, что между ними все кончено. И уж куда бы Хория ни ездил, какие бы материалы ни привозил, все было впустую, все в конце концов оборачивалось против него же самого.

Иларию Семенович долго и упорно защищал своего друга, но силы были неравны, и вот сам председатель тихо, незаметно начал менять свое отношение к работе Хории. Если после первых поездок Иларию Семенович пришел в такой восторг, что даже затащил Хорию с собой на какие-то именины, то потом, хотя материалы, которые инспектор привозил, бывали с каждым разом все интересней и интересней, он его как-то сдержанно похваливал, иной раз выражал сомнения в истинности того или другого рисунка, а затем с каждой поездкой становился все более замкнутым, хмурым.

Потом он даже перестал смотреть новые материалы и, прежде чем подписывать командировку, долго спорил, почему инспектор едет именно в те районы, а не в другие, и к чему такая спешка, у них и так всего две комнатухи, деваться некуда от обилия материала. Какое-то время он вообще не показывался в Обществе. Хории стало неуютно, он почувствовал, что секретарь его сожрет, нужно податься куда-нибудь, а куда — неизвестно. И вот однажды, часов в восемь вечера, когда с этими невеселыми мыслями он сидел еще в Обществе, зашел Иларию Семенович. Посмотрел туда-сюда, как это с ним часто бывало, подумал, потом предложил Хории погулять по улице 28 июня. Он начал полнеть и, чтобы сбавить вес, каждый день часа по два гулял, и любил почему-то гулять только по улице 28 июня.

Было сухое начало осени, шуршала под ногами свежеепавшая листва, пахло яблоками и сладким виноградным соком. Они шли долго, квартал за кварталом, потом, дойдя до Садовой, сворачивали, спускались вниз, и за эту долгую и молчаливую прогулку Хория

понял больше, чем понимал тогда на лекциях, когда Иларие Семенович красовался перед ними в новеньком костюме.

— Почему вы с секретарем не поладили? — спросил наконец Ротару.

— Я не захотел постоять в очереди, купить ему лишнее ветровое стекло.

— А почему ты не захотел?

— Религия не позволяет.

— А что говорит твоя религия?

— Она утверждает, что каждый должен стоять в очереди сам за себя...

— Идиот, — сказал Иларие Семенович. — Я такой же православный, как и ты, но и мешки на себе таскал и даже ощипывал кур на кухне профессора, когда готовили там громкий юбилей.

— Значит, мы люди разные... Я кур вообще не умею ощипывать.

— Да не в том дело, что разные, но, понимаешь, мне по секрету сообщили, что сегодня ночью из милиции придут проверять: верно ли, что в нашем учреждении ночуют люди.

Он был очень жалок, Иларие Семенович, в эту минуту. Вдруг вместо ученого Хория увидел рядом с собой сытого, самодовольного деревенского увальня, которому хотелось только одного — хорошо пожить, носить новые костюмы, грести на лодке, читать свои лекции, а остальное — пропади все пропадом. Никогда Хория не думал, что наступят обстоятельства, при которых сам он будет стоять неизмеримо выше своего учителя, и вот теперь со своей печальной и гордой высоты он улыбнулся и сказал:

— Что ж, раз такое дело, поедem пасти белых овечек...

Иларие Семенович даже вздрогнул от неожиданности:

— Каких овечек?

Хория долго объяснял смысл этого выражения, но то ли он плохо рассказывал, то ли Иларие Семенович думал о другом, но, пройдя несколько кварталов и так ничего и не поняв, Ротару остановился и сказал шепотом:

— Единственное, что я могу еще сделать, — это добиться для тебя направления туда, куда тебе бы хотелось ехать. Ты можешь теперь, сию же минуту, назвать это место?

— А завтра будет поздно?

— Поздно.

— Ну, тогда, я думаю, в Каприяну...

— Хорошо. Я не записываю, я и так запомню.

Он попрощался с Хорией почему-то в темноте, под высокими акациями, хотя через квартал была уже остановка троллейбуса и Хория всегда провожал его до остановки. Простившись с ним, Ротару тут же поспешно перешел на другую сторону улицы, и вдруг такая тоска, такое одиночество обрушились на бедного буковинянина, что первые полчаса он простоял, прислонившись к фонарному столбу, и многие прохожие принимали его за пьяного. Потом как-то неожиданно очнулся. Вернулся в Общество, надел свой черный костюм и, хотя было уже около десяти вечера, поехал в женское общежитие университета.

Они славno провели тот вечер с Жанет. Собрав все свои финансовые запасы, они зашли в ресторан гостиницы «Молдова», распили бутылку «Негру де Пуркарь», отлично поужинали, протанцевали до двух часов ночи, потом дали десятку сонному дежурному администратору, получили ключи от хорошего номера, до самого утра любили друг друга, и с этой ночи, с этой любви у них началась настоящая семейная жизнь. Жанет перешла на заочный, он оформил направление, и через несколько дней они покинули город.

VII

Дышать внутри вокзала стало невозможно. Видимо, перед дождем опять накатила духота, и он подумал: «Надо же, в первой половине апреля, это бывает раз в сто лет, когда

идут дожди в первой половине апреля! А как бы славно можно было все устроить, если не тот ранний дождь, и гром, и молнии, полосовавшие небо да самого утра...»

Он сидел на жесткой вокзальной скамейке, думал о немых перипетиях человеческих судеб, и вдруг его разгоряченный мозг уловил конец фразы дикторского объявления: «...отправляется через пять минут». Схватил вещи, кинулся на первый этаж, посмотрел в окно. На перроне стоял поезд «Одесса — Черновицы». Это был его поезд и, по словам диктора, должен был вот-вот отправиться. Кинулся в кассу за билетом, но в кассе была очередь, человек пять-шесть. Потом он сообразил, что ему можно вне очереди, поезд уходит. Подошел со стороны и крикнул в окошечко:

— Быстро, пожалуйста, один билет.

— Куда? — спросил женский голос из окошечка.

— Чего куда?

— Ну, билет куда?

— А, вы насчет билета... Кто-то из очереди возмутился:

— Что за дубина...

А между тем он и в самом деле еще не решил, куда ехать — то ли вернуться в Буковину, то ли слезть в Вереженах. Отошел, имитируя поиск денег в карманах, хотя отлично знал, где они у него лежат, и улыбнулся, подумав про себя: действительно, если так посмотреть со стороны, дубина как есть. Потом опечалился, весь как-то сник, взял вещи и поплелся с ними на перрон. Поезд «Одесса — Черновицы», его милый, родной, старый коняга, сотни раз возивший его туда, где пахло древними дубовыми лесами, туда, где пахло свежей айвой, стоял у перрона, пытел, готовый в дальний путь, а он, увь, все еще не собрался с мыслями. Два месяца, лежа на больничной койке, он все думал, куда ему возвращаться, потом еще один день, гуляя по Кишиневу, раздумывал, но так ни к чему не пришел и теперь стоял на перроне нелепый какой-то, с туго набитым портфелем, с полной сеткой мелких апельсинов. Стоял большой, бледный, взмокший, смотрел, как другие садились в поезд, и, пока он так стоял и смотрел, он вдруг понял, что ум — это означает не только механическую работу определенных клеток мозга. Ум — это и работа мозга, и сам анализ этой работы, и принятие решения на основе этого анализа. Другими словами, быть умным означает не только хорошо все понимать, но, поняв, действовать.

У проводницы того вагона, возле которого он рассуждал о свойствах ума, было очень красивое и холеное лицо. Тело у нее было грузное, на ногах жгутами выступали посиневшие вены, но лицо было удивительное, прямо как с иконы сошедшее. Хория подумал, что так, должно быть, выглядят итальянские кинозвезды, когда они гримируются под женщин из народа. Затем он подумал, что можно бы отлично начать фильм с такой вот сцены — стоит поезд, на перроне стоит человек с портфелем, с апельсинами, затем поезд трогается, а человек так и продолжает стоять. И пока он придумывал сюжет для того фильма, заскрипели сцепления вагонов, колеса сдвинулись с места и медленно, точно они ползли по льду, подались туда, на север, где были его обе малых родины, где была его любовь, где было его большое горе.

Вдруг до его сознания донесся окрик. Вопила что-то проводница с красивым лицом, проезжая мимо него на подножке своего вагона. Он оглянулся, чтобы выяснить, кому это она кричит, но на перроне уже мало кто остался. Похоже было, что кричала ему.

— Ну?!

В один миг он очнулся, взял поудобнее свою ношу. Проводница, верно, решила, что он безбилетник. Это бывает чуть ли не на каждой станции — когда поезд трогается, проводницы тут и там подсаживают либо опоздавших, либо не успевших купить билет, либо студентов, которым чуть-чуть не хватило до полной стоимости проезда. Вагоны медленно проплывали мимо вокзала, но эта красавица с иконописным лицом, с низким, певучим грудным голосом не спускала с него глаз — была в этом взгляде и материнская забота, и страх, что он не успеет, и сожаление, что вот и тут могла бы заработать лишнюю копейку в

дом, да не выгорело... Уже проехав много дальше того места, где он стоял, она подбодрила его еще раз:

— Ну же!

И он решился. Побежал за ступеньками вагона, на которых она стояла, с ходу вцепился в поручень, прыгнул, удивился про себя своей ловкости, прошел в тамбур и простоял там, пока она закрыла дверь вагона. Дышал тяжело, смущенный, что так легко, в один миг запыхался, отвернулся, посмотрел в другую сторону, чтобы как-то прийти в себя. Проводница между тем закрыла двери и спрятала грязные тряпочки, которыми вытирала поручни, и прошла в вагон мимо него, словно Хория и в природе не существовало.

Когда поезд набрал полную скорость и стало ясно, что он едет, что это факт и никуда от этого не денешься, Хория взял свою ношу, прошел в вагон, отыскал свободное местечко у окошка. Попросил сидевших там женщин присмотреть за его поклажей, а сам нащупал в кармане хрустящую трехрублевку, вернулся к тому закутку, в котором сидела красивая проводница, и, улучив минутку, когда вокруг никого из посторонних не было, протянул ей деньги. Та долго глядела на его трешку, потом посмотрела на него самого и в конце концов пропела своим низким, певучим голосом:

— Мало.

Он смутился. Держа деньги в правой руке, левой принялся рыться по карманам так, чтобы добавить к ним еще какую-нибудь бумажку, но что и как добавлять, он не знал и потому пробормотал:

— Ну, я не знаю... А сколько нужно?

— Я деньгами не беру.

— Гм... А чем же?..

— Любовью.

Он улыбнулся, и она обиделась. По ее красивому лицу разошлись красные пятна, отчего оно стало еще красивей.

— Нет, вы меня не так поняли. Мне не для постели нужно. Осточертели мне все эти ваши штучки... Мне нужен мужик, чтобы сел вот так рядом со мной, как друг, как брат, и чтобы я рассказала ему всю свою жизнь, и пусть он ее обмозгует, пусть он мне скажет, в чем я права, а в чем, может быть, и нет. Вы меня спросите: а для чего тебе это нужно, — и я вам отвечу: нужно, вот и все. Я устала от баб, от их разговоров, от их сплетен, от их дрызг. Я ведь знаю, что мужики умнее. У меня и дед был умнее бабки, и отец был хитрее матери, и дома вот сын растет, и хотя ему нету еще десяти, но он башковитее дочек, которым не завтра, так послезавтра замуж пора.

Хория снова улыбнулся, потому что человека, более неподходящего для такого случая она вряд ли могла бы найти. Отдать свою жизнь на суд тому, кто запутался в собственной жизни, — это надо уметь. И хотя он еще раз улыбнулся, на этот раз она не обиделась. Наоборот, ей понравилось, что он улыбнулся, и она спросила:

— Что долго так раздумывал на перроне?

— Да, знаете, комок вот в горле застрял...

— А, рассказывайте! Никаких комков у вашего брата не бывает... Это мы никак их из себя не выдавим... А чего худой?

— В больнице кормят хуже, чем дома.

— А и правда, я тогда даже подумала было: видать, из больницы мужик...

Ей стало почему-то его жаль. Она провела его в глубь вагона, хлопнула ладошкой по пустой полке, сказав громко, чтобы всем слышно было:

— Вот ваше место!

Это для того, чтобы потом никто не претендовал на ту полку. После одной из остановок, пройдя мимо, она сказала так же громко:

— Постель будет после Унген!

Он был очень тронут ее добротой и сказал:

— Спасибо.

Она пропустила мимо ушей его благодарность, прошла дальше по вагону, но он успел заметить, что у нее с чего-то дрогнули реснички. Подумал: «Неужели и ей понравился мой рост?» И еще подумал про себя: «Господи, не надо, чтобы и она увлеклась мной, иначе я не выдержу. Должен же быть какой-то предел всему этому».

На улице моросил дождь. Мокрый, рыжеватый туман начал окутывать поля, леса, долины, сердце слабело с каждым ударом из-за перепада давления, и вспотевшая шевелюра дымилась на его голове. По стеклу стекали капли, такие же мокрые капли, как и те, что шли ночью с десятого на одиннадцатое апреля. И его опять стало поташнивать. Кто знает, может, надышался затхлым воздухом Кишиневского вокзала, может, переволновался, когда прыгал в поезд, а может, огненный смерч этих воспоминаний сжег все силы, все, что было с таким трудом накоплено на больничной койке. Ведь каким надо быть дураком — всего несколько часов, и уже не тот учитель, который бодро вышел из ворот больницы, а только его оболочка ехала в поезде на север, на малую родину. Ему даже захотелось плакать. Надо быть сумасшедшим, надо быть круглым идиотом, чтобы, едва выбравшись из больницы, снова вернуться к тому, что свалило тебя с ног.

Это, конечно, так. Это бесспорно. Но в таком случае скажите, как же человеку осмыслить себя и свою жизнь, как понять, что было верного и неверного в его поступках, как вычислить ту треклятую станцию, на которой тебе нужно сойти? Конечно, трудно, конечно, больно, конечно, эти воспоминания сжигают дотла, но нужно быть мужественным и не кружить, а идти напрямик через это адское пламя, и чем решительней, тем легче будет для его больного сердца. Ибо, как говорили древние эллины, что она стоит, эта жизнь, если отнять у человека дар представить себе еще раз то, что однажды уже с ним происходило.

VIII

Уезжали они тогда из Кишинева тоже этим поездом. И тоже в такой холодный, дождливый, неуютный день. Они тряслись на своих сиденьях, стерегли чемоданы, свертки, все свое нажитое добро и говорили о всякой всячине. Говорили, например, об урожае на фрукты, гадали, будет ли вино кислое в том году или нет, об озимых посевах говорили. Все эти беседы были навеяны тем, что виднелось из окна вагона. Они рассуждали обо всем этом, а на душе скребли кошки — так хорошо, так славно они распланировали свою жизнь, и так из этого ничего не получилось!

Обидно было. Обидно, потому что после первых же командировок у Хории прояснилась диссертация, Жанет пригласили преподавать французский в политехническом институте, для нее даже какую-то единицу пробили в министерстве, и вдруг все рухнуло, и эти разговоры о садах, о виноградниках, о посевах означали только одно — поражение.

И, как назло, дождь всю дорогу лил. Вообще с этими дождями что-то связано в его жизни, они всегда предвещают для него беду. И тогда дождь лил вовсю, и когда в полночь они сошли на станции Вережены, он по-прежнему лил. Отец Жанет приехал за ними на телеге, потому что дороги развезло и на машине было не пробиться. Они ехали на мокрой соломе, укутавшись рваным брезентом, ехали долго, до самого утра, и, когда въезжали в деревню, лошади уже еле волокли за собой телегу. По всему склону холма мокрые крыши уютно дымились, люди сидели, попрятавшись в свои дома, только белые занавески мягко шелестели на окнах, когда они проезжали мимо. И вот они, наконец, въехали во двор. Встретила их хмурая теща со своими вечными головными болями. Теплый, уютный дом, запах свежеевыпеченного хлеба, знаменитый куриный суп, замэ де гэинэ, такой вкусноты блюдо, какого они давно уже не ели. Позавтракав, завалились спать, и, измотанные житейскими обстоятельствами, они спали весь день и ночь напролет проспали бы, если бы вдруг в доме не раздался клокочущий бас учителя французского языка Харета Васильевича.

— Я пришел, — говорил он отцу Жанет, вытирая ноги у крыльца, — я пришел забрать их к себе в гости.

Они пошли и просидели у него до полуночи. Обычно важный, хмурый, полный подчеркнутого достоинства, Харет Васильевич вдруг стал таким милым, душевным, так он хорошо понимал тяжелое положение, в котором они оказались, так деликатно старался им помочь, что прямо совестно становилось от всего этого. Его внутренней темой в тот вечер было показать важность присутствия духа. Его главной задачей было доказать своим существованием, что интеллигент, истинный интеллигент может жить и в этой деревне и мир мыслей, мир идей не будет для него китайской грамотой. Какими-то далекими намеками он старался дать понять, что Жанет была и остается его любимейшей ученицей и нету больше счастья для учителя, чем прожить жизнь рядом с любимым учеником. И, наконец, ему захотелось сказать, что, пока он тут, в этой школе завуч, все, в чем будут они нуждаться, он достанет — и часов, сколько нужно будет, он для них наберет, и положение в коллективе у них будет достойное, только, ради бога, умолял он, не ходите сами к директору, не залезайте с ходу в нашу кашу. Дайте мне день-два, и я все подготовлю, все устрою.

Они распили два кувшина вина, съели множество великолепных, самым хозяином стготовленных сармале — маленьких голубцов — и, довольные всем на свете, собрались домой. Они уже уходили, они были уже в дверях, но Жанет вдруг почувствовала себя маленькой школьницей, и этой маленькой школьнице захотелось пожаловаться учителю. У нее осекся голос, в глазах заблестели слезки.

— Хорошо вам говорить, Харет Васильевич. Вы, кроме этой деревни и Парижа, ничего не видели, а мы столько лет прожили в Кишиневе...

— Что?! — завопил Харет Васильевич. — Ты мне будешь рассказывать, что такое Кишинев?..

Весь пунцовый, оскорбленный и сердитый, он засадил их обратно за стол, принес еще один кувшин вина, поставил на стол большую вазу с фруктами, о которых он за беседой забыл, покопался в ящиках письменного стола, в тайниках книжных полок и положил перед ними пожелтевший листок — распоряжение Кишиневского горсовета о вселении его на какую-то площадь. Сказал коротко:

— Армянская, сорок пять.

Жанет прямо рот раскрыла от удивления.

— Вы что же... Жили в Кишиневе?

— Около года. И комната своя была. Диван, стол и два стула. И служба хорошая — младший научный сотрудник в институте истории, языка и литературы. И все шло хорошо, пока не началась научная конференция, посвященная вопросу о происхождении молдавского языка. Дискутировались две различные версии.

Хория улыбнулся:

— И вы, на свое горе, не ту версию поддержали?

— Да никого я не поддерживал, я даже рта не открывал. Сидел в уголке и слушал. После трехдневной конференции вышел оттуда, как в угаре. Пришел домой, вернул ключ в домоуправление, подарил дворнику мебель, собрал вещи, и вот уже двадцать лет, как я счастлив.

— Чем же вы счастливы? — спросила Жанет. — Этими блужданиями по лабиринтам школьных программ?

— Своей работой я доволен, — сказал Харет Васильевич тоном, не допускающим дальнейших дискуссий. — Она мне приносит и материальное и моральное удовлетворение. Но счастлив я другим. Хотя в этой деревне вряд ли кто об этом знает, но вам-то я могу сказать. Уже много лет, как я работаю над книгой «Неологизмы в трудах наших летописцев», потому что, думается мне, истинный ученый работает не только тогда, когда его труд утвержден в плане и государство уже отпускает на него определенные блага. Творчество ученых, как потребность развития человеческого духа, родилось задолго до создания ученых званий и даже раньше, чем начали чеканить денежные знаки...

Они возвращались после полуночи. Впереди шел Харет Васильевич, освещая им дорогу керосиновым фонарем. Дождь перестал, но небо было еще сплошь обложено тучами. Временами, правда, темнота как-то рассеивалась, вырисовывались гребни холмов и на одном из них загадочная старая Звонница, о которой еще никто толком не писал. И Хория подумал: если она стоит одна там на горе уже четыре столетия, то надо полагать, что вдвоем им удастся без особых осложнений прожить еще один короткий век человеческой жизни.

На следующий день Хория встал почему-то уже в ином настроении. Сказал, что идет в буфет за сигаретами (они у него действительно кончились), но на обратном пути он решил заглянуть в школу. Уж очень не по-мужски это было — сидеть и ждать, пока некий добрый дядя устроит твою судьбу. У него лежало в кармане направление, в этой школе ему суждено было много лет проработать, тут детвора, тут будущие друзья, и чего отсиживаться дома?

Когда он вытирал ноги у крыльца, зазвонил колокольчик, означавший окончание большой перемены. Коридоры быстро пустели, шум в классах стихал. Он вошел в учительскую, но там никого не было, только пелена табачного дыма висела в воздухе. Из директорской доносился какой-то шорох, какая-то возня. Дверь была прикрыта, но неплотно. Он тихо ее приоткрыл, и первое, что увидел, была могучая, здоровая спина под шикарным, дорогостоящим пиджаком. Директор стоял перед открытым книжным шкафом, спиной к Хории. Опрокинув в глубоком одиночестве рюмочку, с удовольствием крякнул, тут же чем-то закусил. Хории становилось уже как-то неудобно. Сделать вид, что ты понятия ни о чем не имеешь, — но ведь видел же ты все это! Он тихо кашлянул и постучался. Директор на секунду замер, стоя спиной к нему, затем медленно, по-хозяйски, на ключ закрыл шкаф и только после этого повернулся узнать, в чем там дело.

— Можно к вам?

— А, охрана памятников! Рад видеть. Заходите. Они уже были знакомы, на какой-то вечеринке вместе гуляли, и он не дал Хории долго размышлять. Усадив его за свой столик, вернулся к шкафу, открыл его ключом, отодвинул тридцать восьмой том энциклопедии, достал из тайника бутылочку с коньяком, налил рюмочку гостю, еще одну рюмочку себе. Аккуратно отрезал две дольки моченого яблочка, приготовленного именно для такого случая. Хория спросил:

— Вы любите моченые яблоки?

— Под коньяк это самый-самый шик...

— А свежее яблоко?

— Ну, что ты! Это совершенно не годится. Свежие яблоки, если они чуть кислят, то хороши вместе с жареными орехами к вину, и то не теперь осенью, а ближе так к весне... Ну, будем!

Хория чокнулся с ним и выпил. Он, конечно, знал, что в школе идет форменная война между директором и учителями и что единственный парламентар меж этими двумя фронтами — завуч Харет Васильевич. Знал он и то, что, выпивая с директором, он тем самым становится по одну сторону баррикад. Почему он решился на это? Хотел ли он стать другом директора, хотел ли предать друзей, с которыми еще не познакомился? Сломалась ли в нем та человеческая последовательность, которая является стержнем всякой личности, или, опасаясь, как бы ее не сломали, он решил сразу же идти под теплое крылышко власти, дабы не пытаться больше свою судьбу?

«Я пью с ним потому, что он мне нравится», — сказал он в конце концов сам себе.

«А что тебе в нем так уж нравится? — опять же спросил он сам себя. — Рассуждения о свежих и моченых яблоках?»

«А что! Здоровый мужик в хорошем костюме. Хороший коньяк и дельный разговор о закусах».

Они выпили еще по рюмочке, еще закусили, потом Хория достал пачку сигарет, покурили вместо, а уже через день директор впервые представил их ученикам. Хория был в синем, единственном своем хорошем костюме, а Жанет надела только что входившую тогда

в моду джерсовую кофточку. Ребятам они понравились, но учителя старались их не замечать. После уроков, когда они вернулись в учительскую, директор вышел из кабинета, чтобы представить коллективу новых педагогов, но представлять их было некому. Несколько человек столпилось над шахматной доской, женщины в уголочке мерили по очереди пару новых импортных сапожек.

— Я хочу вам представить... — сказал директор, но и после его слов те, что играли в шахматы, продолжали в них играть, те, что мерили сапожки, продолжали в порядке живой очереди их мерить, а они втроем стояли посреди учительской, как-то ни к селу и ни к городу, и, чтобы сгладить эту конфузливую ситуацию, директор подошел и галантно поцеловал ручку Жанет. Она тут же разревелась и ревела всю дорогу до самого дома, а дома их уже поджидал багровый, растерянный Харет Васильевич:

— Сумасшедшие, что вы наделали!!! Они вас сожрут! Они уже пять директоров съели, а учителя им — это на один зуб!

Хория медленно и степенно разделся, прошел, сел за стол. И на том столе, за который он сел, тут же появились и вино и закуска, и вдруг он почувствовал себя мужчиной, хозяином, и улыбнулся, и по одной той улыбке видно было, что никого и ничего он не боится.

— Проходите, Харет Васильевич, садитесь. Ничего, придет время, и они сами протянут нам руки, так сказать, представятся, и неизвестно еще, пожмем ли мы те руки...

— Никогда! — крикнула Жанет в сердцах.

— Это пока неизвестно, — уклончиво повторил Хория, и тут сам Харет Васильевич подумал, что, видно, этот парень не так прост, как кажется. Они сели за стол, разлили по стаканам чудное розовое вино, и само это чудо виноградной лозы заставило переменить тему разговора. В мире ведь столько интересного и прекрасного, помимо Каприанской средней школы!..

А там пошли обычные будни, и просто удивительно, сколько энергии, обаяния и такта было в этом буковинском парне! Школьные интриги и ссоры на какое-то время даже притихли. Он умел быть и слушателем и рассказчиком, умел быть товарищем, другом, умел сказать женщине комплимент, умел поддержать мужскую компанию в каких-то своих тайных помыслах, умел стать, когда нужно было, весельчаком и душой общества. К концу учебного года учителя стали их закадычными друзьями, но зато уже сам директор начал на них коситься. И однажды, когда Хория так же нечаянно открыл дверь и застал Николая Трофимовича перед книжным шкафом, приложившимся в глубоком одиночестве к рюмочке, то прием ему был оказан совершенно иной. Директор сначала выпил, потом долго и аккуратно прожевывал дольку моченого яблока, затем водрузил тридцать восьмой том энциклопедии на место, закрыл шкаф на ключ, сел за стол, на свое место, закурил и только после этого выдал из себя: — Слушаю вас.

Это означало, что мирные времена кончились, наступала смута. «Что ж, — подумал Хория, — будем пить вино и заедать кислыми яблоками. В конце концов это не так уж плохо».

IX

Кто-то резко постучал чем-то железным по дереву и закричал у самого его уха: — Гражданин, к вам обращаются! Он долго протирал глаза, потом оглянулся.

— В чем дело?

— Билет.

— Какой билет?

— Вы мне тут дурака не валяйте..

Он сонно моргал у окна, думая, как бы выкрутиться, а по проходу уже бежала на выручку полная проводница с красивым иконописным лицом.

— Его билет у начальника поезда, он из больницы, просится в купейный, я же вам говорила...

Контролер сказал назидательно:

— По крайней мере мог подождать, пока переведут. А то без билета и уже спит...

— Так из больницы, говорят вам...

Контролер ушел. Хория сказал еще раз проводнице спасибо, но та даже не повернулась. Как стояла спиной к нему, так и ушла, и это было еще хуже, чем дрожание ресничек. Черт знает что, так его всю жизнь кидает из одной дурацкой истории в другую, хотя, раз деньги в кармане есть, то почему бы не купить билет, почему не ехать по-человечески? Спать он уже не мог, ему не давало уснуть то, что проводница на него обиделась. Достал из портфеля старый номер газеты, завернул в нее десяток апельсинов и пошел по проходу к ее дежурке.

— Вы говорили, что у вас башковитый сын.

— Говорила. А что?

— Возьмите. Для него и для его сестер.

Она расцвела вся. Дело было не в апельсинах, дело было в том, что он запомнил ее семью.

— Спасибо вам.

Вернувшись на свое место, он постарался подремать сидя, благо до Унген было недалеко, но из этого уже ничего не вышло. Не такой человек был директор Каприанской школы, чтобы возникнуть в твоих воспоминаниях и дать тебе соснуть. Он торчал, как гвоздь в новых ботинках, как селедочная кость в горле, и смягчить, уговорить, обойти его было невозможно. Хорош он или плох, добр или зол, но он заставлял считаться с собой, помнить себя. И нужно было думать, что придется еще пожить с ним под этим солнцем, потому что выбираем не мы, а нас самих выбирают.

Звали директора Николай Трофимович Балта, и, надо сказать, человек он был по-своему интересный. Медлительный, немногословный, невероятно упорный в своих принципах и убеждениях. Его считали одним из лучших директоров в районе.

Николай Трофимович Балта мечтал все упорядочить, привести в соответствие. Его самой большой страстью было строительство, и там, где он директорствовал, вокруг школы можно было видеть камень, лес, щебенку, мешки с цементом. Он знал строителей на сорок верст вокруг, отлично разбирался, кто и что умеет делать, легко находил с ними общий язык, и они охотно шли к нему работать. Видимо, в силу этой его особенности, как только район принимал решение — какую-то восьмилетнюю школу перестроить и перевести в разряд средних, — туда непременно назначали директором Николая Трофимовича. Ничего, справится. Со сметой или без, с большими деньгами или без них, но он выкрутится, построит. И Балта покорно принимал новое назначение, переезжал на свое новое место, и тут же во дворе школы, как по мановению волшебной палочки, начинали появляться камень, цемент, доски. Откуда и как он все это добывал, одному богу известно, но он непременно добывал то, что ему нужно было, и только лучшего качества — ни плохих досок, ни плохого камня, ни плохой работы он не признавал.

Что и гозорить, ему приходилось нелегко. Вставал он чуть свет, вместе с самыми трудолюбивыми и многодетными колхозниками. Его голубая «Волга» металась целый день, как угорелая. Он добывал гвозди, столярный клей, следил за выгрузкой, за погрузкой, и просто невероятно, каким образом в этой лихорадке он выкраивал пару часов в день, чтобы рассказать детям об изображении коллективизации в молдавской поэзии. Правда, на свою хлопотливую жизнь он никогда не жаловался. Наоборот, он бывал ею весьма доволен, потому что, строя школу, он и себе строил небольшой приличный дом, а получая новое назначение, он продавал дом, и тут же, получив участок в другой деревне, начинал заново строиться.

Себе он строил дома совершенно одинаковые, по одному и тому же проекту — четыре комнаты, две веранды, каменный подвал и гараж для своей «Волги». Жена у него

была молчаливая, трудолюбивая, такого же плотного сложения и такая же здоровая, как и он. Она была фанатиком чистоты и вкусной пищи. Нигде не работая, она содержала дом в чистоте, готовила с утра до вечера, и дом директора славился среди местного и районного начальства тем, что в любое время суток туда можно было постучаться, и, как только ты войдешь, на столе уже будут и бутылка и самая изысканная закуска.

В самих домах Николая Трофимовича бывало тоже одинаково. Мебель несколько старомодная, но очень прочная, на долгие годы сколоченная. Сделал он ее на заказ, когда работал инспектором в министерстве просвещения, и с тех пор, как выехал из Кишинева, возил ее с собой. Особенно хозяева гордились своей широкой двухместной спальней — чудо мебельного искусства Молдавии первых послевоенных лет. Они ее показывали гостям как реликвию, как святыню. Сам Николай Трофимович не скрывал того обстоятельства, что после строительства любовь, причем не со случайной женщиной, а любовь со своей законной супругой — едва ли не самое большое удовольствие в его жизни.

И вот при всем при том его не любили. Не любили учителя в тех школах, в которых он директорствовал, не любили ученики, не любили родители учеников. Конфликты, споры, нескончаемые баталии шли в школах, которые он возглавлял, и как-то так получалось, что новые его назначения приходили именно в те дни, когда конфликты достигали наивысшего накала и вопрос стоял так — либо он их, либо они его. Хорошо ли, плохо ли, но районные власти никогда не давали этим дракам дойти до финала, и тут же очередную восьмилетку нарекали средней школой, и поспешно переводили Николая Трофимовича туда, и опять в районных учреждениях мучились и гадали: а в чем, собственно, дело, почему он нигде не может ужиться?

А не уживался он потому, что у Николая Трофимовича было одно чудачество — он не любил школы. Он не любил ни учителей, ни учеников, не любил ту самую возню, которая называется преподаванием. Вероятно, не любил потому, что сам толком никогда ничему не учился. Никаких систематических знаний у него не было, он даже ненавидел людей, кичащихся своей образованностью. Никто не знал, что и когда он кончил. Твердо было известно, что до войны окончил сельскую семилетнюю школу. Окончив ее, поступил в педагогический техникум на заочное отделение, и тут пошла такая катавасия с зимними и летними сессиями, с досрочными и просроченными сдачами экзаменов, что во всем этом невыносимо было разобраться. То он в один год сдавал за два курса, то переводился в другой техникум, то возвращался в прежний. И вот он после войны уже студент пединститута, и опять же на заочном, потому что много работы, а трудился он тогда в министерстве просвещения в качестве инспектора, другими словами, ездил по республике и проверял преподавание в школах, которых сам никогда не оканчивал.

Как и почему он уехал из Кишинева, никто не знал, но он сохранял обширнейшие связи со столицей, часто ездил туда на своей «Волге». Его вызывали в Кишинев на всевозможные курсы, семинары, совещания. Он просиживал положенное время в столице, конспектировал все, о чем там говорилось. И хотя, вернувшись, чудэсно проводил дома вечера, переводя те беглые записи в другую, толстую книгу, по всему было видно, что мечтает он дожить свой век в теплой городской квартире.

Он любил точно исполненную механическую работу, и школа в его понимании была чтением вслух, зубрежкой от корки до корки учебников, утвержденных коллегией министерства просвещения. Если учитель во время урока для того, чтобы проиллюстрировать мысль, прибегал к примерам, которых не было в учебнике, Николай Трофимович приходил в неопишное волнение и требовал, чтобы в докладной записке на его имя был указан источник — конкретно том, страница, параграф. И даже после подробной докладной он долго еще не мог скрывать своего недоброго чувства ни к учителю, ни к ученикам, которые слушали его урок.

На свое горе Хория был начитан, свои уроки строил на обширнейшем материале, источники которых находились далеко за пределами Каприяны, и надо сказать, что, к великому удивлению всей школы, директор долго его не трогал. Такие экземпляры ему еще

не попадались, и он долго его изучал. У Николая Трофимовича было очень тонко развито чувство соотношения сил, и это чувство говорило ему, что нового учителя будет не так-то легко свалить.

Года два или три он держал его на расстоянии, исподтишка наблюдая за ним. К себе в дом Балта его не приглашал, к ним он тоже не спешил, даже на именины их сына не ходил, но охотно шел в те компании, куда были приглашены Хория со своей женой. За столом он бывал компанейским, пил в меру и с удовольствием, прекрасно танцевал, особенно он Жанет любил закручивать в танце. Хория, конечно, понимал, что все это веселье неспроста, и изредка в разгаре гулянки ловил на себе острый, холодный, недобрый взгляд Николая Трофимовича.

Назло директору Хория позволял себе на своих уроках все, что только может себе позволить начитанный, знающий учитель, а тот все раздумывал, все выжидал. Трудно сказать, почему. Может, ему хотелось дать молодому учителю сначала пустить корни, чтобы если уж ударить, так ударить. Не исключено, что ему хотелось увеличить улов, устроить скандал на всю республику. Конфликт этот обещал директору в случае победы большие выгоды. В газете «Культура» промелькнула информация о том, что учитель Хория Холбан пишет книгу «Культурные памятники Молдавии». Ему давно заказали из Кишинева брошюру на такую тему, он отнесся к этому договору излишне серьезно, собрал огромное количество материала, долгими ночами корпел над своим замыслом, а исторические труды, как известно, бывают написанными с правильных, а бывает, что и с неправильных позиций.

Как бы там ни было, но пришло время, когда настали и для Хории тяжелые дни. Начались его неприятности однажды поздней осенью на уроке истории в восьмом классе, в том самом классе, в котором он же и был руководителем. Хотя стоял уже декабрь, погода была отвратительная. Без конца шли дожди. Они лили с утра до самых сумерек, потом всю ночь стучали по крышам, по окнам, по промокшим плащам прохожих, а чуть свет дождь опять лил. Дороги развезло так, что ребятишек из младших классов привозили в школу верхом на колхозных лошадях, иначе им в школу было не добраться. В селе началась эпидемия гриппа, того самого азиатского гриппа, при котором человек хоть и без температуры, а еле волочит ноги.

Колхоз переживал большую драму. Не всю сахарную свеклу убрали, да еще около ста гектаров кукурузы остались необранными. Осень была гнилая, работы много, и уборку кукурузы все откладывали с тем, что вот-вот ударят морозы, а при морозе кукурузе ничего не делается, даже лучше ее убирать. Задумано было хорошо, но вот уже зима наступила, а дожди все льют, кукуруза плесневеет в початках, и ничем уж ей не поможешь. А сверху все льет, и неизвестно, сколько еще будет лить — день, два, неделю, месяц, а может, эти дожди так и будут идти до скончания века.

Двадцать четыре ученика — шестнадцать парней и восемь девушек — подремывали на уроке истории. Дремали они и вчера, и позавчера, и завтра будет то же самое. Одни были после гриппа, до других грипп только-только добирался. Бледные и усталые, потому что осенью выпало много работы и они трудились ког[^]э со школой, когда дома, помогая родителям, они слушали урок краешком уха и хмурились, они были еще в том возрасте, когда подросток живет в основном атмосферой семьи, ее настроениями, а собственного душевного равновесия у него еще нет. Им все еще не давала покоя размокшая кукуруза в поле, а он им тут рассказывает про французскую революцию. И то ли потому, что дома у Хории тоже все грипповали, то ли потому, что школу захлестнули склоки, то ли потому, что ему самому надоели и грипп, и дожди, и эти сто гектаров мокрой кукурузы, но вдруг, как это часто с ним бывало, все его существо встало на дыбы, взбунтовалось, и в один миг забросив все: и ход мыслей, и настроение, и свои права, и свои обязанности, — он вдруг рванул напрямик, как дикая лошадка, куда глаза поведут.

— Ребята, а вообще, как вы думаете, что такое история?

Парень из задних рядов спросил нагло, как спрашивают обычно на базаре:

— Пятерка будет? .

— Будет.

— Пятерка в четверти?!

— В четверти.

Класс зашевелился. Начались перешептывания. Учение — дело трудное, а получить с ходу пятерку на всю четверть — это было бы куда как хорошо. Зашелестели странички учебников, зашкрипели парты, и он, чтобы не смущать их, отвернулся и долго смотрел из окна второго этажа, что там на улице творится. Ведь вот пакость какая — его, этого дожждя-то, почти не видно, только если выбрать темный предмет, например, проем открытых дверей школьного сарая, то на темном прямоугольнике сочащегося из сарая сумрака хорошо проецируются мелкие дождевые капли. Они висят в воздухе неподвижно, и лишь если долго, до боли в зрачках вглядываться, видно, как они, кружась, стелются по земле.

— Ну?

Как он и предполагал, ничего хорошего из этой затеи не вышло. История есть предмет, который помогает нам... Нет, не так. История есть наука, которая помогает человеку... Нет, тоже не так. История есть область человеческих знаний, при помощи которых советский человек... Нет, надо вот что — благодаря истории мы, то есть народ, то есть все человеческое общество... И все, порох кончился, флаги спущены — это было максимальное, на что был способен его любимый восьмой класс. Ребята стихли, виноватые, они не думали, что это так сложно, а он все смотрел в прямоугольник открытых дверей школьного сарая, старался снова уловить, как движутся и стелются по земле мельчайшие дождевые капли, но зрение к ним уже привыкло, и, вздохнув, он начал тихо-тихо:

— История, дорогие мои мальчики и девочки, есть наука, великая наука, рассказывающая, какими путями двигалась жизнь с начала начал до наших дней. А что такое жизнь? Это и мы с вами, и дождь, который льет на улице, и те сто гектаров кукурузы, которые мокнут в поле, и наша двухэтажная школа, и древняя Звонница на горе. Свою историю имеют не только великие империи, но и каждое живое существо и даже неживое. Каждый предмет из окружающих нас имеет свою историю. Вез эти три окна нашего класса — ведь и рамы, и стекло, и гвозди, — каждая из этих деталей была в свое время великим открытием на пути к современной материальной культуре. Много сотен поколений страдали и грелись в темноте, и много выдающихся умов прикидывало, как бы это сделать так, чтобы днем видно было в помещении, чтобы проникал свет, но не допустить туда холода и сырости. И кто знает, может, старый топорик, ржавеющий за вашим домом в куче мусора, был свидетелем крестьянских восстаний 1907 года, и была минута в его жизни, когда он уже не колол дрова, а, поднятый над головой восставшего, требовал правды и хлеба. Может быть, среди родных Марии Москалу был старик чабан, устами которого говорил народ. Может, на старых жерновах, которые теперь стало модным вкапывать перед крыльцом, чтобы удобнее было счищать грязь с обуви, может, на тех самых камнях ваши бабушки мололи кукурузные зерна в трудные послевоенные годы, и если бы не те зерна, если бы не те жернова, неизвестно еще, появились бы вы на свет, сидели бы вы сегодня тут на этих партах. История — это рассказы о битвах, в которых сражались мужественные люди, преданные Родине душой и телом!..

Он говорил задушевно, тихо, стоя боком к классу и по-прежнему вглядываясь в сумрак открытых дверей школьного сарая. Он сам удивлялся той одухотворенности, которая на него снизошла. Он ловко орудовал точными, пластичными фразами, получая от них почти физическое наслаждение. Иногда он умолкал, как бы проверяя, много ли там еще того материала, того вдохновения, но фразы, образы, мысли шли и шли единым потоком. Он не видел лиц своих ребят, но по установившейся в классе тишине, по тому, что за четверть часа ни одна парта не скрипнула, он знал, как они его слушают.

— Предметы, окружающие нас, не могут мыслить, и потому они не знают и не интересуются своей историей. Ну, а человек, нужно ли человеку знать свою историю?

— Нужно, — сказал весь класс.

Наконец он оставил двери школьного сарая и повернулся лицом к своим ученикам.

— Да, ему нужно знать свою историю, потому что человек — это звено в единой, нескончаемой цепи, по которой течет жизнь. А кольца в цепи сделаны не для того, чтобы любоваться каждым в отдельности, а для того, чтобы они надежно и прочно служили. Современному человеку нужно знать свою историю, потому что сегодня не проживешь тем, что отец, или дедушка, или прадед тебе расскажет. Книги, памятники культуры, знание прошлого своего народа и прошлого других народов помогут вам уяснить себе, что ценно, а что не очень ценно в жизни; история научит вас, без чего вы можете обойтись, а без чего обойтись никак нельзя. И если вас измучил азиатский грипп, если вы устали на уборке сахарной свеклы, если у вас не то настроение, то давайте оставим на день, на два в покое французскую буржуазную революцию и поучим историю своих семей, историю своей родни, историю своей деревни.

И тут из задних рядов поднялась низенькая и мускулистая Мария Москалу, девушка, которую он про себя в шутку называл Картошкой. Ее милые голубые глаза были полны нескрываемого удивления:

— А что... Разве прошлое нашей Каприяны тоже называется историей?!

Он прошелся между партами, подошел к ней, положил ей ладонь на макушку и сам удивился этому жесту — было в нем что-то от древнего мудреца, благословляющего ученика. Смущенная Мария села, он пошел по проходу к своему месту и снова стал вглядываться в проем открытых дверей сарая — эти двери наверняка ему помогали.

— Милая моя Мария... Дело не только в том, что Каприяна — одно из самых древних поселений в Молдавии. На этой горе жил когда-то отшельник Даниил в своей лачуге, проводя дни и ночи в молитвах. Когда Штефан Великий, возвращаясь после поражения в Валя Албэ, попросился к нему на ночлег, потому что была ночь и господаря мучила рана на ноге, отшельник не открыл ему, сказав, что покой для воина, потерпевшего поражение, нужно искать на том же поле битвы, где разгромили его армию. Я не знаю, понимаете ли вы сегодня, сколько надо было иметь мужества и смелости, чтобы сказать эти дерзкие слова верховному владыке, воеводе, пред которым падали ниц и считали при жизни святым! Штефан вернулся на поле брани и победил. А что же тот бедный отшельник, спросите вы? Да ничего. В одном из набегов его изрубили саблями не то турки, не то крымские татары. Должно быть, они спрашивали у него дорогу, а язык у бедного отшельника, как мы знаем, был хорошо подвешен. И опустела его лачуга. Много лет спустя однажды во время охоты Штефан снова попал в эти места и содрогнулся от жалкого вида лачуги, прослезился, когда ему рассказали, что стало с отшельником, и он тут же приказал построить на горе Звонницу, назначать Туда звонарей из числа самых храбрых и языкастых солдат, платить им жалованье из казны, и несколько столетий в этой Звоннице, сменяясь, служили господарские солдаты, и поговаривают даже, что сама эта деревня, Капркяна, основана звонарями, которые, кончив службу, женились и оседали в этих краях. Ваши предки могут не знать истории в деталях, но их почти святое уважение к той книге из бычьей кожи, в которой были записаны имена всех звонарей, и то, что изредка в той Звоннице нет-нет, да и зажгут старушки свечку, — все это знак глубокого уважения к своей героической истории, к той веренице людей, через которых шла жизнь, пока дошла до нас.

Конечно, многое из того, что говорил учитель, ребятам и без него было ведомо, но то, что все это и называется историей, это им в голову еще не приходило.

В тот же день двадцать четыре ученика разнесли по деревне этот удивительно складный и красивый рассказ учителя истории, и хотя по-прежнему моросил дождь, и люди грипповали, и кукуруза мокла в поле, Каприяна как-то воспряла духом. Вымирающие было предания вдруг ожили, все то давнее прошлое, которое, казалось, не имело уже никакой цены, вдруг стало сегодняшним, потому что в самом деле человек-то должен же, черт возьми, знать, откуда он родом и что у него за прошлое! И хотя по-прежнему шли дожди и неистовствовал грипп, уже кто-то поработал в Звоннице, убрал бумажные ящики из-под чешского пива, вымыл пол в нижнем этаже, застелил старенькой скатертью дряхлый столик, на котором некогда лежала книга из бычьей кожи. Посреди стола снова, как и некогда,

поставили глиняную миску с зернами пшеницы, и рядом горела белая стеариновая свеча, купленная в сельмаге.

С этой белой свечки начались самые тяжелые испытания в жизни учителя. На второй же день Николай Трофимович громко, так, чтобы слышно было во всей школе, потребовал объяснительную записку с указанием, откуда вытащил он всю эту белиберду с отшельником Даниилом. Оскорбленный невежеством директора, Хория сказал, что объяснительной записки он писать не будет, но что он охотно допустит директора на свой очередной урок, если тот интересуется историей родного края. Директор тут же вышел, сел за руль и погнал в район. К обеду уже стало известно, что район назначил комиссию, которая не сегодня-завтра приедет в Каприяну проверить этот из ряда вон выходящий случай, но директору было мало. Вернувшись домой и поужинав, он снова сел за руль и ночью, пока дороги были разгружены от транспорта, помчался в Кишинев. Целый день, взлохмаченный и встревоженный, он бегал по инстанциям, и от его рассказов такое было чувство, что море-океан сломал дамбу и только директор один знает, как и чем этот ужас предотвратить.

Из Кишинева он вернулся вместе с комиссией министерства просвещения, и несколько дней шел в школе разбор этого дела. Комиссия из трех человек заседала в кабинете директора. Вызывались учителя, ученики, родители. Хорию, как нарочно, долго не вызывали. Директор торжествовал, это обещало стать исторической победой, и Хория, чтобы еще подзадорить его, ходил по школе печальный, с видом бесконечно обреченного человека. Это, конечно, дало свои результаты, и на педсовете, где все детально должно было решиться, директор разошелся так, что даже членам комиссии стало тошно. Он приволок из дому целый ворох бумаг и цитировал в своем выступлении отрывки разговоров, услышанных им в учительской. Он фиксировал на бумаге случаи недостаточной гражданской активности со стороны того или иного учителя, приводил всевозможные деревенские сплетни и в заключение положил на стол перед комиссией огарок стеариновой свечи и глиняную миску с пшеницей, принесенные им самим в качестве вещественных доказательств.

— Пшеницу-то вы зачем принесли? — спросил один из членов комиссии.

— Она тоже имеет отношение к делу.

— К какому делу имеет отношение?

— К факту преклонения перед прошлым. Завуч школы Харет Васильевич сказал тихо, про себя, но получилось так, что услышали все:

— Каналья.

Комиссия потребовала у завуча объяснений. Харет Васильевич встал, весь пунцовый, и произнес свою знаменитую речь о хлебе насущном. Оказывается, пшеница — действительно символ нашего прошлого, символ будущего, и потому до сих пор в деревнях уроненный кусок хлеба поднимают, сдувают с него пыль, целуют, и в этом нет религии, в этом есть кристально чистое преклонение перед трудом хлебопашца. И на Новый год, войдя в чужой дом, крестьяне раскидывают по полу пригоршню чистой пшеницы, как это делали некогда сеятели. Лучшего новогоднего пожелания для этого края придумать невозможно, и старуха, занесшая в Звонницу миску с пшеницей, чтобы почтить память предков, сделала для воспитания молодого поколения больше, чем вся их школа.

— А свеча?! — не унимался директор.

— Свечу принесли туда вы сами.

— Это ложь! Я вас привлеку...

— Никуда вы меня не привлечете. Давайте пойдем и спросим продавщицу сельмага: единственный человек, покупающий стеариновые свечи, — это вы... Старушки их не признают, они сами делают свечи, причем только из чистого воска...

Балта растерянно оглянулся — он действительно часто покупал свечи и неделю тому назад тоже купил, и эта новая точка зрения совершенно сбила его с толку. В самом деле, все это было нелепо, а чем ответить, он не знал; вот нету слов — и хоть ты плачь...

На следующий день комиссия уехала, не высказав ничего определенного и, главное, к огорчению директора, не отстранив Хорию от преподавания. Поначалу казалось, что это немыслимо, они не могут работать вместе в одной школе, но время шло, и каждое утро в восемь звонков, и опять же педсоветы. Один раз он поздоровается и ты не ответишь, потом ты здороваешься и он не ответит, но время идет, и в конце концов все бы устроилось, все было бы хорошо, если бы не тот такой ранний, такой холодный дождь в начале апреля...

Х

— Чаю пить будете?

— Чего-чего?

Черные реснички дрогнули на иконописном лице — он, оказывается, когда она стоит рядом, думает еще о чем-то своем, постороннем.

— Чаю, говорю...

Он улыбнулся проводнице, прошелся ладонями по лицу, как бы счищая, смывая весь тот ил, всю ту жуткую грязь, из которой только что выбрался. Вот уж воистину жизнь прожить — не поле перейти. А женщины этого не понимают. Они больше живут сегодняшним днем, а к прошлому возвращаются редко, неохотно и долго копаются в каких-то мелочах, гадая про себя, к чему все это было тогда сказано.

— Да нет, чаю не хочется, я скорее бы лег...

— Так вон же постель на полке! Я уже давно постелила и титан нагрела нарочно для вас...

Усталый, больной, измученный воспоминаниями, он тут же принялся снимать обувь, и, последив за тем, как он расшнуровывает ботинки, она сказала:

— Зря вы не хотите чаю... Он очень хорошо успокаивает. Особенно чай с медом хорошо. Я дома тоже иной раз как заведусь, как заведусь, а раскрутить себя обратно уже нету часу, уже спать надо, скоро утро, и, чтобы как-то успокоиться, я завариваю чай, беру маленькую ложку меда...

— Ну, хорошо, принесите.

Это у них в крови, это культивировалось веками, и радость женщины неподдельна, когда она кормит мужика. Проводница принесла стакан чаю, он выпил, положил рядом с пустым стаканом двадцать копеек и забрался на свою полку. Проводница вернулась, взяла монетку в двадцать копеек, на ее место положила монетку в пятнадцать и сказала:

— Спокойной ночи.

— Спасибо.

На полке было хорошо, уютно, чай его действительно успокоил, и потянуло ко сну, но нет, спать было нельзя, оставалась еще одна глава, самая трудная, самая тяжелая. Нужно быть мужественным, и честность по отношению к огромной работе, которую он провел в тот день, чтобы осмыслить свою жизнь, требовала бодрствования. Она звала идти дальше, шаг за шагом, посмотреть правде в глаза.

В тот день у него с самого утра разболелась голова. Он очень не любил дни, которые начинались с головной боли, и пришел в школу хмурым, сердитым. Во время урока, перелистывая классный журнал, обнаружил меж страницами две чудесные ягодки, сделанные из белых и красных ниток, — было начало марта, а в начале марта девушки дарили парням такие знаки внимания, называемые по имени самого месяца марцишорами. Когда-то ему много марцишоров дарили, потом о нем позабыли, но вот, поди же ты, не перевелись еще добрые девушки в этом мире! Голова, однако, по-прежнему болела, и он не тронул свой марцишор — стал дальше перелистывать журнал, прикидывая, кого бы из учеников вызвать и спросить что-нибудь новое о Французской буржуазной революции.

В классе была долгая, на редкость устойчивая тишина, потом чья-то парта скрипнула, и, не поднимая головы, он знал, что встала в задних рядах Мария Москалу. Сначала он

подумал, что она хочет, чтобы ее спросили, потом подумал: странно, у нее и так хорошие отметки по истории. И еще он подумал, что это, вероятно, связано со вступлением в комсомол — они как раз достигли нужного для вступления возраста и стали активными на уроках, выросли не по дням, а по часам.

В классе царила та же неестественная тишина. Он медленно, задумчиво перелистывал уже пустые, незаполненные страницы журнала, а Мария стояла в углу. Хория прикидывал, о чем бы ее спросить так, чтобы и для нее самой было не просто и чтобы всему классу был интересен ее ответ. И пока он раздумывал, вдруг сама Мария заговорила. Она спросила слабым, дрожащим от волнения голосом:

— А почему Звонницу рушат?

Сказав это, она тут же села, и по ее милому, круглому личику покатались маленькие, такие же круглые слезинки. А ребята сидели по-прежнему не шелохнувшись. Они смотрели на него во все глаза, и он понял, что сейчас главное не Звонница, которую, может быть, и рушат. Сейчас самое важное — это его поведение. Оки впервые? видят его переживающим глубокую драму, они хотят постичь своего учителя до конца, и от того, как он будет себя вести в данную минуту, зависит, какими уйдут эти ребята в жизнь — смелыми или трусами, мудрыми или глупыми. Он-таки заставил себя найти ученика, которому пришел черед поведать о делах Бастилии. Им оказался ленивый паренек с женской фамилией Анастасия. Он вызвал его к доске, дал ему задание, и, пока тот сопел и собирался с духом, Хория встал и подошел к окну. В солнечные, погожие дни видна была вся гора и все, что было на той горе, вплоть до последнего кустика, но погода в тот день была сырая, туманная. На горе, возле самой Звонницы, видны были только силуэты людей, какая-то машина, но что именно там происходит, было трудно разобраться.

— Ну, Анастасия, и что же последовало после падения Бастилии?

Закончив урок и отпустив ребят, он выждал какое-то время, пока они не разойдутся по переулкам, затем с тяжелым сердцем спустился на первый этаж, вышел во двор. Ощущение надвигающейся опасности не покидало его. Если бы он был воинским начальником, он поднял бы своих солдат по тревоге. Если бы у него было пять-шесть взрослых сыновей, он окликнул бы их по именам, и они бы стали рядом, чтобы разделить с отцом его участь. Если бы он был неграмотным крестьянином начала этого века, он взял бы вилы и с этими вилами пошел бы туда, на гору, где стояла Звонница, но, увы, он был современным интеллигентным человеком и потому тихо поплелся переулочками, почтительно здороваясь с каждой встречной старушкой, и по мере того, как он поднимался в гору, у него начала проясняться голова.

Он вдруг подумал, что его надули, одурачили, сыграли с ним злую шутку. Ему с чего-то начало казаться, что наряду с этой, известной всем комиссией в Кишиневе была создана еще одна комиссия, которая никуда не выезжала. Эта вторая комиссия не сочла нужным приехать в Каприяну, показаться в школе, встретиться с учителями. Она, эта вторая комиссия, была целиком на стороне директора, она приняла его сторону сразу. И пока они тут остывали от всей этой передраги, там, в Кишиневе, обе комиссии встретились меж собой, поспорили. Победила та, которая не пожелала выехать из города, и теперь директор праздновал свою победу.

Хория поднимался медленно в гору и задыхался. Все, что он ненавидел в своей жизни, собралось теперь в одном обличье, в одной человеческой индивидуальности, и кулаки стали наливаться свинцом. Нет, все-таки человек должен сам за себя постоять. Если тебе плюнут в лицо, а ты поплетешься с тем плевком в милицию писать жалобу, то грош цена и тебе и всему твоему роду. Он поднимался в гору и был доволен собой, был даже счастлив. Он шел выяснять раз и навсегда, чего хочет тот человек от жизни и чего хочет от жизни он сам. И он спешил, потому что какой-то внутренний голос подсмеивался над его злостью и говорил, что черта с два — ты не донесешь свой гнев до своего обидчика. Ты слишком умный, слишком воспитанный, слишком начитанный. Ты не создан для битв. Твой удел — мудро объяснять свои поражения.

Идти было долго, мысли и настроения попеременно чередовались, а когда он, наконец, добрался до Звонницы, то первой, кого он там увидел, была Жанет. Она сидела на свежих досках, собравшись комочком, потому что было ветрено, неуютно, и он ее спросил:

— Жанет, ты-то какими судьбами здесь оказалась? Она устало дернула плечиком.

— Пришла вот помочь саженцы донести... Тебя дома не было, и отец попросил...

Чуть дальше, по ту сторону склона на глинистом и запущенном пустыре его тесть бережно выкапывал дички. Хотя и выкапывать было особенно нечего — саженцы все были какие-то дохлые, земля под ними каменистая, так что они еле держались тощими нитками корешков за нее. Хория был крайне изумлен этой затеей и спросил тестя:

— Да зачем они вам дались, эти дички? Там за школьной оградой такие саженцы, что с меня ростом!

Тесть его выпрямился, виновато улыбнулся и мягко повел головой — ему не хотелось спорить с образованным зятем по причине огромного уважения, которое он питал к нему, а спорить нужно было. Куда же денешься? И он мягко сказал:

— На тех саженцах хорошее дерево не поставишь.

— Почему?

— Они слишком избалованы хорошей землей. А эти, хотя и замухрышки, но они живут впроголодь, на камнях, и если их пересадить в хорошую землю, то пустят такие корни, так разойдутся, что дерево переживет своего хозяина и урожай будет висеть на ветках что ни год.

«Это наша беда, — подумал Хория. — Мы слишком хорошо все понимаем, а этот самый Балта, почти ничего не понимая, действует, он и встает каждый день чуть свет, потому что ему нужно как можно больше времени для действий».

Жанет по-прежнему сидела на досках, и он вдруг подумал: откуда они там на горе взялись, те свежие доски? Подошел, сел рядом с ней, оглянулся. Человека четыре работало вокруг Звонницы. Двое рабочих пилили свежие доски, сам директор куда-то их перетаскивал, а из-за Звонницы доносились удары молотка, и чувство огромного облегчения охватило Хорию — они не рушили, они, наоборот, строили, они обшивали этот древний памятник свежими досками. Но в таком случае почему Жанет такая печальная и почему директор так старается, перетаскивая доски. Он встал, обошел Звонницу и только теперь все понял: они заколачивали и окна, и входную дверь, и проемы колоколов, и теперь вместо Звонницы встает на горе нечто похожее на Огромную печь с бессмысленной шапочкой на верхушке. Плотники из колхозной строительной бригады молча пилили доски, сообразуя их с заранее заданными размерами, а Симионел, счастливый, что ему поручили столь ответственное дело, забивал гвозди, смеясь и давясь своим же смехом.

— Ты-то чего так развеселился, Симионел?

— А что, — сказал тот, предварительно вытащив гвозди изо рта. — Деньги зарабатываю.

— И сколько тебе дают?

— Пять рублей чистыми. За час управлюсь, тут же уплатят. Пять рублей в час!

Симионел был счастлив, и Хория подумал: вот оно, наше великое горе. Пять рублей в час — и все, и уже нет больше ни правил, ни принципов. Отца родного продадут, лишь бы пять рублей в час давали.

Директор трудился умеренно. В своей синей спецовке, в рабочих рукавицах он носил заготовки от плотников к Симионелу, помогал их прилаживать на новое место, и при всей своей ненависти к нему Хория подумал: «Вот умеет же сволочь организовать строительную работу! Я на его месте не знал бы, где раздобыть доски, сколько платить плотникам, сколько платить Симионелу, а он знает, он все это умеет». Хория поднялся и пошел к ним.

— А кто вам, собственно, дал право?!

Жанет, бледная, вскочила, догнала, взяла его под руку, прислонилась к нему так, что, если бы он резко сошел с того места, она бы, верно, упала. Директор трудился, притворившись, что не слышал этой фразы, Симионел продолжал лихо забивать гвозди,

зарабатывая свои пять рублей, и только двое плотников вдруг перестали пилить. Они сидели и молча, выжидаяще уставились на него, словно от Хории уже зависело, работать им дальше или нет. Он хотел им как-то дать понять, что сказанное к ним не относилось, но не знал, как это сделать, и в конце концов выдал из себя:

— Бог вам в помощь.

Разочарованные плотники переглянулись, ничего не ответили, взяли пилу, и она снова застонала на все лады. Этот звон пилы и перестук молотка приводили директора в восторг. Он был так счастлив, что в один миг решил Хории все простить, и, завидев вдруг его, изрек самым дружеским голосом:

— А, привет, привет! Вот кого мы по-настоящему ждали — скоро Симионелу будет уже не достать, а ты худо-бедно, при твоём росте ещё поработаешь, пока принесут из колхоза пожарную лестницу. С вечера было отдано распоряжение, и вот никак не очухаются...

— Вы мой рост оставьте в покое. Мои родители не это имели в виду.

— А в жизни всегда получается не так, как хотят родители... Мой отец хотел меня видеть полковником, а я до сих пор в рядовых хожу...

— Знаем мы этих рядовых... Рушат памятники, которые охраняются законом, а считают себя рядовыми... Что вы тут затеяли?

— Ремонт.

— Какой же это ремонт? Вы же забиваете досками и двери и окна! Это же все равно, что ликвидировать памятник культуры!

Балта рассмеялся:

— Да ты видел когда-нибудь в жизни, как делается ремонт? Конечно же, забивают досками и окна, и двери, и верхние проемы...

— А что дальше, что потом будет?

— Так сказал же — ремонт.

— И когда вы его начнете?

— Когда будет составлена смета... Ты думаешь, ремонт — это так себе? Сначала составляется смета, потом она утверждается, потом по этой самой смете отпускаются деньги и стройматериалы...

— И у вас уже все это есть — деньги, и смета, и материалы?!

— Откуда они возьмутся?! Мы только готовим площадку...

Увы, все было так, как он и думал, когда поднимался сюда, но руки уже не наливались свинцом, и благородный гнев весь выветрился, и, к стыду своему, хотелось сесть на свежие доски, там, где сидела Жанет, и тоже спиной к ветру, и погреться, сидя рядом с ней. Не было пороку. Даже на то, чтобы пособачиться с директором, не было пороку.

А между тем день двигался к закату, и люди спешили. Двое плотников лихо пилили доски, Симионел заколачивает гвозди, получая удовольствие от каждого удара, директор аккуратно переносит срезки с места на место. Тесть закончил откапывать дички — аккуратно, как маленьких ребятишек, уложил в двух кошелках, стал с ними спускаться с горы, и Хория подумал: а не сходит ли он с ума? Ведь эти двое пилили, а они ведь с ним односельчане, говорят на том же языке. Тот же Симионел забивает гвозди, тесть спокойно спускается с горы с двумя кошелками дичков, а Жанет, его умная Жанет, млеет от любви, заглядывая в глаза мужа. Внизу вон потомки бывших звонарей Штефана Великого спокойно занимаются своим делом, и только его одного, приехавшего бог знает из каких краев, трясет.

— Ты что-то мне хотела сказать, Женечка?

— Хотела сказать, что я тебя люблю.

— Ну и как мне дальше поступить, после того, как я узнал эту великую истину?

— А никак. Пошли домой, мне тут холодно.

— Ну, пошли.

Они шли долго, молча, не проронив ни одного слова за всю дорогу. Дома он обедать не стал. Разделся, лег лицом к стенке и пролежал неподвижно до вечера. Потом еще всю

ночь он пролежал, не меняя положения, и только под утро уснул. А часов в одиннадцать проснулся от звонкого голоса Жанет:

— Послушайте, удивительная новость! Кто-то ночью сорвал доски с Звонницы и раскидал их по всему склону...

И началась невероятная история с этими досками. По утрам директор и три его помощника поднимались на гору, собирали их, заколачивали каждую на свое место, а ночью кто-то их опять срывал, раскидывал по мерзлому полю, и опять на следующий день четыре человека трудились там на горе.

Поскольку доски с каждой ночью убывали, из колхоза завезли целую машину теса, несколько ящиков с гвоздями, две огромные лестницы. Иногда за день директор и его помощники успевали обшить Звонницу до самой крыши, так что по идее срывать доски в темноте было немыслимо, и все-таки рано утром она показывалась на горе такой, какой помнили ее люди много столетий кряду, — старенькая, серая, дряхлая, полная печали и достоинства.

Директор оставил молоток и сел за руль. Его машина кидалась во все стороны света, во все мыслимые и немыслимые инстанции, и кто только не приезжал в Каприяну по этому делу! Приезжал помощник прокурора и сам прокурор, приезжал заместитель начальника милиции и сам начальник. Они заседали в школе и в правлении колхоза, они внимательно слушали и директора, и плотников, и всех других свидетелей, потом молча уезжали в район, решив про себя, что у директора не все дома. Ну, заколачивают они досками эту Звонницу, ну, воруют по ночам доски — так стоит ли из-за этого поднимать такой шум?

Потом наступил день, когда и район и столица республики перестали реагировать на сигналы директора Каприянской средней школы, но надо сказать, что Балта был на редкость упрям и настойчив. Он не сдавался. Он день за днем работал пилой и молотком, ночь за ночью сдирали доски, он их опять заколачивал, потом наступила та последняя темная ночь, в которую вся эта возня закончилась. Дни стояли холодные, ночи были на редкость темными. И в одну из этих ночей, когда посвистывал ветер в кустарниках на горе, донесся до деревни дикий, нечеловеческий вопль. Каприяна проснулась. Люди стали включать свет в домах, но на улицу не выходили и на крик не бежали — должно быть, чтобы от греха подальше. Только когда совсем рассвело, человек пять из наиболее уважаемых и достойных поднялись на гору. Спустя полчаса один из них вернулся за телегой, и они провезли по деревне избитого до полусмерти Симионела.

И тут Каприяна осатанела — о, этот директор еще не знал, какого зверя он разбудил и во что это ему может обойтись. Люди погрузили Симионела в машину и повезли в райцентр, затем в городскую больницу Сорок, получили одинаковые медицинские заключения от двух разных экспертиз, после чего повезли его в Кишинев, оформили документы о его психической аномалии, потом привезли парня домой, и, пока бабы его выхаживали, представители Каприяны сели в самолет и полетели в Москву в прокуратуру.

Директор школы, человек, обладавший большими связями, посмеивался над этой затеей — ну, побил он его в темноте, может, там лишний раз ударил, так ведь за дело же! Этот сукин сын каждый день брал с него по пять рублей, а ночью сам же сдирал со Звонницы доски, чтобы днем опять заработать пятерку. Люди, однако, не смеялись над этой, проделкой Симионела, им это казалось не таким уж смешным, и вот полетели телеграммы, запросы, приехали двое из Министерства внутренних дел Союза. После Нового года должен был начаться процесс. Директор никак не ожидал, что дело это будет взято под надзор прокуратурой Союза, тут все его связи, все звонки и ходатайства оказались бессильны.

Николаю Трофимовичу Балте грозила тюрьма. Самая обыкновенная, с решетками, с парашей, а в тюрьму ему как-то не хотелось, и вот он встал однажды утром и, как это издавна водится среди молдаван, пришел в маленький дом к своей жертве, к обиженному, побитому им человеку. Симионел, перепуганный спросонья, открыл было рот, чтобы опять завопить на всю деревню, он думал, что все начнется сначала, но на этот раз боевой дух Николая Трофимовича был на нуле.

— Не бойся, я не буду тебя бить. Я пришел помириться. Сколько же ты хочешь с меня?

Еще неделю тому назад он легко бы устроил это дельце за какие-нибудь десять — пятнадцать рублей, и Симионел был бы счастлив, но теперь у парня были опекуны — те самые пять человек, которые первыми пошли утром на гору узнать, в чем там дело. Они собрались вместе, чтобы обсудить предложение директора. Четверо сказали: никакого примирения, ни за какие деньги, истина дороже денег, — но пятый сказал: а почему бы и нет? Ведь это же бедный Симионел — на нем никто не видел хорошего костюма, он вкусного куска, бог знает, с каких пор не ел, крыша лачуги, в которой он живет, протекает. Так почему бы и нет? Что ему за прок, если директор будет в тюрьме таскать землю тачкой?

Опекуны запросили десять тысяч. Оскорбленный директор даже не нашел нужным ответить, но к вечеру предложил три. В конце концов сошлись на шести тысячах — пять тысяч получал Симионел, а шестая уходила на покрытие расходов, связанных с поездками в Кишинев и Москву.

Симионел был счастлив. В день получения денег жена одного из опекунов, женщина добрая, но бестолковая, поехала с ним в район, купила ему непомерно большой шерстяной костюм, огромную фетровую шляпу, черные ботинки и плащ болонью. Остальные жены опекунов накинулись на нее: зачем Симионелу такие дорогие, совершенно не по нему вещи? Но было уже поздно. Счастливый Симионел надел на себя все обновки и с утра до вечера рыскал по деревне в поисках тех, кто не видел еще, до какой хорошей жизни он добрался. После длительных совещаний опекуны купили ему телку в колхозе, все равно дел у него никаких, пускай себе ходит и пасет, а оставшиеся деньги положили на сберкнижку.

К великому несчастью директора, Симионел оказался еще и франтом. Два раза в день, утром и вечером, он шествовал вдоль деревни — утром шел в лес пасти телку, вечером возвращался с ней из лесу, — и было уморительно видеть его, важного, степенного, наряженного, ведущего за собой на веревке рыжую с белыми пятнами телку. Все учел бедный Николай Трофимович, но эти утренние и вечерние шествия Симионела не учел, а они-то и добились его.

В каждой деревне, в каждом колхозе, в каждом коллективе существует некий запас допустимых вольностей для людей, занимающих сколько-нибудь ответственное положение. И когда эти запасы исчерпываются и репутация опускается ниже уровня допустимого, тогда наступает критическая минута, и никакие связи, никакие заслуги, никакие увертки не могут помочь.

И наступил, конечно же, день, когда приехали два человека из Кишинева, из министерства просвещения. Собрали педсовет, и, хотя повестка дня ни для кого ничего дурного не предвещала, все знали, что снимают Балту, наконец настал час, и его снимают. Он и сам понимал, что его песенка спета, и, кажется, смирился с этим. Сидел в уголочке, уступив свое председательское место приехавшим из центра товарищам, и с видом побитой собаки ждал, когда начнется, когда в него будут кидать камни. А между тем педсовет шел по другим рельсам, люди занимались другими вопросами, и по мере выступлений лицо директора прямо вытягивалось от удивления. Выступающие говорили о чем угодно, только не о нем. И он заерзал в уголочке на своем стуле — он готовился к поражению, он готов был сложить с себя полномочия, хотя бы в видимой драке. Но чтобы совсем не упоминая даже его имени?!

Все ждали, когда выступит Хория. Уж ему-то, казалось, невозможно будет обойти молчанием имя директора, а вместе с тем ему понравился этот деловой педсовет, и он решил поступиться своей личной обидой. Он как-то сумел построить свое выступление так, что тоже не упомянул имя директора, даже не посмотрел в тот угол, где Балта сидел. Он говорил спокойно и деловито о программе, об учениках, об успеваемости, о посещаемости, и, как ни странно, именно это выступление потрясло директора. Должно быть, ему почудилось, что в голосе Хории пробиваются нотки будущего директора. А может, дело было не в этом. Просто директор ненавидел его люто, по-животному, и, пока Хория говорил о безобидных

вещах, Балта поклялся про себя умереть, но не допустить торжества своего противника. Весь синий, со вздувшимися венами поперек лба, он ждал, когда тот умолкнет, и, как только буковинянин закончил свое выступление, Николай Трофимович тут же встал и, дрожащим голосом обращаясь к представителям министерства, сказал:

— Тут нужно учесть то обстоятельство, что у товарища Холбана против меня личная ненависть.

Один из инспекторов министерства, человек, по-видимому, добрый, но наивный, спросил:

— Разве он говорил о вас?!

— Он, правда, мое имя не упомянул, но все, что он говорил, направлено против меня. И все только потому, что у нас с ним сугубо личное.

Второй инспектор министерства спросил:

— Что значит — сугубо личное?

Балта на минутку призадумался — он еще не знал, как бы это поделикатнее сформулировать.

— Видите ли... У меня любовь с его женой. Мы с ней, так сказать, увлечены друг другом.

Учителя, участвовавшие в педсовете, засмеялись. Улыбнулся и сам Хория — надо было знать Жанет, ее бесконечную страсть к флиртам, к танцам, к вечеринкам, — и этого тупого, облысевшего человека, которого, видимо, даже собственная мать не любила. Но вдруг это всеобщее веселье стало как-то странно дробиться, стихать. Оглянувшись, Хория увидел, что все почему-то стыдливо опускают глаза, не знают, куда девать руки, очки, сумочки, а за книжным шкафом, возле окошка, на самом видном, на самом людном месте, сидела пристыженная его жена. По ее лицу блуждали то красные, то белые пятна, крылатые ноздри трепетали и никак не могли ухватить столь нужный им в это мгновение воздух, опущенные глаза метал'ись, как у затравленного зверька, она протирала виски, чтобы не потерять сознание, и тут добрейший Харет Васильевич загрохотал, что было мочи:

— Каналья!!

Потом он еще что-то кричал, директор ему что-то отвечал, но в чем состояла эта словесная перепалка, Хория уже не слышал. Для него день вдруг поблек, разноцветные круги поплыли, пересекаясь на разных уровнях, и он понял, что с ним случилась трагедия. Если он сию же минуту не выйдет, то его потом вынесут. И он сказал себе: самое важное — это продержаться, выйти самому, спокойно, с достоинством, уйти, куда глаза глядят, забыть навеки, что есть такая деревня, Каприяна, что есть такая двухэтажная школа и есть такая смуглая красивая Жанет.

Сначала он выходил спиной, низко опустив голову, ни на кого не глядя, затем в учительской надел куртку, шапку, взял портфель. Двор школы был совершенно пустой, и улицы тоже были пусты, безжизненны. Он долго шел по селу, разбитый, усталый, шел, низко опустив голову, ссутулившись, потому что мела странная предвесенняя поземка. Вышел из села по той же тропинке, по которой спустился некогда в эту Каприяну — тогда, правда, была осень, все золотилось, пахло айвой и виноградным соком, а теперь до самого шоссе одна поземка и мерзлая земля.

Машин ходило много — как раз в те дни колхозы развозили со станции минеральные удобрения, и он быстро добрался до вокзала. В зале ожидания сел неподалеку от огромной печки, чуть отогрелся и как-то тупо ни о чем больше не думал. Он знал по ритму сердца, по привкусу во рту, что разладилось что-то там внутри, но что именно — не знал. Хотелось быстрее сесть в поезд и уехать — пусть то, что с ним должно произойти, произойдет. Не здесь, не на этой земле, не среди этих людей. Он решил уехать первым же поездом, в какую бы сторону он ни шел — если раньше пойдет на север, уедет в Черновицы, если раньше пойдет на юг, уедет в Кишинев. Через час с лишним пошел поезд на Кишинев, и он купил билет, сел. Поезд был пригородный, без спальных мест, но ему было плохо, и он лег. Он лежал, подобрав ноги, на короткой скамейке, на которой надо было сидеть троим, и хотя

мест не хватало и многие торчали в проходе, его не трогали, понимая, что это неспроста, что-то произошло с ним.

В Кишиневе он сам слез с поезда, нашел на вокзале помещение медпункта, вошел и даже улыбнулся дежурившей там медсестре — должно быть, хотел сказать ей что-нибудь смешное, он всегда любил шутить при знакомстве, но духу уже не хватило. Лег на белую койку, послушал, что медсестра думает о молдаванах, о том, как они относятся к своему здоровью, потом провалился куда-то и очнулся только на второй день в республиканской больнице, в сердечной клинике профессора Анестиаде.

Легко рассказать, а попробуй переживи все это. Но, как бы там ни было, худшее уже было позади, и вот теперь, через два месяца, он опять в поезде, опять едет туда же, на север. Между Унгенами и Бельцами наконец уснул. Он спал и наслаждался отдыхом. Едва закончив эту невыносимо тяжелую для него работу, пережив еще раз свою драму, переосмыслив все обстоятельства, связанные с ней, он тут же уснул. Невероятная тяжесть, давившая на него и чуть не раздавившая совершенно, уползла куда-то в неведомое. И ему стало легко, так легко стало, будто он заново на свет родился. А может, дело было даже не в этом, может, нужно было еще раз пройти все эти круги ада, чтобы своими руками сделать из этой драмы часть осмысленного жизненного опыта, а опыт уже не давит, опыт уже не враг, а друг и товарищ.

Как бы там ни было, а колеса мирно стучат, человек спит на ватном матрасе и во сне удивляется, до чего он сладко спит и как ему хорошо оттого, что он так сладко спит. И само сердце, его бедное сердце, которое вот уже второй месяц то пропадало, то срывалось со своего бега, теперь спокойно, ритмично работало, как и перестук колес, с той же методичностью отсчитывая секунды и метры.

XI

Часа в три его окликнули. Он соскочил с полки, сунул ноги в ботинки и только потом оглянулся. Вокруг ни души — пассажиры, верно, спали, проходы пусты, и тем не менее он явно слышал молодой, юношеский голос, голос, по которому он так соскучился за эти два месяца. У него еще стоял в ушах тот отдаленный, отчаянный крик:

— Хория Миронович!

Была жалоба ребенка, был крик о помощи, и было еще в этом голосе столько тревоги, столько отчаяния, что на миг он забыл и Жанет, и больницу, и все свои невзгоды. Натянул куртку, надел шапку и отозвался хрипло, потому что был со сна:

— Да? Что случилось?

И смутился как-то от собственного же голоса, потому что вагон был в самом деле пустой — ни проводницы, ни пассажиров, ни контролера. Даже обычного перестука колес не слышно было, потому что поезд стоял на какой-то станции. Кинулся к окнам, посмотрел на улицу. С одной стороны поезда стояли сплошные товарные составы, а по другой стороне красовалась залитая лунным светом и потому сияющая белизной, единственная побеленная станция на этой дороге...

— Вережены!

Нужно было действовать быстро и решительно. В один миг рассовал все хозяйство в портфель, схватил сетку с апельсинами и выпрыгнул из вагона, когда поезд уже трогался с места. Не успел даже попрощаться с проводницей. Хотя она откуда-то выросла на ступеньках своего вагона, красивая и загадочная, и, когда поезд уже набирал скорость, так что ее фраза могла еще до него долететь, но на ответ наверняка не оставалось времени, она укоризненно покачала головой:

— А поговорить-то мы с вами так и не поговорили!

Он успел только улыбнуться ей в ответ, потом долго еще провожал взглядом красный огонек, припечатанный к последнему, вагону. И поезд, и проводница, и сам огонек — все это уходило туда, на север, где пахло дубовыми рощами и горными травами, где было

солнечно и просторно, в страну детства, на Северную Буковину, а он опять застревал в этом краю, где его чуть не угробили, сошел на станции, где его никто не ждал, никто не встретил.

«Неумно, неумно все это у нас получилось...»

Народу сошло мало, человек восемь. Стояла еще глубокая ночь, спешить было некуда, он подошел к скамеечке, поставленной у входа в зал ожидания, и сел. Заходить в само здание вокзала ему не хотелось. Нужно было как-то побыстрее очнуться, сообразить, что к чему, а на улице, на свежем воздухе, это как-то делалось само собой. Жалко было родной деревушки на Буковине — он так надеялся туда приехать, так он по ней соскучился, и вот снова поездка откладывается. И снова каким-то чудом до него донесся отдаленно, как эхо, тот встревоженный, юношеский голос, который окликнул его и, можно сказать, высадил с поезда. Неужели тот голос хотел ему поведать, что ночью с десятого на одиннадцатое апреля была сильнейшая гроза, с громом и молниями? Ах, если бы это было так, и если бы можно было еще дознаться, чей тот голос...

С поезда вместе с ним сошли еще две учительницы из соседней деревни. Они сначала кинулись в зал ожидания, потом так же живо оттуда выскочили. Посмотрели на него мельком. Они не были знакомы, но Хория помнил их лица по университету, по многочисленным районным конференциям. Они, видимо, тоже помнили его и, поездиваясь от утреннего холода, гуляя по перрону, все внимательней и внимательней стали к нему приглядываться. Чем дольше они к нему приглядывались, тем больше смущались, и тут он стал гадать: чем же он их вгонял в краску?

Ах да, конечно же. Уроки литературы. В человеке все должно быть красиво, особенно если этот человек — учитель. А на нем все было мято, все пахло больничной кладовой. Лицо небритое, на ботинках ссохшаяся глина Комсомольского озера. Чтобы больше не компрометировать их своим видом, он поднялся со скамейки, пошел на площадку, расположенную за зданием вокзала, откуда отправлялись во все направления автобусы, и стал прикидывать, как бы побыстрее добраться домой. Тот юношеский голос — он ведь неспроста окликнул его. Там, видно, что-то случилось. Может, даже что-то страшное. Когда ученик зовет учителя, это не значит, что только он один его и зовет, — как правило, тем голосом зовут все ученики, и ему нужно было спешить, потому что так или иначе, а сегодня они были для него единственными близкими людьми в этом мире.

Ехать было не на чем. Первый автобус, который мог бы довезти его до поворота, откуда было всего два километра, шел только в пять сорок. Правда, у здания вокзала дремали две новенькие «Волги», уютно светили два зеленых огонька, но шоферы в этих машинах спали, сидя за рулем, и даже не отзывались, когда пассажиры стучали им в окошко. Спрос на такси здесь был огромен, шоферы были в основном народ состоятельный. Вышли на линию, потому что смена, а так сон под самое утро был им дороже любых денег.

Хория нервничал, он хотел поскорее вернуться и все-таки растормошил одного из таксистов. Здоровенный детина сквозь глубокую дрему огрызнулся в том смысле, что, дескать, занято. Тогда Хория спросил, почему же он не выключит зеленую лампочку. Ведь горит она, а если горит, то, стало быть, машина свободна. Шофер открыл один глаз и сказал, сожалеючи глядя на учителя:

— Горит, да не про вас горит, дорогой товарищ... Было около четырех. Прождать еще час с лишним у него уже не было сил, и он поплелся пешком по шоссе, решив, что даже если придется идти часок, то потом так или иначе догонит какая-нибудь попутная машина, а прогулка на рассвете все-таки лучше, чем торчать возле здания вокзала. Вон Амосов пишет, что у человека не может быть здоровое сердце, если он не пройдет пешочком семь-восемь километров в день. То же самое и японцы утверждают. И он пошел, и шел долго, в темноте, по обочине. Луна изредка выглядывала из-за туч, на одно короткое мгновение, словно для того, чтобы он мог сообразить, куда и как идти, и тут же снова на нее набегали тучи, и опять бесконечно долго приходилось шаркать в темноте по сухому асфальту.

Он уже был, верно, в пяти-шести километрах от станции, когда из-за поворота показался грузовик. Машина шла на большой скорости. Хория стал на обочине, деликатно, учтиво поднял руку. Приближаясь, шофер и в самом деле начал тормозить, но не для того, чтобы остановиться, а для того, чтобы проехать мимо. Хория хорошо знал все эти шоферские увертки, а кроме того, ему нужно было срочно, до зарезу нужно было вернуться в Каприяну. Не долго думая, он с поднятой рукой вышел на середину шоссе и стал как вкопанный. Шофер грузовика понял; что, если не остановит, тот так и будет стоять, а шофер, он был еще молоденький, ему не хотелось в дальний путь, в казенный дом. Чуть взяв вправо, притормозил, и после немыслимого скрежета и свиста, связанного с непредвиденной остановкой такой колываги, из кабины донеслась речь молдаванина, едва осваивающего обороты русского языка:

— Твоя душа мать...

Хория подошел к опущенному боковому окошку и попросил:

— Слушай, будь другом, подвези до поворота. Мне срочно нужно в Каприяну.

— Куда я тебя — на голову, что ли, посажу? Не видишь — кабина занята.

В кабине и в самом деле дремала грузная женщина, которая только теперь настоящему проснулась и тупо озиралась, не понимая толком, что произошло.

— Да не надо мне кабины — я в кузове доеду... Парень за рулем подумал и сказал:

— В кузове могут убить.

— Ничего, может, пожалеют. Я ведь человек не злой.

— Ну, как знаешь, — сказал шофер. — Лезь давай. Только — на свою ответственность.

Хория закинул свои вещи, затем и сам залез. Шофер куда-то очень спешил, машина тут же тронулась, не дав ему даже встать во весь рост. Сначала он попытался на корточках добраться поближе к кабине, потому что очень уж сквозило, но потом передумал и некоторое время ехал, никак не выдавая себя и оглядываясь, чтобы узнать, кто же тут собирался посягнуть на его жизнь. К счастью, луна снова, на один короткий миг выглянула из-за туч, он все понял и улыбнулся.

Прижавшись к противоположному борту, несколько удлиненному свежими неотесанными досками, храпел и одновременно вздрагивал молодой, красивый жеребец. Он, видимо, был строптив на тех лугах, где родился и рос, но, на свою беду, оказался слишком красивым. Он понадобился для размножения, и вот везут его к каким-то старым, глупым кобылам, которым все уже в жизни опостылело. Он был весь взмыленный. На правом боку и на передней ноге, когда светила луна, виднелись мокрые полосы, должно быть, кровь. У него дрожали все мускулы, он ненавидел эту ночь, эту машину, весь этот путь, и, когда снова засветилась луна, жеребец оглянулся, чтобы узнать, кто же это едет вместе с ним. Хории стало его жалко. Всю жизнь, с детства, он мечтал иметь хорошего коня. Потом времена изменились, мода на лошадей стала сходить, пошла мода на велосипеды, на мотоциклы, но Хория все же мечтал хотя бы один раз всласть покататься на хорошем коне. Увы, и это почему-то оказалось нереальным, и он уже стал подумывать, что хорошо бы просто пообщаться с лошадкой, покормить, попоить ее в благодарность за то, что ее предки сделали для этого народа на протяжении многих столетий, — и опять же не вышло... Его жизнь шла по одному руслу, жизнь лошадей — по другому, и кто знает, если бы не сегодняшний, просто невероятный случай, он возможно, так и не встретился бы со своей лошадкой.

— Милый ты мой друг...

Хория встал в темноте, на ощупь пробрался к кабине, туда, где была голова лошади. В темноте нашел ее, прикоснулся к жесткой гриве, погладил ее, затем достал из сетки апельсин. Жеребец на миг забыл свой страх и то обстоятельство, что его везут на машине. Понюхал плод, но он ему не понравился. А может, он подумал, что это ловушка, что за этот плод придется потом не то что на машинах ездить, а и на самолетах летать.

— Мургушор ты мой, Мургушор, — сказал ему вдруг Хория ласково. — Не повезло нам с тобой. Тебя родили красивым, и меня родили красивым. Всю жизнь мы за это платим и попадаем из одной дурацкой истории в другую. Тебя вон везут на свадьбу, а я уже после свадьбы, после больницы, и все нам завидуют, что мы красивы, что любая дура за нами пойдет, и не знают эти чудаки, что вот едем мы глубокой ночью в грузовике, и трясемся, и дрожит душа, дрожит тело, и даже семя в нас, и то дрожит.

Молодой шофер, видимо, понятия не имел, о каком повороте шла речь, и не сбавлял скорость, хотя поворот был уже близок. Хория постучал по кабине. Тот даже не остановил — только чуть притормозил, дав ему возможность выбросить вещи и выпрыгнуть самому, а когда пассажир вытащил трешку, машина опять набирала скорость. Хория собрал в темноте вещи и подумал про себя: что-то тут непременно ворованное. То ли машина, то ли жеребец, то Ли дело в сонной тетке, дремавшей в кабине. Скорее всего, что дело в тетке...

Под утро тучи затянули небо совершенно, и, хотя дул уже свежий предрассветный ветерок, темно было так, что не видно было, куда ногой ступить. После больших хлопот он все же нашел тропинку, по которой нужно было спускаться, так, чтобы добраться побыстрее до Каприяны. Но, спускаясь, он зацепил сеткой за какой-то куст, сетка порвалась, апельсины высыпались. Он их с трудом, на ощупь, собирал, совал обратно в сетку. Они снова вываливались оттуда, и хотя спускаться, без конца собирая апельсины, было делом трудным и хлопотливым, он вдруг засмеялся. Ему пришла в голову мысль, что было бы здорово начать вот так большой художественный фильм — на экране полная темнота, и в темноте герой куда-то проваливается, что-то собирает, куда-то сует, — все это похоже на драку, но никто ничего не может понять. Только потом выясняется, что возвращается учитель ночью, спускается с горы и собирает апельсины, которые у него вываливаются из сетки.

ХІІ

Когда он входил в деревню, луна все-таки умудрилась в последний раз вырваться из этой темени — еще раз выглянула из-за туч и улыбнулась. Каприяна спала глубоким сном. Потомки древних звонарей спали так, что можно было всю деревню перетаскать из одной долины в другую, и никто не очнется. Спал директор школы, спал Симионел, спала его телка в сарае, спала где-то там в низине Жанет с сыном, и кто знает, может, в этом была высшая мудрость, потому что дела делами, а отдых отдыхом. Он шел по деревне привычными дорогами, и мысли его были добрые, привычные, но его сердце отчего-то вдруг заволновалось. Оно таяло, его щемило, оно стучало в висках, стучало в кончиках пальцев, и он стал думать: с чем эти волнения могут быть связаны? Ах, да, конечно же. Близится дом, в котором он жил, дом, в котором спали теперь предутренним сном жена и сын. О сыне он думал мало. Сын был немислимо похож на Жанет, и в дни их счастливой семейной жизни Хория очень любил его, но если случалось им повздорить с Жанет, недовольство женой почему-то распространялось и на сына. Он понимал, что это глупо, он старался как-то отделить сына от матери, но они были так похожи — и лицо, и стать, и волосы, и голос...

А дом тот все ближе и ближе. До сих пор он голком еще не думал, куда он возвращается, да ему как-то было все равно, но сердце, его бедное сердце не могло больше находиться в состоянии неведения, потому что вон позади один переулок, и перекресток, и колодец. Все должно решиться через двести, через сто, через пятьдесят шагов, и сердце буйствует, стучит, стучит, стучит.

Нет, он не вернулся. Начало рассветать, а его ждали где-то там ученики, их голос разбудил его среди ночи, заставил сойти с поезда, и он прошел, даже не посмотрев в сторону того дома, в котором сам еще недавно жил. Он шел и шел по дороге, ни о чем больше не думая, и все шел, пока не засветились впереди розовым отблеском огромные окна школы. Тетушка Арвира, уборщица, уже топила печи. У крыльца школы он сел передохнуть. Внутри стоял грохот передвигаемых парт, звон ведер, шлепанье мокрых тряпок, а временами среди всего этого шума и гама прорывалась тихая песенка тетушки: «Ах, была у меня тропка, до

самых дверей любимой». Она всегда пела одну и ту же песенку, должно быть, со страху пела, потому что приходила сюда в полночь и до утра трудилась в этой пустой и темной двухэтажной громаде. Тихая и скромная женщина, отдавшая войне мужа и сына, она сделала из уборки школы главное дело своей жизни. Она переживала за каждое треснутое стекло, за каждую царапину на парте, за двойки каждого ученика, за здоровье каждого учителя, и, сидя на крыльце и слушая возню этой старой женщины, он вдруг подумал как-то весело: нет, ничего еще не потеряно, ничего в мире не изменилось и не изменится, пока эта старушка будет приходить сюда глубокой ночью, передвигать парты, мыть полы и мурлыкать свою древнюю песенку.

Она смущалась, когда ее навещали неожиданно, во время исполнения служебных обязанностей, особенно, если это бывали люди мужского пола, и он тихо прошел по коридорам в учительскую. В столике, там, где он хранил свои личные вещи, лежали несколько номеров еженедельника «Культура», которые пришли за время его отсутствия, и повестка из военкомата, в которой предлагали месяц назад явиться в трехдневный срок. По коридору прошла тетушка Арвира и уже не пела, должно быть, увидела его следы в коридоре. Он ждал, когда она войдет, и при этом подумал: неужели ей так же будет неприятно видеть его, как и тем двум учителькам из соседней деревни? Подошел к книжному шкафу, к которому по просьбе учительниц было прилажено небольшое зеркало, и впервые за эти два месяца долго и придирчиво осмотрел себя. Увы, ничего из того, что нас касается, не проходит мимо нас, и надо было быстро, пока не собрались учителя и ученики, привести себя хоть мало-мальски в порядок. Достал из портфеля электробритву, побрился, вышел с графином к крыльцу и умылся, потом мокрой газетой принялся чистить свои ботинки и чистил их до тех пор, пока в учительской не запахло опять, в который раз в его жизни, спелой айвой. Этот запах стал для него той самой судьбой, которую, как говорится, ни объехать, ни обойти. В проеме открытых дверей учительской стояла Жанет. Давно он ее не видел, с того самого черного дня. Четыре раза приезжал к нему в Кишинев в больницу ее отец с передачами. Человек очень добрый, тактичный, в беседе он почти каждый раз давал понять, что приехал не один, вместе с ним приехал еще кое-кто из Каприяны и сидит где-то там на скамейке, но говорил это как-то вскользь, мол, если хочешь — могу позвать, но если тебе этого не хочется — избави бог. Хория не выражал тогда интереса узнать, кто же это вместе со стариком приехал, и она уезжала, не свидевшись с ним, но, конечно, должен же был настать день, когда они снова встретятся лицом к лицу.

Она похудела. В уголках рта появились первые складочки. «Наши годы летят», была когда-то песня такая. Она стояла еще теплая, растерянная, со сна, готовая принять любой удар покорно и безмолвно. Держала какой-то узел в правой руке и не знала, куда его деть. Но нет, между ними, похоже, все было уже кончено. Он чистил ботинки спокойно, методично, старательно. Жанет хотела что-то сказать и запнулась. Он поднял глаза, увидел, как дрожит ее подбородок, и ему стало ее жаль. Из уважения к их прошлому он не должен был ее унижить, даже если она в самом деле была перед ним бесконечно виноватой.

— А я вот ждала и ждала... — сказала она вдруг.

— Чего же ты ждала?

— Ждала, когда ты вернешься и побьешь меня, Он усмехнулся.

— Нет, Жанет, это ни к чему. То, что, может быть, помогало нашим родителям, нашим предкам, нам уже не поможет.

— Ты меня даже не спросил, правду ли он говорил и было ли что...

— Дело не в том, было там что или не было. Просто он единственный человек в мире, с которым у тебя вообще ничего не должно было быть, иначе ты меня предавала...

— К сожалению, я это поняла уже потом...

Она прошла через порог, развязала узел, положила на стул его костюм, чистую рубашку, полуботинки.

— Не мучайся с грязными ботинками. Я их сама дома почищу. Лучше переоденься во все чистое.

Он спросил, снимая с себя помятый костюм:

— Кто тебе сказал в такую рань, что я приехал?

— Отец.

— А он откуда узнал?

— Видел, когда ты прошел мимо нашего дома.

— Он, что же, не спал?

— Нет.

— А чего так?

— Да он уже давно, недели три, просыпается, когда проходит поезд Черновицы — Одесса. И уже до утра не спит...

— А ты?

— Я тоже просыпаюсь, когда проходит поезд, но потом, от усталости, наверное, опять засыпаю...

Вот, подумал он, еще один человек, ради которого стоило завернуть сюда. Знаменитый садовод, который сажает айву. Все они только носят эти запахи, а сажает айву и ухаживает за ней отец, хотя и несет от него табаком. Надо переодеться, чтобы покончить раз навсегда с этой больницей. Стал отстегивать брючный ремешок, но с чего-то спохватился и замер. Хотя они около восьми лет жили вместе, и у них был сын, и уже давно не стеснялись друг друга, ему не захотелось переодеваться при ней. И она поняла. Вышла, тихо прикрыв дверь. Некоторое время слышно было, как ходит она по коридору, слышен был ее тихий разговор с тетужкой Арвирой, а когда она вернулась, он уже завязывал галстук. На полу валялось все то, что он с себя снял. Жанет робко переступила порог, нагнулась и принялась собирать его старые больничные вещи с пола. Но ему почему-то это не понравилось, и она остановилась, выпрямилась, спросила:

— Можно я все это унесу домой?

— Нет, не нужно.

— А что же ты с ними будешь делать?

— Пускай лежат здесь, в столике.

Потом была еще пауза, очень длинная пауза. У нее опять начал дрожать подбородок, и она поняла, что ей пора уйти. Уже приоткрыв двери, Жанет спросила:

— Ты знаешь, что сегодня не будет уроков?

— Почему?

— Субботник.

— Что ж, субботник так субботник, — сказал он. — Там апельсины в сетке. Возьми, отнеси сыну.

Она долго смотрела на сетку, потом тихо сказала:

— Не могу.

— Почему не можешь?

Она аккуратно сложила платок, в котором принесла его вещи.

— А он может вдруг спросить: откуда они, эти апельсины?

— Ну, скажешь.

Она аккуратно спрятала платок в карман плаща.

— Боюсь, что он не захочет.

— Чего не захочет?

— Апельсинов без отца.

— Ну, тогда сама их съешь.

— А я тоже не хочу,

— Чего не хочешь?

— Апельсинов без мужа.

Он пожал плечами. Сказал сухо:

— Как знаешь...

Она ушла. На улице уже почти рассвело, но излишне яркая лампочка в учительской мешала смотреть в окно. Его рука потянулась к выключателю, и, только когда пальцы коснулись пластмассы, он вдруг понял, для чего ему это нужно было. Он любил, когда она уходила из школы, а он еще оставался, любил ее провожать, стоя у окна. Улочка уходила, от школы вниз, и видно было далеко, как она, уходя, становится все меньше и меньше, все родней и родней. Но то было тогда, а теперь этого уже нельзя было делать, у него не было права на это, и рука, мягко соскользнув по выключателю, опустилась.

Арвира заканчивала уборку. Хория взял несколько последних номеров «Культуры», вышел в коридор, поднялся на второй этаж, вошел в тот класс, откуда он уже много лет изучает сочащийся сумрак из раскрытых дверей школьного сарая. Пол был уже вымыт, печка теплая, ну что за прелесть эта тетушка Арвира, чего бы стоила эта школа без нее и без ее песни. Взял стул, присел к окошку и подумал: а что если снять фильм об этих самых раскрытых дверях школьного сарая, об этом самом квадрате сумрака? Показать, какой он бывает в солнечный день, в дождливую пору, каким он бывает зимой, летом, на рассвете и на исходе дня?..

Новостей в газете было мало. Опять те же статьи — сколько задавать ученикам на дом, чтобы они хорошо усваивали урок, потом отрывок из киносценария молодого писателя. Хория очень любил читать отрывки из киносценариев, запоминал их удивительно точно, а когда фильм выходил на экраны, он сравнивал, что и как изменилось при съемке, что пошло на пользу фильма, а что было явно во вред.

Вдруг в разделе мелкой информации он нашел одну интересную подробность. В отчете о каком-то совещании он нашел имя своего любимого Иларию Семеновича Ротару. Перед его фамилией красовался громкий и торжественный титул — член-корреспондент академии. Сначала Хория подумал, что он отнес этот титул не к тому лицу, затем перечитал информацию еще раз... Это казалось невероятным. Иларию Семенович был всего кандидатом, а в академии десятка три докторов ждали своей очереди стать член-корами. Еще и еще раз прочитал информацию — да нет, титул принадлежал именно ему, И. С. Ротару, он все-таки добыл это звание, потрудился не покладая рук, и дай ему бог, как говорят молдаване, еще выше и еще больше.

XIII

— Ну, стало быть, доброе утро, детки!

Они сбились в кучу у самых дверей. Стояли взволнованные, дышали тяжело, потому что бежали, наперегонки из самой глубины школьного двора. Ему почему-то очень важно было увидеть своими глазами, как они воспримут новость о его возвращении. Он давно наблюдал за ними и видел, как все произошло. Сначала директор выстроил их по классам, распределил, кому что делать, а тем временем учителя, прослышавшие новость, забежали поздороваться. Потом они вышли, только-только принялись за работу, и вот уже поползли слухи. Ему даже казалось, что он видит их графически. Эти слухи расходились наподобие силовых волн, от класса к классу, от человека к человеку, потом они дошли до его любимого класса, и начавшие было копать землю ученики замерли, посоветовались о чем-то меж собой... Одним движением побросали лопаты, и, хотя директор, стоявший на крыльце школы, высоко, протестующе поднял руки, они пронеслись мимо него, как стадо бизонов.

— Здравствуйте, Хория Миронович!!!

Они стояли одетые кто в чем, они пришли на субботник в своей обычной одежде, которую носили дома, и он их больше всего любил именно в этой незамысловатой, трудом и потом подогнанной к своему телу одежде. В воскресных нарядах он их не любил, не у каждого хватало денег и вкуса на красивую вещь; школьные формы он тоже не особенно жаловал. Становилось прямо обидно — разные лица, разные глаза, разные мысли, разные голоса, а на все это один серый цвет для мальчиков, один коричневый для девочек. Нет, уж пускай лучше в своей, домашней.

— Что, вернулся Хория?! — спросил из коридора громким шепотом, чуть охрипшим от курева Василе Донцу. Потом, увидев учителя, немного смутился, больше так, для вида. — Извините, опоздал немного. Здравствуйте. С приездом.

Он часто опаздывал и очень гордился своими опозданиями. Не давали ему появляться вовремя недокуренные сигареты. Все знали, что он курит уже по-настоящему, и ему нравилось, что у него есть уже непреодолимая страсть. Поди ж ты, всего шестнадцать лет, а уж ничего с собой поделать не может!

— Похудели вы, — сказала одна из девушек, искренне, по-бабьи его пожалев.

— Да нет, не очень, — деликатно возразили ей.

— А может, лучше будет, если мы рассядемся?

— Только, чур, каждый на свое место!

Пока они хлопотали и рассаживались, он стоял перед классом и думал — конечно же, кто-то из них окликнул его в три часа ночи, в три часа утра, и он правильно сделал, что сошел с поезда. Даже если он решит окончательно вернуться на Буковину, то и в том случае стоило вернуться и узнать, чей же это был голос. Есть вещи, до которых человеку нужно непременно докопаться, чего бы это ему ни стоило. А тем временем его ученики шептались, обсуждая, видимо, его внешний вид, разные формы сердечных заболеваний, а он, в свою очередь, думал, что они тоже бледноваты — теперь, весной, с витаминами худо. Молдаване вообще не придают должного значения пище. В школе ребят кормят два раза в день, но на те деньги, которые отпускает районо и колхоз, их не очень откормишь. Они росли всюю, им нужно было больше мяса, больше белков.

— Расскажите, как вы тут без меня...

Виолета Замфир, полная, грудастая девушка, мечтавшая о замужестве еще с восьмого класса, пересела с задней парты на переднюю. Она была в него влюблена, она уже раза три писала ему любовные записочки, которые он оставлял без внимания. Теперь она, видимо, стосковалась по нему, и он прямо не знал, куда себя деть. На уроках он спасался тем, что все время спрашивал ее, запутывал дополнительными вопросами, а тут был субботник, она пришла в голубой, крупной вязки кофте, села на переднюю парту и просто млея вся.

И вдруг он стал злым. Ребята это почувствовали, и Виолета, поднявшаяся было, чтобы подробно ответить на его вопрос, как они тут жили без него, осеклась и села.

Хория прошелся между партами, потом снова подошел к окну, пододвинул стул, сел на свое излюбленное место. И опять открытые двери школьного сарая... Но нет, потом его взгляд прошелся по крышам соседних домов, и еще выше, по холму, и еще выше, к самому гребню Каприянской горы. Это было сумасшествием. На глазах всего класса, впервые после возвращения смотреть на Каприянскую гору, туда, где была самая большая его боль, но он был истинным бойцом, достойным потомком древних звонарей, и вот его взгляд, наконец, заметался по гребню совершенно лысой горы — никаких больше памятников, никаких колоколов...

Ребята обомлели. Виолета как-то первой пришла в себя и пропела своим низким, грудным голосом:

— : ...а кроме этого, что мы вам можем еще сказать...

Бесконечно благодарный ей за эти слова, Хория оставил гору в покое, посмотрел на нее. Она была красивой. За время его отсутствия ее голос чуть осел, приобрел низкую, грудную, задушевную мелодию, и она часто говорила, получая, видимо, сама удовольствие от своего голоса. Теперь она смутилась, умолкла, но ему хотелось, чтобы она еще порассказала чего-нибудь.

— А как с учением у вас?

— С учением хорошо, — сказала Виолета беззаботно. — По будням троечки, на воскресные дни, глядишь, и четверка высветится, ну, а на самые большие праздники, на май и на октябрьскую, кое у кого и пятерки бывают.

Ребята рассмеялись, и он тоже улыбнулся — он любил юмор, любил, когда они импровизировали. Без этой гимнастики ума, без этой пластики мысли все их учебные

программы могли оказаться запыленным и никому не нужным хламом. Но теперь ему было не до смеха. Болела душа, она выла от боли, и он опять вернулся к окну, и снова открытая дверь сарая, крыши, и опять глаза идут вверх по горе, потому что там было главное, и без этого главного ничего уже не нужно было. Говорить об этом не хотелось, но не говорить об этом тоже было нельзя, и тут кто-то из учеников выдавил из себя:

— Звонница вот сгорела...

Ему почему-то очень важно было, чтобы они сами сказали ему об этом. Своими словами, как смогут. Он на них оставил Звонницу, они должны постепенно приучать себя к чувству ответственности. И теперь, после того как они сами сообщили ему об этом, он попросил сухим, обожженным болью голосом:

, — Расскажите, как все это было...

Сначала кинулись все объяснять, потом так же скопом умолкли. Встала Виолета и своим красивым, грудным голосом принялась рассказывать. Неделю тому назад, в субботу ночью, с десятого на одиннадцатое апреля, вдруг пошел немыслимо ранний для года дождь. Лил он как из ведра, и грохотал гром, и молнии шныряли по всему небу, как огненные змеи — прямо страшно было в окно смотреть. И вдруг по деревне ударила молния — каждому казалось, что она ударила по его дому, и запахло горелым, а когда Звонница запылала, дождь пошел еще сильнее, но она горела вовсю. Странно было видеть — льет дождь, а она горит, потому что, говорят, то, что загорается от молнии, уже ничем не потушишь. А может, кто и поджег Звонницу под этот дождик — по деревне ходят и такие слухи, и мы не станем их от вас утаивать...

Хория еще один раз, — в сотый, наверно, — подумал про себя:

«Ах, если бы не та ранняя, такая ранняя, такая жуткая гроза...»

Он знал, что Звонница сгорела, ему рассказал об этом колхозный бригадир, у которого жена лежала в той же больнице, что и он. Причем точно в таких же выражениях — молнии шныряли по всему небу, как змеи, каждому казалось, что по его дому ударило, — видимо, это уже стало фольклором.

— Спасибо, Виолета. Садись.

Ему захотелось послушать их голоса, пока еще свеж был в памяти голос, разбудивший его в три часа ночи, в три часа утра, потому что, хоть он и божественно красив, этот голос Виолеты, но не он его, конечно же, разбудил.

— И что же... Долго она горела?

Тут мнения разошлись: одни говорили, что мигом, за каких-нибудь два-три часа, другие утверждали, что, наоборот, — пламени вовсе не было, она долго дымилась, а потом рухнул сверху колокол, все примял и придавил, а третьи утверждали, что и вовсе не так все было. Сначала Звонница рухнула от удара, от молнии то есть, а потом только загорелась. Хории трудно было в этом разное следить за их переплетающимися голосами, и он поднял руки.

— Нет, не все сразу. Пусть сначала расскажут те, что были на месте, кто видел все своими глазами.

И тут ребята как-то странно заерзали на партах, зашушукались. Давай ты, а почему именно я, ты не можешь, ишь барин какой, нет, пускай лучше он, а тот тоже не хочет. И наступила тишина, и в этой тишине учителю опять стало худо. Его знобило, тело размякло, как вата, а сердце опять поскакало куда-то на одной ножке. Надо было достать таблетку валидола, но ему неудобно было сосать ее перед всем классом. По своему положению, по своему нравственному долгу он должен был быть все время здоровым, сильными и мужественным, и он скорее согласился бы умереть, чем принять при них таблетку валидола.

— Я надеюсь, — сказал он глухо, с трудом сясь владеть своими эмоциями, — я надеюсь, что если не половина, то по крайней мере несколько ребят из нашего класса были на Каприанской горе той ночью...

— Были, как же... — потянул Ион Скутару из глубины класса. — Многие бежали туда, по дождю.

— Кто именно?

И опять стало тихо, очень тихо стало в классе.

— Ты-то сам, Скутару, был?

Тихо. Пауза. Потом, после долгого молчания, тот же голос:

— Мой дядя бегал. И ведро у него было с собой.

— И это все? От целого класса один дядя Иона Скутару побежал туда?!

Тихо в школе на втором этаже, и на первом тоже, и во дворе тихо. Ребята из младших классов подождли во дворе прошлогоднюю листву, и этот запах опять напомнил ему родную Буковину в весеннюю пору. Чистые, скромные деревни. Хотя и не очень богатые, но зато красивые, полные смысла и достоинства. Там огонь не разгуляется, там не то что древней Звоннице — там курятнику и то не дадут догореть до конца.

И так его снова обожгла тоска, так ему захотелось туда, что в глазах потемнело. А тем временем двадцать четыре его ученика, или две дюжины апостолов, как он их в шутку называл, сидели на партах и молча сопели. Собственно, говорить больше не о чем было, но раз он завернул сюда, хотелось все же дознаться, кто и зачем окликнул его в три часа ночи. Вытянул ящик стола, но классного журнала там не оказалось. Подумав, подошел к стенке, снял висевший на кнопках график дежурств по уборке класса.

— Давайте на прощание поставлю вам еще по одной отметке. Отметку за мужество. Я буду вас вызывать по списку, и пусть каждый скажет коротко, в двух-трех словах, почему не смог тогда, ночью, побежать на Каприанскую гору. Ну, стало быть, начнем. Анастасия Михаил.

Маленький, болезненного вида парень встал в правом ряду, у окна.

— У меня ангина, меня и сегодня не пускали в школу...

Нет, подумал он, этот звать не станет. Ему не учитель, ему горячий компресс вокруг шеи нужен.

— Садись. Врабие Петру.

Встал, лицо хитрое, а сам косит глазом по сторонам: может, кто что подскажет.

— Да я, видите ли, как раз в тот день, вернее, как раз в ту ночь, ну, это самое... Повесил носки сушить на печке.

Хория улыбнулся — с носками он ничего придумал. Конкретно. Образно. А так дубина из дубин.

— Садись. Невое Елена.

— Мне выйти к доске или можно отсюда, с места?

Стоит, сопит, а ее подружка, сидевшая рядом, сказала тихо, но так, что весь класс услышал:

— У нее вся голова была в бигудях.

Потом, когда дошла очередь до нее самой, до той, что подсказала, он ее не стал вызывать — ни та, ни другая не будили его в поезде. А время идет, список на исходе, и он в ужасе думает: неужели это была галлюцинация воспаленного мозга, неужели ему тот голос померещился? Такая тоска его охватила, что хоть бейся головой об стенку. И вот названа последняя фамилия, и наступила тишина. Такая тишина, такая пустыня легла между учителем и его учениками, что трудно было себе представить, как могут они находиться под одной крышей, дышать одним воздухом. Они не были родственниками, они не были односельчанами, ему даже показалось, что они не являются детьми одного и того же народа. Случайно говорят на одном языке, живут на одной земле, изучают одну и ту же историю, а так далеки друг от друга, как земля от неба. И он улыбнулся им на прощание, улыбнулся просто так, через силу, в память об их старой дружбе. И содрогнулся десятый класс.

— Ладно, ребята. Идите. Вас там ждут. Они вышли смущенные, виноватые. Тихо прикрыли за собой дверь, и если за все годы учебы они одно это от него усвоили, — 'уходя закрывать за собой дверь, — то и за это он был им благодарен. Срочно нужно было глотать валидол, а встать и закрыть дверь у него уже не было бы сил. Вытащил тюбик, кинул таблетку под язык, облокотился на стол, обхватив голову руками, и вдруг из статного,

красивого учителя он превратился в буковинского горемыку, которого обстоятельства загнали в угол, и теперь он в отчаянии, теперь он не знает, как дальше быть.

Скрипнула дверь, но он таблетку уже принял, успокоился и даже не повернулся в ту сторону, даже не открыл глаза, чтобы узнать, кто вошел. Это уже не имело никакого значения. Могла быть Жанет, мог быть Харет Васильевич, или директор школы, или кто-то из его коллег, или сам господь бог, но это уже не имело никакого значения.

— Хория Миронович...

Он вздрогнул. Это был голос, окликнувший его, и он замер, сидел, не шелохнувшись. Сидел и ждал. Ему нужно было утвердиться в этом мнении, нужно " было еще немного, хотя бы еще несколько слов, сказанных тем же голосом.

— Хория Миронович, я вернулась, потому что...

Он встал вне себя от изумления. Перед ним стояла Мария Москалу, та самая Мария, которая не думала, что прошлое Каприяны тоже называется историей. Трудлюбивая, скромная девушка-крепыш, которую он про себя звал Картошкой. Она, правда, была некрасивой — низенького роста, с крупными чертами лица. Природа как будто ошалела, когда замыслила ее, но затем, в самом конце работы спохватилась. Поскольку, однако, все уже было сделано, она поспешила выделить ее хотя бы глазами, и у Марии были удивительного цвета, огромные васильковые глаза, которые почти все время смеялись. Он эту самую Марию только что вызывал по списку, и она честно призналась, что пекла куличи в ту ночь, потому что было это накануне пасхи. И он ей поверил. У них была большая семья, мать часто болела, надорвав свое здоровье на табаке, так что Мария уже с пятого класса была хозяйкой в доме. Удивительным было то, что, когда он вызвал ее по списку, у нее был совершенно другой голос — он даже не подозревал, что у одного и того же человека в течение какого-то получаса может так измениться голос.

— Я вернулась назад, Хория Миронович, потому что...

Он был счастлив. Сердце тихо, размеренно билось, и это тоже было счастьем.

— Так почему же ты вернулась, Марие?

— Я вернулась сказать, что все, о чем мы тут говорили, было неправдой. Ни ангина, ни куличи, ни бигуди тут ни при чем. Мы из страха не побежали в ту ночь на Каприанскую гору.

— Из страха? Кого же вы испугались?

— А директора.

Она оглянулась, как бы ища у кого-нибудь подмоги, но вокруг никого не было, так что пришлось ей самой еще раз собраться с духом.

— И чем он вас так напугал?

— А попробуй не испугайся! Разве вы сами не видите, как он не хочет уезжать... Уже и место ему новое нашли: в соседних Петренях, говорят, вместо восьмилетки будет средняя школа, и его туда уже назначили директором. Уже и вещи его жена стала собирать в ящики, а он что ни день является в школу и куда ни ступит — там уже трава не растет...

— Ну и пусть себе походит напоследок... Все равно уедет... Самое позднее в мае, как учебный год кончится.

— Да, но он же всю злобу на нас вымещает. Видели бы вы, что он творит на уроке литературы! В те дни, когда его переводили в другую школу, пришел и облепил весь класс двойками. И вот, сидим мы как-то вечерком и говорим меж собой: как там с вами будет — неизвестно. Может, вернетесь, может, и не вернетесь больше к нам, а нам тут надо и школу кончить и характеристику получить, чтобы пойти дальше учиться. А он все собирается и собирается... А ну как дотянет до экзаменов и выдаст на прощание плохую характеристику, куда с ней сунешься?

Она сухо глотнула и упрямо повела головой, точно плыла против сильного течения, но нужно было еще немного, чуть-чуть, чтобы доплыть до конца.

— Вот так и получилось, что она там наверху горела, а мы тут внизу сидели и обливались слезами...

Этот молоденький, звонкий, как колокольчик, голос его зачаровал совершенно. Он стоял и ждал, может, она еще чего скажет — в ней пробуждался и креп на его глазах дух гражданской зрелости, и как истинный педагог он знал, что этому процессу нельзя мешать, нужно дать ему до конца утвердить себя. Но нет, она умолкла, сникла как-то после этой немислимо тяжелой для нее работы. И тогда он спросил ее, спросил бодро и ласково:

— А как же ты вот взяла и не побоялась? Ведь директор стоит тут же, на крыльце, он видел и запомнил, как ты прошла мимо, со всем классом, а потом вышла и еще раз прошла, уже одна... Он ведь злопамятный, он не простит тебе этого.

— А,, пускай не прощает, — сказала она с неподражаемой беззаботностью. — Он и так закопал меня по литературе, так что теперь и хорошая характеристика не поможет.

— То есть как закопал?

— У меня же одни тройки. Последний раз я выучила наизусть все, что он задал, и все-таки он думал, думал, а потом взял и поставил тройку.

Хория улыбнулся про себя:

«Бедная родная литература, до чего ты дожила, если именем твоим казнят самых достойных твоих читателей...»

Встал из-за столика и долго, медленно шел к своей ученице, стоявшей у самых дверей. Подошел, взял в ладони ее по-девичьи нежные щеки. Голубые ее глаза засияли от счастья, это были даже не глаза, это было весеннее солнечное небо, и он стоял, купаясь в этой синеве, в этом сиянии.

— Марие, можно я тебя поцелую?

Он почувствовал в своих ладонях прилив крови засмущавшейся девушки, но ей еще не хотелось убрать щеки из его рук, и только реснички тихо опустились, наполовину потушив сияние неба.

— Не надо, Хория Миронович. Не надо бы.

Он опустил руки, но она все еще стояла, румяная, пунцовая, точно опять куличики пекла. Она стояла и ждала слова, без которого уйти не могла. Она понимала, что она что-то такое свершила, может, это была глупость, может, это был подвиг, но она не могла уйти, не узнав, что же это такое было, а учитель был ее единственным судьей. И он сказал:

— Спасибо тебе, Марие. Теперь иди.

Она повернулась, чтобы уйти, взялась за ручку двери, и в тот короткий миг, пока она поворачивалась и бралась за ручку, тот удивительный голос, который разбудил его в три часа ночи, или, лучше сказать, в три часа утра, исчез, словно сквозь землю провалился. И с порога она спросила уже обычным своим голосом:

— А что будет с историей нашего села? Она, что, в самом деле пропадет?

Он засмеялся — он и сам боялся задавать себе этот вопрос.

— О чем ты говоришь, Марие! История — это не только выкопанные в земле черепки, иконы и старинные звонницы на горах. История — это и межпланетная станция которая позавчера опустилась на Марсе, и не убранная в поле кукуруза, и то, что происходит сегодня у нас в школе. И даже то, что ты сегодня вторично пришла сюда, и таблетка валидола, которую я перед твоим приходом принял, и костры, которые вот развели во дворе младшие классы, все это история, Марие! Если хочешь знать — даже вот эта темная кофточка с белыми кармашками, в которую ты сегодня нарядилась, тоже стала достоянием истории.

Девушка сконфуженно улыбнулась.

— Ну уж вы скажете, Хория Миронович! Как >ке, попадет эта тряпка в историю — только ее там л ждали...

Она решительно открыла двери и вышла, а он подошел к окну посмотреть, как она пройдет, в четвертый уже раз, мимо директора. Такая вот картофелина с голубыми глазами, а сколько в ней духа, прочности и решимости! Директор широко расставил ноги, чтобы преградить ей путь, готовясь к длинным объяснениям, но она сделала вид, что не почивает, чего он хочет, и прошла мимо с такой царственной независимостью, что он несколько даже

опешил. Она шла заниматься своим делом, но она не была обычной ученицей десятого класса, она была уже человеком со своими убеждениями, и, казалось, нету в мире силы, которая могла бы ее сделать той самой Марией, какой она была еще час тому назад.

Подошла к своим ребятам, взяла лопату, принялась умело ею орудовать, и, стоя так у окна, Хория подумал, что отныне вот эта самая Мария Москалу стала самым верным, самым преданным его союзником. Придет время, выйдет она замуж, будут у нее дети, но и она, и ее муж, и ее дети будут всегда его союзниками, будут на его стороне, что бы с ним ни случилось, и это было, может быть, самое важное, чего он достиг в свои тридцать с лишним лет. А раз это так, то ехать ему больше некуда, потому что родина учителя — на земле его учеников, и нету у него родины другой.

Часов в десять он вышел из школы, поздоровался с директором, хотя руки ему и не подал. Вышел через калитку на большую дорогу, прошел по ней до самого конца, затем по узкому переулку стал медленно подниматься в гору. Он помудрел за вчерашний день. Сегодня он уже понимал, что от драмы не нужно убегать — наоборот, нужно идти на нее, смотреть ей в самые зрачки. Сгоревшая Звонница все еще оставалась его болью, и нужно было видеть скелет, слепок, графические очертания этой боли, посмотреть руинам в глаза, попрощаться с ними и начать жизнь сначала. Он шел долго, петляя вместе с кривыми переулками, потом, выбравшись в поле, поднял воротник пиджака, потому что было холодно.

Она сгорела вся, до основания. Осталось только нижнее помещение, каморка звонаря, да и то все там уже было завалено. Он поклонился праху памятника, простоявшего четыре столетия на горе, и, как это водится среди людей, присел на обожженных камнях, чтобы приобщить себя к этому горю. Он просидел долго, и было ему спокойно на душе, потом вдруг увидел, что из деревни вышел еще один чужак и тоже шел полем к Звоннице. Он долго гадал, кто бы это мог быть — в помятой шляпе, в странном каком-то плаще, при галстукке... Увы, ненадолго хватило тех директорских тысяч, а может, правы были те опекуны, кто считал, что не нужно брать денег.

— А что, — сказал воинственно Симионел, добравшись до пепелища. — И добрый день!

Он был застенчив по натуре, этот Симионел. Самое трудное для него было встретиться лицом к лицу с человеком и поздороваться с ним. При встречах с односельчанами в его душе происходила какая-то борьба, и, споря с самим собой, выбираясь из омута своей застенчивости, он всегда здоровался зло, азартно: «А что, и добрый вечер!» Или: «А что, и добрый день». Хорошо относиться к Симионелу было одним из написанных правил этой деревни, и Хория всегда с большим старанием следовал этому правилу.

— Будь здоров, Симионел.

— Что, сгорела Звонница? — спросил он печально, но тут же его разобрал смех. Он быстро, обеими руками прикрыл лицо, потому что совладать с настроением уже не мог, и в то же время понимал, сколь кощунственным может показаться учителю этот смех. Хория ответил, глядя в другую сторону, чтобы не смущать его.

— Сгорела, вот, на нашу беду.

— А вы, говорят, все по больницам, — сказал Симионел. Сухо глотнул, подавился чем-то, стал откашливаться, потому что лез вовсю смех, а смеяться было не с чего.

— Был вот в больнице.

— Хорошо подлечили?

— Как будто ничего.

Нет, беседы у них решительно не получалось — Симионела мучил смех, и вот ведь напасть какая на его голову! Подумав, он присел рядом с учителем, на другой такой же обгоревший камень, и сказал тихо:

— Я вот с каким делом пришел сюда. Говорят, вы ищете ту самую книгу, что лежала здесь, в Звоннице, на столике...

У Хории екнуло все внутри.

— Да, я спрашивал одно время о ней... А что, уже показалась?

— Она, конечно, не показалась... — Он опять засмеялся и смеялся до конца, с удовольствием, потому что смех тут был кстати. — Она не показалась, но когда она вам будет нужна, вы мне скажите, и я ее вам принесу...

— Спасибо, Симионел. Она мне скоро-таки понадобится.

— Ну, тогда до свидания. Я спешу, у меня телка не поена.

Он встал, долго и весело спускался по склону холма, довольный тем, что смог быть учителю полезен, и пока он спускался, в душе Хории все как-то прояснилось, стало на свое место. Конечно же, надо снова, теперь спокойно, вдумчиво, писать книгу о древних памятниках Молдавии. У него теперь был в руках документ, которого не было во всей академии, и важно теперь подчинить этому все силы, все планы, все возможности.

Через некоторое время, когда он возвращался, возле одного из колодцев несколько молодух сплетничали о том о сем, как это водится в каждой уважающей себя деревне. Он поздоровался, прошел дальше и, уже спускаясь по переулку, услышал, как сказала одна молодуха:

— Все-таки вернулся к нашей Жене. Оставил свою Буковину и вернулся.

На что другая возразила:

— Да куда он денется, господи! Это же так редко бывает, когда и он красив, и она красива...

Хория глубоко вздохнул и улыбнулся, потому что вокруг снова пахло спелой айвой. Он уже не гадал, откуда и что, а погружался в этот туманный дух сладости, как погружается лемех плуга в сырую землю, зная, что нету ему других трудов и жизни другой, кроме этого вот труда и этой вот жизни.

стихи

Николай
Тряпкин

Пролетарии всех стран!

Пролетарии всех стран!
Сколько схваток! Сколько ран!
Сколько было! Сколько будет!
Пролетарии всех стран!

Это я вам тут кричу:
Ближе к нашему плечу!
Сколько воронов над нами!
Сколько дьяволов под нами!
Сколько скрюченных скелетов,
Пролетарии всех стран!

Ради хлеба и воды
Будем властны и горды.
Ставьте крепкие ветрила,
Пролетарии всех стран!

Ради неба и земли
Да не бросим корабли!
Да не рвутся наши нервы!

Да не рвутся наши глотки!
Да восходят наши звезды.
Пролетарии всех стран!

А расплатимся в бою —
Знайте родину свою.
Да святятся все языки.
Пролетарии всех стран!

Ибо всякий будет нищ
Без отцовских пепелищ.
Да не рвутся наши корни!
Да не рвутся наши ветви!
Да крепчает наше древо,
Пролетарии всех стран!

Слава нашему двору!
Слава отчему добру!
Да святятся наши годы.
Пролетарии всех стран!

У семейного огня
Вспомните про меня.
А со мною — ваши песни,
Пролетарии всех стран!

*

Земная тишина! Старуха богомолка!
Ты — мой ребячий сон, и все же вновь
приснись.
Грохочут рупора у каждого проселка,
И реактивный рев распарывает высь.
Земная тишина! Колыбка трав горячих!
Раздумчивая глушь окрестных деревень!
Хочу быть неглухим, хочу быть вечно
зрячим.
Пребудьте же во мне! И распахните сень...

*

Днем и ночью, снова днем и ночью
Подступают к сердцу те слова...
Да по всей Двине, по Заволочью
Раскидались песен острова.
И не нам менять сии скрижали, —
По-иному, значит, не смогли...
Мы кошель на Вычегде связали,
А слова с Онеги принесли.
Принесли вот так — по вольной воле...
Да пребудут в славе те края!
И пускай на песельном приколе

Запоет вся Ладога моя.
Да взревет над Свирью бор сосновый!
И тогда, не ведая преград,
Пусть пройдет над нами стоветровый
Огневой всемирный листопад.
И возьму я посох свой дорожный
И пойду весною в те концы.
И пускай с красою непреложной
Подступают к сердцу городцы.
Изопью воды у тех оконниц.
Чтобы в горле булькал соловей...
Снится Устюг, ласковый Олонец
И соцветья рубленых церквей.
И на крыльях славы и печали
Проплывут над нами журавли...
Мы кошель на Вычегде связали,
А слова с Онеги принесли.

Лев
Смирнов

*

Печь жарко топится в избе, но ни огня,
ни дыма...
Сидит ворона на трубе и смотрит
нелюдимо.
Всю ночь пустую колыбель качает мать
седая,
и иглы сбрасывает ель и корчится нагая.
Звонарь, наученный греметь во дни
молитв и гнева,
бьет билом в колокол, но медь
немотствует, как древо.
И летописец в темноте перед свечою
гнется,
перо скрипит, но на листе следов не
остается...
Среди болот, среди снегов клюка моя
ныряет.
Я в странном мире, где следов никто не
оставляет.
Я плачу, но глаза сухи, кричу, но крика
нету.
Здесь все, наверное, глухи, звать некого
к ответу.
И сам я глух, и сам я нем — куда иду,
откуда!
И незаметен я совсем для тамошнего
люда.
Мне снится сон: в туманной мгле
я по земле ступаю,

но, словно призрак, на земле следов не
оставляю...
Не оставляю я следов, сквозь вьюгу
пробиваюсь...
И от потрескивания дров внезапно
просыпаюсь.
Я выбегаю на мороз, растрепанный и
рыжий,
и, не стыдясь счастливых слез, вдруг вижу
дым над крышей.
И я среди этой тишины догадываюсь еле,
что где-то в мире быть должны пустые
колыбели,
беззвучные колокола, безливневые грозы,
незавершенные дела, непролитые слезы,
и вздох у жизни на краю и горькая удача...
И в душу детскую свою гляжу я, чуть не
плача.
Мир обступил меня навек, загадочный и
древний.
Какой там дождь, какой там снег за нашею
деревней!
И входят в душу навсегда печаль и
сострадание...
И надо мной горит звезда - далекого
призвания.

*

Зеленая лампа в окне,
картины и книжные полки...
А рядом по снежной стерне
голодные бегают волки.
За тонкой панельной стеной,
в двух метрах от теплой постели,
шаманствует ветер степной,
монгольские свищут метели.
Всю ночь, в средоточье ветров,
загадочный, словно химера,
мой друг археолог Петров
листает страницы Гомера.
На полках окутаны сном
старинные стрелы и луки,
но их двойники за окном
гуляют в обличий вьюги.
Висит на стене патронташ,
в буфете безмолвствуют блюда...
Бессонный летит карандаш,
кресты на полях остаются.
И топчется волк за межой,
и скоро у друга экзамен,
и, этой земле не чужой,

гомеровский свищет гекзаметр.

Монолог осветителя

У осветительных приборов
(своя у каждого звезда)
несостоявшихся актеров
мелькают тени иногда.
Ни торжества они не знают,
ни горьких творчества утех.
Лучом из мрака вырывают
чужое счастье и успех.
Таков и я. Но без сомнений
несу я груз нелегкий свой.
Ведь без подсветки даже гений —
почти как брат наш, рядовой.
Во тьме шуршаще-сокровенной
гори, обиды не тая,
перед пречистой нашей сценой,
лампада резкая моя!
На этом держится планета.
Суть не в названье ремесла,
а в отношениях тьмы и света,
любви и лжи, добра и зла.

Матрешки

Похоронит он старушку, и продаст свою
сторожку,
и заявится к нам в гости, весь в седицах
и траве,
и развяжет свой мешочек, и достанет
вдруг матрешку
чуть не возле Спасской башни в стольном
городе Москве.
Ах, матрешки, просто прелесть — весь
мешок бери за трешку!
Жаль, покойница не видит, как идет ее
товар.
Из матрешки извлечет он для наглядности
матрешку
и поставит всех по росту прямо так на
тротуар.
Будут пестрые туристы появляться
понемножку,
но старик наш заскучает в окруженье
непростом.
В самой маленькой матрешке он увидит
не матрешку,
а родимую старушку, что уснула под
крестом.
Побежит слеза, сверкая, в бороде ища

дорожку,
а старухина улыбка тяжело за сердце
возьмет.
Он похожую матрешку вложит в новую
матрешку,
но на новую матрешку та улыбка
перейдет.
Соберет он те улыбки и нырнет с толпой в
«метрошку»,
У Казанского вокзала снова вынырнет в
тоске...
А кустарную матрешку на фабричную
матрешку
сменит шумная столица, позабыв о
старике.
Но однажды мне приснится сон про
ветхую сторожку,
про полночные рассветы, про подземные
ветра
и еще про ту матрешку, про еще одну
матрешку,
и еще одну матрешку... так до самого утра.

Сергей
Дрофенко

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Летят стрижи

Те годы в памяти свежи.
Судьба к ним не была жестока.
Летят стрижи!
Летят стрижи!
И жизнь пока что у истока.
Я рос не за глухой стеной.
Во мне боролись мира страсти.
Явитесь, крылья за спиной!
Не мир — меня собой украсьте!
Тяжелый зной меня палил.
Метался день в полынном жаре.
А я парил.
А я парил.
Встречаясь в небе со стрижами.
Благословенно, детство, ты!
Былые дни высот не скрыли.
Явись же, ветер высоты!
Взрасти безудержные крылья!
Мир давний с нынешним свяжи,
Раздвинь нагромождений горы.
Летят стрижи!
Летят стрижи!

Летят стрижи!
Проходят годы...

*

Меркнет детство мое, словно сон
ускользающий давний,
но по-прежнему в памяти заперто крепко
на ключ
чувство счастья, с которым весной
я распахивал ставни
и впускал в нашу комнату
солнечный луч.
Гром замков и затворов,
капли горошины с веток,
свежий мартовский ветер, далекого поезда
рев,
гул телег по булыжнику, первые звуки
рассвета
принимал я как лучший
из всех мне доступных даров.
И с тех пор моя жизнь — это только
предчувствие света.
Радость входит в меня, когда льются
сквозь стекла лучи,
когда свет немигающ,
и прям, и стремителен — это
мне дороже всех благ,
что когда-либо я получил...

*

Снова снятся и видятся,
грузом горя ложатся на плечи
Маутхаузен, Лидице,
крематориев дымные печи.
Как все было поставлено
в лагерях на широкую руку!
Сколько было доставлено
человек на убийство и муку!
Из Литвы, Имеретии,
из боев и глубокого тыла.
Это в нашем столетии
производство налажено было.
Из Норвегии, Дании,
из Голландии, Франции, Польши.
Это чаша страдания.
Наполнять ее некуда больше.
Казахстан и Эстония.
Старики и кричащие дети.
Разве только история
то, что было недавно на свете!

Душегубы особые
при теперешних добрых порядках
получают пособия,
огурцы поливают на грядках.

Осень под
Севастополем

Когда дневной спадает жар,
вечерние играют зори,
тогда багровый солнца шар
безжизненно садится в море.
Когда уходит он ко дну,
судам дорогу преграждает,
тот миг особую волну
в дремоте этих вод рождает.
И море дышит сентябрем,
все в пятнах голубых и алых,
и отдаляющийся гром
грохочет, затихая в скалах.
И сумрачно горит закат,
и густо под луною спелой
сигналы длинные цикад
плывут в степи сухой и белой.

ПРОЗА

АЛЬБЕРТ ПИХАНОВ

ОБМАН

ПОВЕСТЬ

Продолжение. Начало см. в № 8 за 1973 год.

2

Он бежит по улице. Он бежит без шапки и без пальто.

Ветер рвется ему навстречу, швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Ветер старается остановить его, но он бежит, напрягая все силы. В глазах мелькают розовые кружочки. Со лба катится липкий пот. Сережа не видит перед собой ничего — прохожие уступают ему дорогу.

Неподалеку от больницы его настигает чья-то рука. Какой-то мужчина втаскивает его в машину. Сергей не может ничего понять. В машине оказывается тетя Нина. Она силой натягивает на него пальто и шапку. Сережа видит перед собой милицейскую шинель. Человек, который втаскивал его в машину, милиционер. Олег Андреевич. Машина тормозит.

Сережа вываливается в снег, вскакивает и, ничего не понимая, бежит к окну.

К тому, где вчера стояла мама.

Он с надеждой смотрит в окно. Потом кричит изо всех сил:

— Мама! Мама! Мама! Мама!

Он кричит отчаянно, словно тонет, и от этого крика в глазах появляются слезы. Он не плакал до сих пор. Крик помог ему заплакать. Он плачет и кричит, кричит и плачет. Слезы — это ничего, мелькает в голове, главное, чтоб мама... Чтоб она показалась.

У окна, где вчера она стояла, собираются женщины в таких же халатах, как мама. Сережа вглядывается в лица. Мамы среди них нет. Потом появляется человек в белом. Шевелит губами. Женщины мгновенно исчезают.

Сережу тянут куда-то. Олег Андреевич ведет его за собой. Они обходят больницу, толкают маленькую дверь, ведущую о подвал.

На них смотрят какие-то люди. Они одеты в белое, Сережа понимает только это.

Олег Андреевич шагает дальше, открывает какую-то дверцу. Сережа видит Никодима, тетю Нину. Они расступаются. Сережа не понимает...

Сережа смотрит перед собой и не понимает. Мама лежит, сложив на груди руки. Он смеется. Ерундовину тут все говорят. Она уснула. Сейчас проснется.

— Мама, — зовет он, падает на колени; хватает ее за руку, чтобы очнулась, и вдруг чувствует, как независимо от него, из самого нутра, поднимается хриплый вой.

Его берут под руки, ему дают что-то пить, но он ничего не видит, кроме маминого пожелтевшего лица. В ушах нарастает тонкий звон... У больницы толпятся люди.

Его трогают за руки, за плечи, что-то говорят. Сажают в машину, везут домой.

В квартире полно каких-то людей. Он видит бабушку. Бабушка открывает шкаф, перебирает мамину одежду. Ей молча помогает тетя Нина. Сережа не понимает, чего они хотят, его возмущает, что они копаются в маминых вещах, он отодвигает тетю Нину, пробует закрыть шкаф, но Олег Андреевич сильно сжимает плечо, уводит в сторону.

Сережа стоит. Потом сидит. Потом ходит. Снова сидит. Идет вместе с бабушкой к больнице. Передает какой-то узел. Возвращается обратно. Снова стоит. Ходит. Сидит.

Перед ним ставят тарелку с едой. Он с удивлением разглядывает ее. Ковыряет вилкой, встает.

Постепенно в квартире становится тише. Уходят незнакомые люди. Уходит тетя Нина.

Олег Андреевич еще сидит. Он сидит рядом с Никодимом, перед ними пустые бутылки. Бабушка приносит еще одну. Олег Андреевич встает из-за стола. Ему тоже надо идти.

Теперь их трое.

Никодим. Бабушка. Сережа.

Бабушка велит Сереже спать, он качает головой, но глаза слипаются. Он проваливается в черноту.

Дни похожи на мелькающие вагоны. Словно Сережа стоит на платформе, а перед ним мчится поезд. Вагоны сливаются в сплошную полосу. Сережа пробует схватить взглядом какое-нибудь окно, видит в нем чье-то лицо, поворачивает быстро голову, чтобы запомнить его, но вагон уже уносится, и в памяти остается только слабый силуэт... А вагоны мчатся, мчатся. Пронесются чьи-то летящие лица, и от этого мелькания, от этого стремительного бега голова идет кругом. Сережа чувствует, как слабость наливается в коленях, ноги подкашиваются...

Он сидит... Возле гроба ряд стульев. Бабушка, Никодим, тетя Нина. Он. Мимо мамы проходят люди. Вереница людей. Они идут, идут, идут. Иногда Сережа смотрит на них. Сколько людей знало маму! Люди идут — это похоронная процессия. Теперь по улицам за гробом не ходят. Все, кто хочет проводить, сядут в автобус и молча поедут. Процессия здесь. Возле гроба.

Вереница лиц в окнах летящего поезда...

В зал входят люди с трубами.

Играет музыка: бухают медные тарелки в такт с барабаном, стонет труба. Каждый удар медных тарелок, как электрическое замыкание: сотрясает все тело.

Мама лежит в гробу торжественная, нарядная. И чужая. Это уже не мама. Это только копия мамы. Неживое подобие.

Сережин взгляд выхватывает силуэты.

Какая-то старуха, пройдя мимо мамы, останавливается, низко, в пояс, кланяется гробу...

Женщина с трясущимися губами кусает платок. Это тетя Дуся, узнает он, вахтерша...

Олег Андреевич, кладущий в ноги красные-красные, как кровь, тюльпаны...

Сосредоточенное, вспотевшее лицо музыканта с трубой. Щеки у него раздуты, словно шары...

Круглые, непонимающие Котькины глаза...

Никодим...

У Никодима потерянное лицо. Он ищет кого-то взглядом, глаза его мечутся, неловко вытирает слезы кулаком... Сзади него стоит Литература. Она гладит Никодима по плечам.

Улица. Распахнутые настежь двери. Еловые венки с черно-красными лентами. Автобус с траурной полосой. Еще автобус. Машины.

Пурга кончилась. В окно между тучами выглянуло солнце. Рыхлый снег на кладбище слепит глаза, Сережа идет по нему, проваливаясь по колено.

Какой-то человек говорит речь.

И вдруг Сережа видит Никодима. Он спрятался за мать, снял один ботинок и, припрыгивая, вытряхивает из него снег. Вытряхивает снег...

— Пойдем! — говорит бабушка Сереже, но он не понимает: «Куда пойдем?»

Бабушка берет его за плечи, подводит к гробу. Бросается на маму, обхватывает гроб.

Сережа смотрит на бабушку тупым взором, жалеет ее. «Что ты плачешь, старая? — думает он. — Это же не мама все равно». Бабушку поднимают с земли, настает Сережина очередь.

Он становится на колени, целует маму в лоб.

— В последний раз! В последний раз! — шепчет за спиной кто-то. Сережа оглядывается. Тетя Нина. И тут он понимает: в последний раз! Он больше не увидит маму! Никогда!

Сережа смотрит на маму. Хочет запомнить навсегда. И не может, нет. Он видит исстрадавшееся это лицо, а представляет другое — смеющееся. На голове зеленый мохнатый берет с помпошечкой. Мама как медвежонок в старой своей шубке. Круглая вся. Вот озабоченно говорит: «Маму не забудь вызвать. И кровать купи». Вот стоит у стены в больничном халате и посылает Сереже в окно воздушный поцелуй.

Чем яснее представляет Сережа маму живую, тем неестественнее кажется она мертвая. Их нельзя соединить! Невозможно!

Сережа содрогается.

Нет! Этого не может быть! Не может быть, что мама смеющаяся и лежащая тут — одна и та же.

Он безудержно плачет. Его трясет.

Гремит оркестр, жутко бухая медными тарелками.

Кладбище отодвигается, подпрыгивает в заднем оконце автобуса. Скрывается за поворотом.

Потом дом. Какие-то люди, говорящие о маме.

Лица родственников из деревни, опоздавших приехать на похороны.

Лицо тракториста Валентина. Лицо Кольки. Вот и приехал.

Люди что-то говорят, какие-то слова. Колька ведет Сережу на улицу. Они разговаривают. Скоро возвращаются. Дома табачный дым, окурки. На столе тарелки, от которых мутит.

Растерянные глаза Вероники Макаровны. Никодим.

Никодим! Сережа разглядывает оловянного от водки Никодима, разглядывает его красные уши, похожие на лопухи, его невзрачное, серое лицо, и новая мысль обжигает Сережу. Конечно! Во всем виноват Никодим!

Если бы не он, мама не вышла бы замуж. Не собралась рожать. Если бы не он, мама бы жила.

Шаг за шагом, день за днем Сережа припомнил все, как было.

Приезд Никодима. Мамино решение. Разговор с Галей. Свадебное путешествие. День рождения. Аэродром.

Да пропади все пропадом! Провались в тартарары!

Пусть бы мама смолила папиросы, говорила грубо... Пусть бы жили они в старой комнате. Пусть была бы она несчастливой, только жила! Жила, а не умирала!

3

Наутро бабушка куда-то собирается. Зовет с собой Сережу. — Младенца-то поведать надо, — говорит она.

Младенца? Только теперь доходит до него это. Мама родила мальчика. Она умерла, когда его рожала.

Сережа мотает головой. На что ему этот младенец? Из-за него мамы нет.

Но тут же встает, одевается. Идет рядом с бабушкой. При чем тут младенец? Он даже не соображает ничего, такой малюсенький.

Сережа вспоминает, как мечтал о брате, когда возвращался с Котькой в троллейбусе. Как увлекла его мама разговорами про брата или сестру. Как хотела она еще ребенка.

В больнице бабушка теряется, суется в разные двери, но все не в те.

— Как про ребеночка бы узнать? — ловит она санитарку.

Санитарка останавливается, расспрашивает подробнее, потом исчезает, выводит врача. Врач — женщина. Полная, веснушчатая, добрая, с толстыми руками.

— Ребеночек живой, — говорит она, рассказывает подробности — про вес, про рост.

— Да как кормите? — пригорюнившись, спрашивает бабушка. — Без матери-то.

— Кормим, — говорит врач, — у нас возможности есть. Но без матери плохо.

— Уж куда там, — вздыхает бабушка.

Врач выспрашивает про. Никодима, узнает, что Сережа — старший мамин сын, что бабушка — мамина мама и никого больше у покойницы не было.

— Может, еще ребеночек не выживет? — спрашивает бабушка и плачет.

— Как? — не понимает Сережа, когда они обратно идут домой, и возмущается: — Что говоришь, думаешь?

— Думаю, — отвечает бабушка, — хватит одного тебя, сиротинки. Да ты большой, сознательный. Младенца-то ведь выкормить сперва надо, выходить, потом воспитать. Кому это делать? Никодиму? Да разве ж сподручно ему, нестарому мужчине, с младенцем? Я одной ногой в могиле...

Бабушка плачет, сморкается, приговаривает:

— Разве ж это дело, чтоб дети раньше родителей помирали?

— Я его выращу, — говорит Сережа о брате. — А что, устроюсь на завод, заработаю...

— И-и-эх, милый! — говорит бабушка и машет рукой. — Дай бог тебе самому без мамки ладом дорасти!

Сережа молчит, не согласен.

На другой день он идет в больницу, вызывает толстую врачиху, справляется про брата.

— Живой, — говорит она и спрашивает неожиданно: — А где же отец?

Сережа молчит, не знает, как ответить. Потом говорит: , ,

— Он болеет.

— Понятно, — вздыхает врачиха, смотрит на туфли. — Передай, что пока живой.

Вечером он говорит про маленького Никодиму.

Тот глядит на Сережу бесцветными глазами и ничего не понимает. Он как бы одеревенел после маминой смерти. Словно задумался о чем-то и от этой мысли оторваться не может — загнипнотизировала она его. Он даже плачет. Вдруг прокатится по щеке слеза, сомкнутся губы в некрасивую гримасу. Сережа смотрит на него безразлично, говорит про маленького его сына, но Никодим ничего не может придумать.

— Не знаю, — хрипло говорит он, — не знаю... Надо кормилицу искать. Или что?

Сережа не знает, какую кормилицу. Бабушка крестится в угол и молчит. От Никодима больше ничего не добьешься. Он окаменело сидит в углу, бессмысленно уперев взгляд в пол. Замер. Ни действовать, ни думать не способен.

Каждый день Сережа ходит в больницу, вызывает врачиху. Каждый раз узнает, что брат жив.

Надо ведь, соображает Сережа, придумать ему имя. Время идет...

Заботы о брате постепенно занимают Сережу. Это — единственное, что хоть как-то заполняет в нем безмерную пустоту.

Ожидая в больнице црача, Сережа тупо разглядывает картинки на стенах. Слушая разговоры женщин, сидящих в вестибюле, он стал смотреть на картинки более заинтересованно. Потом прочитал все подписи к ним, и не по одному разу.

В таблицах давались пояснения, как обращаться с новорожденными: как купать, чем кормить, как закаливать. Сережа выучил наставления едва ли не наизусть, узнал из женских разговоров, что в городе есть несколько детских консультаций, и при них молочные кухни, где новорожденным дают питание.

В школе с того зловещего, вьюжного дня он не появлялся. Уходил из дому с портфелем, заходил в больницу, потом сидел где-нибудь в кино, едва понимая, что происходит на экране. После кино слонялся по городу — наматывал километров по пятнадцати, не меньше. Это выручало: он приходил домой, ел и сидя засыпал от усталости. Когда узнал про консультации и кухни, ходить по городу стал осмысленнее: обходил улицу за улицей, читая вывески. Можно было бы просто спросить, но он, ничего не спрашивая, разыскивал нужные ему места, выбирал про себя то, что поближе.

Вероника Макаровна бывает у них почти каждый день. Или Никодим у нее. Всякий раз, когда учительница видит Сережу, она вкрадчиво говорит ему про школу.

— Горю не поможешь, — негромко внушает она. — Ты должен быть сильным. Пора закончить это самоистязание.

Сережа ей не отвечает, молчит. И что ответить — не может он в школу идти, и все, хотя правильно говорит, наверное, Вероника Макаровна, слишком правильно. Особенно про малыша.

— Я тоже была там, — рассказывает она. — Но чем я могу помочь ему, чем? И чем ты ему можешь помочь? Его мама спасти могла бы, только одна она...

«Это верно, — думает Сережа, — ничем я не могу помочь брату, но все равно, все равно...»

Утром встал — в больницу: «Жив?» «Жив!» Потом по городу версты наматывать, потом домой, чтобы кулем свалиться на диван.

Да, две недели полных прошло, как Сережа из школы не помня себя выбежал.

Две недели. Галя каждый вечер приходит. Веронику Макаровну повторяет, в школу зовет. Но он не может. Не может, и все тут.

Сережа обрывает листок в календарике. Одевается.

— Ну? — испуганно спрашивает бабушка. — Пошел? С богом! Ты хоть там, — где «там» не знает, голос ее растерянным становится, — бутерброд съешь. В портфель положила.

Сережа кивает.

— Готовь лучше приданое, — говорит он. — Скоро братана забирать будем. — Идет к порогу, потом, озабоченный, возвращается. — Ванночка есть? — спрашивает и спохватывается: — Сегодня поглядеть надо, где ванночки продают.

Он идет проторенной дорогой в больницу. Думает о том, что после ванночки придется покупать коляску. Еще погремушки. Это он купит сам. Выберет, которые поярче. Заботы о брате вызывают тихую улыбку. Сережа улыбается и сам не понимает, что улыбается первый раз за две недели...

В больнице ждать приходится долго. Врачиха на обходе, смотрит, наверное, этих голопузиков, и он опять сидит. Наконец она приходит, садится рядом с Сережей. Разглядывает его внимательно.

— Какой же ты хороший человек, — говорит она серьезно, — так заботишься о ребенке!

— Он болеет, — снова объясняет Сережа и кивает в сторону головой, — он в себя прийти никак не может, бабушка старая, да ей уезжать пора, а мне все равно делать нечего.

— Вот как? — говорит врачиха, разглядывая ногти. — Скажи все же отцу, чтобы пришел,

— Не может он, — упорствует Сережа, — совсем потерялся. Как маленький. Плачет. Боюсь, как бы чего не случилось.

— Ты правду мне говоришь? — недоверчиво спрашивает врачиха.

Сережа усердно кивает.

— Ну вот... — мнется она, — тогда пока ему не рассказывай. Бабушке скажи... Скажи, маленький умер.

— Как? — не понимает он. — Почему умер?

— Мама твоя... Одним словом, он слабенький был... Да еще без нее остался...

Сережа разглядывает веснушчатое лицо врачихи и говорит невпопад:

— А мы кровать достали...

Врачиха берет его за руку, гладит по голове, он шагает к выходу, забыв попрощаться.

Брат умер... И брат умер...

Он его никогда не видел и не может сказать поэтому, любит его или нет. Но это маленькое, незнакомое существо имело отношение к нему. У них была одна мама. Мамы нет. Ее не стало, но существо, рожденное ею, осталось и было его братом. Было, может, последним, что связывало с мамой. И вот его нет. Можно считать, и не было. И выходит, мама умерла зря.

Сережа идет с трудом: мешают слезы. Он заходит в какой-то подъезд, прячется за дверь, в угол, и плачет, плачет навзрыд.

Сзади раздаются шаги.

— Эй, ты! — произносит старческий голос. — Чего тут делаешь? Ну-ка, иди...

Сережа выскакивает из подъезда.

Он идет быстро. Он спешит. Он не был там целую вечность. И сейчас идет не для того, чтобы заняться моделью.

В кружке на него глядят вопросительно. Работает новая группа, и его не знают. Сережа идет в столярку. Просит материал, объясняет. Руководитель у столяров — старик усач, Сережа знает его, и он знает Сережу — материалы дает.

Испарина выступает на лбу. Сережа старательно строгаёт доски. Сколачивает ящик. Выходит слегка неуклюже, но что делать. Потом красит ящик марганцовкой, взятой в фотокружке. Несет под мышкой в больницу.

Доктор смотрит на Сережу, ничего не понимая.

— Вот сколотил, — говорит он подавленно, — сам, поскорей.

— Гроб? — догадывается врачиха, и Сережа кивает. — Мальчик! — говорит она. — Мальчик! Это же очень большой, — но спохватывается. — Ты зря, зря, — говорит она, — мы хороним сами таких маленьких. Понимаешь, сами. Ничего не нужно, пусть только потом придет отец. Когда поправится...

Сережа выходит из больницы с ящиком. Приходит с ним домой.

— Что за чемодан? — спрашивает бабушка.

— Младенец помер, — деловито отвечает Сережа и смотрит на бабушку взрослыми глазами.

4

На другой день Сережа возвращается в школу. Ребята смотрят на него, как на новенького. Да ведь так оно и есть, если подумать. Он теперь совсем иной, чем прежде.

В классе Сережа сидит тихо, не шелохнется. Но мало что слышит. Отвечает вяло, честно говоря, просто плохо. Но учителя его жалеют, ставят тройки. Кроме Литературы. Вероника Макаровна вызывает его часто, задает легкие вопросы, самые легчайшие, не дает до конца ответить, кивает одобрительно, ставит пятерки и четверки.

«Хочет подбодрить, — думает Сережа, — нашла способ!..» Ему эти отметки безразличны, как безразлично все. Почти все.

Он смотрит на Галю. Ждет, когда обернется. Грустно улыбается ей, ни на кого не обращая внимания.

Сережа ведь и на Галю теперь по-новому смотрит. По-другому видит ее.

Ему кажется, во всем классе ребята как ребята, кроме них с Галей. Остальные — школьники, пацанва, а Галя и он — взрослые люди. Им бы не в школе сидеть — на заводе работать, быть вместе с большими, потому что с ребятами им уже не интересно. Но делать нечего, приходится учиться.

В школу Сережа вернулся из-за Гали. Только из-за нее.

...Тогда она пришла к ним вечером, после смерти братишки, и вызвала Сережу на лестницу. Зрачки были расширены; от этого глаза ее казались черными, гипнотизирующими, решительными. Но смотрела она не на Сережу, а куда-то в сторону. И синяя жилка вздрагивала на шее.

— Сережа, — неожиданно сказала она, — поцелуй меня.

— Зачем? — ошарашенно спросил Сережа.

— Поцелуй, — снова велела Галя.

Сердце у Сережи стало раскачиваться. Он наклонился к ней, прикоснулся пересохшими губами к щеке.

— Не так! — сказал Галя. — Как взрослые...

Брякнула дверь, по лестнице кто-то шел. Они отпрянули друг от друга, отвернулись к перилам. Пока, насвистывая, прохожий шагал сзади них, сердце у Сережи раскачалось, как маятник.

— Ну, — обернулась Галя, когда шаги стихли.

— Чего ты придумала? — спросил он дрогнувшим голосом.

Сережа разглядывал Галю — ее застывшее от напряжения лицо и влажный лоб.

— Молчи! — сказала Галя, с силой зажмурила глаза и придвинулась к Сереже.

Он прикоснулся губами к ее губам, это вышло неуклюже, странно. Галя оттолкнула его и побежала вниз. Сережа кинулся домой, схватил пальто, помчался за ней и едва догнал, задыхаясь.

Они шли рядом.

— Ты что? — спросил он, потрясенный.

— Не думай, — сказала Галя, глядя в сторону, — ч тоже знаю. «Не отдавай поцелуя без любви!» — Она остановилась, сказала горячо: — Но тебя надо встряхнуть, понимаешь! Тебя надо оживить, а то ты тоже умер...

Поняв, он заморгал часто-часто и ничего не сказал ей. А наутро пришел в школу.

— Кто тебя научил? — спросил он ее потом.

— Никто, — ответила Галя. — Сама.

Он разглядывал ее во время уроков, смотрел удивленно потом, когда шли вместе из школы, поражался: как смогла она это придумать?

Сережа разглядывал себя как бы со стороны. Жизнь казалась ему тоскливой и серой, и только Галя в этой жизни была исключением.

Он в самом деле оживал... Когда серое, дождливое небо разрезает чистая голубая полоска, человек смотрит именно на нее — уж так он устроен. И тучи расходятся. Так должно быть, потому что этого ждешь. Не вечно же лить дождю.

После майских, когда отметили сорок дней с маминой смерти, бабушка уехала в деревню. На каникулы Сережа должен был приехать к ней, а дальше... Загадывать надолго никто не хотел, и что будет дальше, об этом не говорили. Бабушка считала — неудобно, надо подождать малость, пока Никодим отойдет. Никодим же молчал.

Никодим вообще вел себя странно.

То он замирал на целый вечер, уставясь в телевизор, и словно не замечал Сережу. То вдруг приносил охапку подарков — книги, сласти, пакеты с коллекционными марками — и весь вечер тараторил без умолку, говоря всякую пустяковину и ерунду. То исчезал дня на два, на три, говорил, пряча глаза, что ночует у матери, и Сережа хозяйничал в доме один: жарил себе яичницу, кипятил чай, мыл потом посуду.

К нему часто приходила тетя Нина, всегда с какой-нибудь едой — то покупала шашлыки в кулинарии или блинчики или приносила торт. Приходила и толстуха, жена звукооператора Виктора Петровича, приходили еще какие-то люди, знавшие маму. После них всегда оставались кульки, свертки — Сережа не отказывался от подарков. Он понимал: иначе они обидятся, они знали маму, и эти подарки как бы для нее.

Однажды вечером, когда Никодима не было, в дверь позвонили. Сережа открыл. Вошли какие-то незнакомые люди; он решил, что опять мамы знакомые, пригласил пройти.

Люди — их было трое, две женщины и старик, — внимательно оглядели квартиру: прошли по комнатам, заглянули в кухню. Потом в ванную, в туалет.

Сережа разглядывал их удивленно, мамы знакомые так себя не вели.

— А взрослые когда будут? — спросил старик. Сережа пожал плечами.

— Ну, а у нас, — сказала одна женщина, — однокомнатная и комната. Площадь примерно равная.

Сережа глядел на них непонимающе, никак не мог в толк взять, о чем они. Старик заметил это, .

— Мы по объявлению, — сказал он и назвал адрес. — Эта квартира?

— Эта, — не понял Сережа. — По какому объявлению?

— Объявление на столбе висит: меняют двухкомнатную квартиру на однокомнатную и комнату.

— Это какая-то ошибка, — рассмеялся Сережа. — Мы ничего не меняем. Кто-нибудь пошутил.

— Хороши шутки! — ворчал старик, притворяя за собой дверь.

«Кому в голову такая глупость пришла?» — подумал Сережа и, когда появился Никодим, рассказал ему о странных посетителях.

— Уже приходили? — рассеянно спросил Никодим.

Сережа обмер... Не может быть! Так, значит, это Никодим? Никодим... Он не верит этому, не верит, что Никодим способен вот так, вдруг. Ему кажется, миллион лет прошел с тех пор, как мама карточку Никодима порвала. Миллион лет назад он ненавидел его, не хотел, ни за что не хотел, чтобы вдруг стал этот чужой человек маминым мужем. Но потом все как бы переменялось. И это свадебное путешествие. И вся эта жизнь вместе. Он хорошо относился к Никодиму, тот нравился ему...

Но что же случилось? Он думал, так и останется навсегда. Даже после маминой смерти?

Сережу пробирает озноб.

— Поговорим? — предлагает Никодим и усаживается на стул. Глаза у него бегают. От страха? От стыда? Чего же стыдиться? Кто теперь Никодим Сереже? Никто. Мама их связывала, разве не ясно? Теперь мамы нет. Вот и все. Очень просто.

— Поговорим! — отвечает Сережа с трудом. А сам смотрит мимо Никодима, в зеркало. Разглядывает сам себя.

Обтянутые кожей скулы, прямой и широкий нос, мамины глаза. И вдруг плечи вздрагивают. Будто стоял он на краю обрыва, подошел к нему кто-то сзади незаметно и толкнул. И вот он летит с обрыва. Летит и не знает, что с ним будет. Не знает, как жить, что делать...

— Понимаешь, Сергей, — говорит Никодим с трудом, — теперь уж ничего не выйдет.

О чем он?

— Помнишь, я про загс говорил? — Лицо его покрывается пятнами.

— Помню, — говорит Сережа спокойно, — но вы не краснейте. Это я понимаю.

Никодим мельком взглядывает на Сережу.

— Ты меня никогда не простишь, я знаю. — Он потухает, опускает плечи. — Я не простил бы гоже на твоём месте. Но жизнь сильнее нас.

Сережа кивает задумчиво. Да, жизнь сильнее нас. А особенно смерть. Она все меняет. Хороших делает подлецами. Впрочем, хороших ли? Может, они всегда подлецами оставались, только рядом с хорошими это было незаметно.

— Когда ты вырастешь, — говорит Никодим, — и к тебе придет житейская мудрость, ты поймешь... Нам надо разъехаться сейчас. Разделить квартиру. Я ведь еще не старый, хочу устроить свою жизнь.

— Только в следующий раз, — горько говорит ему Сережа, — выбирайте жену помоложе. И чтоб ребенка у нее не было.

Он видит, как замирает взгляд Никодима.

— Я буду тебе помогать, — говорит Никодим. — Мы будем часто встречаться... Ходить в кино... В кафе-мороженое... — Никодим встает. Торопливо, суетясь, накидывает плащ, объясняет: — Бабушке я уже написал, она согласна и скоро приедет. За мебель тете Нине деньги отдам я, тоже не волнуйся. Но мебель ты можешь взять любую, хоть всю, понимаешь меня?

— Вот бы, — произносит медленно Сережа, — вот бы мама на вас теперь посмотрела...

Руки у Никодима трясутся.

— И еще, Сережа, — говорит он, пряча глаза, — еще вот что... Понимаешь... как бы сказать... — Он мямлит, топчется, что-то хочет пояснить, но что? Чего еще объяснять? — Вот что, Сережа, — говорит он, — моя мать, ну, Вероника Макаровна, она тут ни при чем, она меня даже осуждает, но я не хочу, понимаешь, чтобы ее имя... В общем, не говори в школе, ведь мы должны остаться друзьями, верно?

— Конечно, друзьями, — отвечает сдавленно Сережа, — а как же иначе, только друзьями.

Никодим нерешительно топчется в прихожей, словно хочет еще что-то сказать, пятаится к двери, приоткрывает узкую щель, подобострастно улыбаясь Сереже, пролезает в нее. Сережа тупо разглядывает Никодима, не в силах понять его поступков, и вдруг видит за его плечом, на лестничной площадке, знакомое лицо. Вероника Макаровна! «Чего она-то пришла, — думает Сережа, — сыночка поддержать?» И неожиданно понимает, что Вероника Макаровна не пришла. А стоит тут давно. Что Никодим зашел к Сереже для этого объяснения, а Вероника Макаровна стояла за дверью и ждала, чем все кончится.

Глаза у Вероники Макаровны бегают, смотрят нетвердо, она немного смущена, что Сережа ее увидел. Но что-то ей еще надо. Никодим уже на лестнице, уже отвернулся, готов бежать, готов скатиться колом по лестнице, а Вероника Макаровна все еще стоит перед Сережей, переминается с ноги на ногу.

Потом говорит робко:

— Вон там, в книжном шкафу, два денежных перевода на мамино имя. Ты их получи. Это от твоего отца.

Никодим, кажется, только и ждет этих слов. Срывается вниз по лестнице, будто куда-то спешит. Литература идет за ним, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку.

Все!

Сережа закрывает дверь на запор и прислоня голову к прохладному косяку. Было это или не было? Было ли? ' Было!

Сережа вспоминает аэродром. Красный, как молния, самолет, падающий на них. И лицо Никодима.

Это было давно, тогда, в дни Сережиного счастья. От того времени ничего не осталось теперь. Рожки да ножки. Да слова. О какой-то еще дружбе. О мебели. О деньгах.

Медленно выплывают из памяти слова Литературы.

Деньги от отца. Деньги. Какие еще деньги?

Он нехотя роется в книжном шкафу, находит извещения о денежных переводах. Два извещения по сорок рублей. От кого — непонятно, просто адрес и мамино имя.

Сережа мучительно соображает, как быть. Потом одевается, идет на почту — может, там известно.

Он идет неторопливо, обходит лужи. Раньше бы он прыгал через них, а теперь это кажется ему забавой для малолеток.

Высокое здание почты видно издали — Сережа разглядывает шагающие золотистые буквы и смотрит в окна верхнего этажа. Немногие знают, что там радиостудия.

Он вспоминает прошлую весну и день, когда он пришел к маме. Где-то там стеклянное окно во всю стену, «аквариум», обшитый изнутри материей, чтобы не было резонанса. Но у микрофонов, нагнувшихся, как цветы, теперь сидит не мама, а кто-то другой, наверное, артистка из театра. Впрочем, может, читает и не она, может, маме нашли хорошую замену, это все равно. Сережа не слушает радио. Подводка в новой квартире есть, есть и динамик, но его Сережа убрал, спрятал на антресоли, в дальний угол...

Почтамт велик, Сережа не сразу разбирается, где тут выдают переводы, стоит в очереди, потом сует голову в окошко... Вот неожиданность: ему улыбается жена звукооператора Виктора Петровича. Она скороговоркой выпрашивает Сережу про жизнь, про здоровье, про новости, сует ему конфетку; он отвечает ей односложно — разве расскажешь все! — потом протягивает талончики.

— Это маме прислали, — говорит он.

— Маме? — удивляется она, разглядывая извещение. — Значит, кто-то не знает... — Она исчезает, потом появляется, говорит радостно: — Договорилась! Деньги выдадим тебе!

Но Сереже деньги не нужны, ему надо выяснить, кто послал.

На обороте корешка он читает округлые разборчивые буквы: «Деньги за апрель», «Деньги за май». В конце слов — неразборчивая закорючка, подпись, зато обратный адрес выведен так же ясно: улица, дом, квартира... Авдеев Семен Протасович.

Сережа не понимает, в чем дело, зачем эти деньги, почему? Но слова Никодима жгут его... Врет он все, сивый лопух. Назад отработал, вот и оправдывается.

А сердце замирает... Если допустить только, если представить...

Сережа идет по адресу, указанному в корешке. Быстро находит улицу, дом. У дома много подъездов, вот в этом живет Авдеев. Сеража медлит. На лавочке сидят пацаны. Сережа справляется о Семене Протасовиче.

— Да вон он идет, — говорит один мальчишка, и Сережа видит полного человека в очках с тонкой, поблескивающей золотом оправой. В одной руке у него толстый портфель, в другой — «авоська» с молоком и сырками.

— Вас разыскивают, — говорят мальчишки Авдееву.

Он внимательно разглядывает Сережу.

— Что угодно, молодой человек? — Взгляд его цепок, быстр.

— Это вы, — спрашивает Сережа, — посылали деньги Воробьевой? Анне Петровне? — Он протягивает корешки.

Мгновение Авдеев стоит, застыв. Очки его поблескивают, и за ними не видно выражения глаз.

— Д-да, посылал, — говорит он медленно, потом быстро идет в глубь двора, подальше от мальчишек, то и дело оглядываясь, кивая Сереже и приговаривая: — Иди, иди, мальчик!

Его странное поведение удивляет Сережу, но он идет следом. У детских качелей человек останавливается и спрашивает резко: — Тебя как звать?

— Не имеет значения, — грубо говорит Сережа. — Я только хочу знать, вы ли посылали эти деньги. И зачем?

— Допустим, я, — отвечает мужчина, снимая очки и протирая их. Без очков он выглядит беспомощным, жалким. — Допустим, я, допустим, возвратил Анне Петровне долг. Что дальше?

— Тогда почему здесь написано: «Деньги за апрель», «Деньги за май»?

— Я знаю, тебя зовут Сережа, — говорит Авдеев, надевая очки обратно. Лицо его становится жестким и властным. — Но почему...

Сережа не дает ему договорить.

— Это правда, что вы мой отец?

— Я знал, чем это кончится, — будто жалуется кому-то Авдеев. — Я предупреждал!

— Отец? — Сережа трясется от волнения.

— Ну, раз ты догадался...

— Эти деньги вы посылали для меня? Авдеев кивает.

— Давно?

— Всю жизнь...

Он разглядывает Сережу, едва улыбаясь.

— Тебе был год, когда я видел тебя в последний раз.

«Какое мне дело, — думает Сережа, — какое дело, когда вы видели меня!...» Его качает, его даже поташнивает. Отец... Нет, тут что-то не так. Ведь его отец — летчик. Он разбился. Испытывал новый самолет, потом небо стало красным, как кровь, потом был взрыв... А тут сидит полный человек с волосатыми руками и мясистым, круглым лицом. Отец...

— Впрочем, — говорит Авдеев, — это сентиментальности. Наши с твоей мамой дороги давно разошлись, ты уже взрослый и сможешь понять. К тому же сейчас все проще. Я видел ее с полгода, издалека... Она, кажется, хотела подарить тебе братца, это так?

— Так, — потрясенно отвечает Сережа. — А деньги вы возьмите. — Он протягивает десятки, полученные на почте.

— Понимаю, — говорит, улыбаясь, Авдеев, — времена меняются. Ну что ж, это к лучшему. Но деньги ты отдай маме. Это мое джентльменское обязательство. У нас ведь и уговор такой был, что я тебя не увижу, этого требовала Аня, ничего не попишешь, от любви до ненависти один шаг.

У Сережи кружится голова. Ужасно кружится.

— Берите, — говорит он, сует Авдееву деньги и уходит. Он идет по двору и на полдороге останавливается. Нет, все-таки этого не может быть, Он возвращается к Авдееву.

— А вы не летчик? — спрашивает он с надеждой.

— Нет, инженер, — отвечает Авдеев. Сережа идет к воротам.

— Передай привет маме! — говорит вслед Авдеев.

— Ее нет, — резко отвечает Сережа. Он видит толстое лицо Авдеева, губы, расплывшиеся в улыбке, стальные, цепкие, не улыбающиеся глазки. — Она умерла...

Сережа не думает, что говорит, это для него не новость. Для него новость — этот отец. Как грохот пушки над самым ухом. Отец! Отец! Его отец, и Сережа не знает, как ему быть, куда ему деваться с этим отцом.

Лицо Авдеева разглаживается, от носа к краешкам губ прорезаются глубокие морщины, кажется, он окаменел. Потом Авдеев говорит. Что-то там говорит. До Сережи не сразу доходит смысл слов. Он кивает согласно. Но память возвращает гладкие слова, зацепившись за что-то. Как он сказал? Жива ли бабушка, мамина мама? Жива. Да, да, жива. Сережа понимает смысл этих слов, теперь понимает.

— Не страдайте, — говорит он. — К вам не прибегу.

— Сережа! — восклицает Авдеев. — Как ты можешь! Я всегда буду помогать тебе, давай пойдем к вам, теперь же, немедленно, я сделаю все, что надо, обстоятельства переменились, но жизнь сложна, Сережа, судить людей нетрудно, важно их понять...

— Слушайте! — обрывает его Сережа. — Слушайте! — Он молчит, и в паузе складываются слова, последнее решение в этом обмане. — Чего вы разоряетесь? Вас же нет! Вы умерли, понимаете? Разбились на самолете.

Сережа шагает по двору, и тяжелые, будто пудовые, руки тянут вниз. Ему хочется упасть на землю, закрыть руками глаза и ничего, ничего не видеть. Все в нем вывернуто. Будто поднял его кто-то за ноги и встряхнул так, что все внутри оборвал.

В его памяти был отец. Теперь его не стало.

Умерла мама, и исчез отец.

Ничего не видя, бежит он к Галиному дому, зовет ее во двор, заводит в какой-то закуток и просит, содрогаясь от страшного, тяжелого плача:

— Галя! Галя! Поцелуй меня! Я жить не могу,1,,

5

День рождения...

Год прошел, и опять у Сережи* день рождения. Пятнадцать... Совсем взрослый. Сережа разглядывает Понтю и Галю и думает, что в сравнении с ними он старик. Столько всякого в эти месяцы было!

В комнате, где живут Сережа с бабушкой после размена, тесно. Он никого не звал, но все пришли сами. Понтя и Галя — просто так, а тетя Нина нанесла гостинцев и даже вина — легкого, красного, похожего на густой морс, и Олег Андреевич наливает на донышко чашек всем, пропуская лишь Котьку.

— Что ж, Сережа, — говорит он негромко, серьезно, — рано кончилось твое детство, рано началась Взрослая жизнь. Но ты должен держаться, должен жить, должен своего добиваться — помнишь, ты же летчиком мечтал стать. Выпьем, друзья, за летчика Сергея Воробьева!

Сережа кривится. Должен, должен! Ничего не должен! И летчиком он не будет никогда, это все обман, ложь, розовые детские туманы.

Сережа пьет вино — сладкая водичка. Оно не оглушает, не отвлекает мысли.

«Что рассуждать?» — думает он. Времена меняются, как сказал его папаша Авдеев. Взгляды меняются. Мнения.

Он раньше все хорошие слова, сказанные людьми, глотал, не прожевывая, слоено голодный малек. Переел, видать, теперь от добрых слов его мутит. Даже если их Олег Андреевич говорит.

Стучат. Бабушка суетливо шаркает к двери, отворяет ее перед Литературой и Никодимом.

Сережа со стуком ставит на стол чашку. Литература тараторит поздравления, обходит стол, хочет поцеловать Сережу в лоб, но он демонстративно уклоняется — что за фокусы! — и она целует его в затылок.

— Вот тебе подарки! — говорит Вероника Макаровна, достает из «авоськи» мяч, альбом для марок, боксерские перчатки.

«Боже, — думает Сережа, — сколько истратила денег». И мысль о деньгах обжигает его.

— Мне ничего не нужно! — резко говорит он учительнице, но она даже не слышит его, усаживается на табурет, угодливо подстазленный бабушкой, приветливо улыбается Гале, Понте, кланяется персонально тете Нине и Олегу Андреевичу, сюсюкает что-то Котьке.

Никодим отошел. Но улыбаться открыто он как бы опасается, словно чего-то стыдится. Сережа нагло разглядывает Никодима, отмечает его ухоженный вид, изучает новый светлый костюм — раньше не было! — цветастый галстук — прежде он ненавидел галстуки, ходил вечно с расстегнутым воротом. Сережа видит, что Никодим смущается, губы у него прыгают, брови шевелятся. Он без нужды причесывает волосы, прокашливается, что-то говорит Олегу Андреевичу.

Сереже делается стыдно.

Кое в чем он разбирается теперь. Немного успокоился и разбирается. В общем-то Никодим — человек не дурной, не злобный, не хитрый, не подлец, и маму он, видно, любил. Но бывают же вот такие люди — они, как амебы, простейшие существа: легко меняют форму. Даже если их разрезать, половинки будут нормально существовать и не догадываться, что они лишь части целого. В природе вообще много всяких чудес. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, температуру тела; могут перестать есть, даже дышать, если нужно. И все для чего? Лишь бы жить. Жить любой ценой, несмотря ни на что.

Никодим такой же. Он встретил маму, и все было прекрасно. Разве забудешь то поле еозлэ стога, туман, похожий на молоко, Никодима и маму, собирающих цветы?

Он даже сильным стал: ведь когда Сережа его с Литературой в первый раз увидел, они спорили. Конечно, о маме, о чем же еще! Спорили, и Никодим пришел к ним и Веронику Макаровну не послушался: она же хотела, чтоб ему было лучше, сама говорила; а лучше, значит, не с мамой!

Сильный! Конечно, он сильный. Впрочем, может, и Никодима мучает совесть, но он сделал свое — и все. Точка.

Чего в самом деле! Он еще не старый. Ему жить надо. «Горю не поможешь», — внушала Сереже Вероника Макаровна. И сыну своему это же внушила.

«Про деньги — это тоже она», — думает Сережа, и при воспоминании о деньгах ему хочется вскочить, перевернуть стол, послать всех к чертовой матери. Он проклинает себя, проклинает бабушку за эту слабость, но что, что может поделать? Ведь он, если подумать, продал себя. Прогдал маму.

Дело было так. Когда они меняли квартиру, тетя Нина очень возмущалась. Она говорила, что Никодим не имеет на нее никаких прав, что квартиру давали маме от работы и она принадлежит только Сереже.

Сереже эти слова не нравились, он спорил с тетей Ниной, а Олег Андреевич все время повторял: «Пойми ты, у Никодима есть юридические права».

Двухкомнатную квартиру разменяли на однокомнатную и комнату. Никодим сказал бабушке: выбирайте, что нравится больше. При разговоре была Вероника Макаровна. Она добавила:

— Разъезд, конечно, неравноценный, но, если вы выберете комнату, мы компенсируем... Дадим вам триста рублей.

Бабушка оправдывалась потом:

— Ведь у меня же пенсия — всего двадцать четыре рубля, да твоя, за маму, — сорок. Разве проживешь на это? Порешай-ка арифметику: питание, квартира, одежда — ты ведь так и лезешь из нее...

Сережа свирепел, слушая бабушкины объяснения. Но последним доводом она его убеждала.

— А за мебель, которую себе взяли, надо с тетей Ниной рассчитаться? Или хочешь, чтобы Никодим платил? Он предлагает: нате...

Сережа помнит, он действительно предлагал.

— Чем эту подачку брать, — возмущается бабушка, — я уж лучше законную разницу за жилплощадь получу.

Много раз они говорили об этом. Обсуждали со всех сторон. И, выходит, Никодим тут ни при чем. Они как бы сами продали однокомнатную квартиру.

Сережа разглядывает своих бывших родственников. Едва они вошли, в комнате стало как-то напряженно. Все говорят, улыбаются, как и раньше, но неестественно, скованно. Вероника Макаровна, кажется, чувствует это, но старается не замечать. Воркует о чем-то с бабушкой, та вздыхает, кивает головой. В общем, по всему выходит, учительница тут ни при чем. Не она ведь въехала в эту однокомнатную квартиру. У нее своя жилплощадь имеется.

Наконец, Литература встает, раскланивается со всеми, расточая улыбки и добрые слова, Никодим повторяет все ее движения, они уходят.

— Зря ты переживаешь, — говорит Сереже тетя Нина, — надо было только не триста, а пятьсот взять, квартира все-таки мамина была.

— Знаете что, — неожиданно отвечает Сережа, — больше я в школу не пойду. Устроюсь работать. — Он усмехается. — В конце концов надо на что-то жить.

В комнате становится тихо. Потом начинает плакать бабушка.

— Разве же затем, — всхлипывает она, — я в деревне дом заколотила, к тебе приехала? Тебе учиться-то осталось два года.

— В школе два года да потом пять лет, — вздохнув, говорит Сережа, — нет, не выйдет, долго ждать

Чего ждать? Он знает, чего. Того дня, когда будут

у него эти проклятые триста рублей. Нет, не понимает тетя Нина его. Не нужны им эти сотни. И папашины деньги не нужны. Разве же не ясно — этими деньгами они откупаются от него. Хотят благородными быть. Пусть подавятся благородством своим.

Сережа смеется. Словно с него спал какой-то груз.

— Олег Андреевич! — говорит он. — Тетя Нина! Помогите устроиться! Чтоб рублей сто получать.

— Сто — это много, — улыбается Олег Андреевич. — Чтоб сто получать, надо специальность иметь. Да и куда тебе столько...

— Нужно! — мрачно отвечает Сережа.

— А что, может, и в самом деле! — Олег Андреевич обнимает тетю Нину за плечи. — Может, пусть поработает. А учиться можно и вечером.

— Что бы сказала Аня! — задумчиво говорит тетя Нина, вздыхает и с жалостью смотрит на Сережу.

— Вот вопрос: куда? — Олег Андреевич чешет лоб.

— Никакого вопроса, — отвечает спокойно тетя Нина. — К нам, на студию. Будет под моим присмотром. И Аню там знают...

6

®ережа дежурит через день. Должность у него — осветитель, платят семьдесят рублей, вполне прилично, он же еще несовершеннолетний, то есть не совсем полноценный работник. Сереже на телевидении все нравится. Тут всегда праздник!

Вечером перед передачей вспыхивают гирлянды мощных ламп, тетя Нина, непохожая на себя, подгримированная, усаживается за низенький столик, в последний раз листает текст — бумаги с напечатанными на машинке сообщениями, звукооператор подкатывает к ней «журавля» — микрофон, подвешенный к специальной металлической мачте с колесиками, операторы двигают свои тяжелые камеры, фиолетово сверкают объективы, прицеленные в тетю Нину.

Вдоль всей студийной стены, под потолком звуконепроницаемое стекло, как на радиостудии, но только больше, и за ним у пульта с десятками рычажков, контрольных экранов, кнопочек и лампочек сидят режиссер и его помощники. Ассистент режиссера

носятся в это время по студии с наушниками на голове, выполняет неслышимые остальным команды начальства.

Потом шелкает табло, мерцают слова, краткие, как приказ: «Тихо! Идет передача!» — и тут же на какой-нибудь камере вспыхивает красный глазок.

— Добрый вечер, товарищи! — улыбается тетя Нина. — Начинаем нашу вечернюю программу!

В студию врывается музыка, ассистент режиссера двигает заставку-картинку, нарисованную на картоне, — там цветы, или пейзаж, или название передачи, операторы крутят ручки своих камер, наклоняют их — выбирают ракурс — или жмут ногами на специальные педали, и камеры нехотя поднимаются на высоту...

Сережина работа проста. Под руководством Андрона, старшего осветителя, он наводит свет на выступающих, если надо, выставляет отражатели, добивается, чтобы не было ненужных теней, чтобы, к примеру, носы не бросали тени на щеки, — словом, стремится к качественному освещению лиц, фона, если надо, всей студии.

К тем, кого надо «высвечивать», как говорит Андрон, относится и тетя Нина. Сережа делает это с удовольствием. Глаза у тети Нины светятся, и он думает, что она удивительно походит на маму. Не внешне, нет, а вот всем этим ежевечерним волнением перед эфиром, маленькими приготовлениями, которые на первый взгляд ничего не значат, но в самом деле означают многое.

Установив свет, Сережа шепчет шутливо тете Нине:

— В шалаше шуршит шелками!

Она кивает ему, понимает, что Сережа волнуется за нее, продолжает строчку:

— Желтый дервиш из Алжира!

— И жонглируя ножами... — смеется Сережа.

— Штуку кушает инжира!

— Тихо, тихо! — кричит по радио режиссер. — Разбаловались, детки! Трехминутная готовность!

Сережа бежит на цыпочках в отведенный ему уголок, садится и молчит, как мышь. Он тут просто осветитель — и все. И не должен путаться под ногами.

Часто после традиционных «Новостей» всем, кто в студии, делать нечего до самого конца, когда диктор прощается со зрителями. Гаснут лампы, выключаются камеры. Режиссер на пульте курит, скинув пиджак, или даже дремлет. Остальные смотрят фильм по монитору или телевизорам, установленным в фойе, а Сережа любит поговорить с тетей Ниной.

Они сидят в дикторской перед большими зеркалами, отражаются в них многократно, а тетя Нина рассказывает случаи из практики Олега Андреевича, или про Котьку, или про маму — каким хорошим она была радиодиктором, таких в стране немного, не сыщешь днем с огнем. Сережа любит слушать рассказы о маме, а тетя Нина объясняет, что у каждого диктора должно быть свое лицо — творческое лицо, своя манера, свой голос, непохожий на других, так, чтобы тебя узнавали сразу, без объявлений, и у мамы все это было.

— Ведь в том, что я диктором стала, — говорит тетя Нина, — твоя мама виновата. Я заканчивала институт, участвовала в самодеятельности — стихи читала, и вот нас пригласили записаться на радио. Твоя мама долго разглядывала меня сквозь окошко в радиостудии — я вела студенческий концерт, а потом ухватила меня за рукав, все про меня выпросила, наговорила кучу слов про мой талант и сюда привела. Вот я и не инженер, а диктор. — Тетя Нина улыбается тихо, наверное, вспоминает маму. — Так что Аня — моя крестная мать.

— А не жалеете, — спрашивает Сережа, — что не инженер?

— Нет! — уверенно говорит тетя Нина. — Твоя мама влюбила меня в эту профессию.

Сережа внимательно разглядывает тетю Нину. Не верит он красивым словам, но тетя Нина говорит искренне и про себя, отчего же ей не верить? Говорит о маме.

Они молчат. Сережа думает о маме, о непонятном ее обмане, вспоминать который нет сил. Но надо, приходится.

— Тетя Нина! — говорит Сережа задумчиво. — А вы знали? Про отца?

— Нет, — отвечает тетя Нина, — не знала. Только накануне, как в роддом лечь, Аня мне рассказала. Словно предчувствовала... — Тетя Нина молчит, словно колеблется. — Этот Авдеев, — говорит она, — может, и неплохой человек. Он ушел к другой женщине, и мама вычеркнула его из своей жизни. Но она считала, что ты не можешь быть без отца. Пусть выдуманного.

— Почему же она лгала? — не понимает все-таки Сережа. — Разве бы я не понял?

— Не лгала! — останавливает его тетя Нина. — Ты считай, не лгала! — Тетя Нина смотрит на Сережу серьезно, требовательно. — Считай, что отец твой летчик, что он погиб, испытывая самолет. Ты подумай только: так мама хотела! Значит, она понимала, что делает. А ты был мал тогда, чтобы все понять.

Сережа думает. Мучительно думает.

Что ж, думает Сережа, пусть так и остается этот мамин обман? Пусть отец его считается погибшим летчиком. Но где его могила? Где его фотографии? Не зря же их нет, ведь невозможно же потерять сразу все, абсолютно все существующие фотографии... Так и жить, представляя вместо отца то Гагарина, то Чкалова, то неизвестных летчиков в высотных костюмах? Нет, это невозможно. Нельзя всю жизнь врать — себе, своим товарищам, потом, когда станешь взрослым, детям своим. Мама говорила: у каждого человека есть продолжение, будет оно у Сережи, но что ж, тогда и у лжи продолжение будет? Ведь не смогут же внуки неизвестного летчика думать о нем так, как думал Сережа...

Мысли у Сережи совсем не мальчишечьи. И разве их передашь? Разве расскажешь все тете Нине?

Он напряженно молчит.

Сережа разглядывает тетю Нину. Она красивая, счастливая, и сердце у нее доброе. Вот она и Сережу утешает, говорит, пусть так и будет, как мама выдумала.

Тетя Нина так говорит, потому что старается Сережу утешить. Потому что считает: он еще ребенок. Хочет, не хочет, а смотрит на него, как взрослая, сверху вниз...

7

— Ты мужик али дите? — дурачась, спрашивает Андрон.

Сережа держит деньги, свою первую получку, и рот у него до ушей. «Надо отложить немного, — думает он, — для тех трех сотен, остальное отдать бабушке, пусть больше не ворчит и не плачет».

Вечно у них из-за денег споры. А недавно просто скандал вышел. Грандиозный.

Сережа собрался в магазин, полез к бабушке в кофту за деньгами, а вытащил квиток от денежного перевода. Его аж пот прошиб — опять от этого папаши! И нате вам — на бабушкино имя!

Он устроил допрос с пристрастием, сперва бабушка округляла глаза, делала невинный вид, потом разревелась и все рассказала. По порядку.

Знала она, единственная из всех, чей Сережа сын. Знала фамилию его, имя, отчество, поэтому, когда переводы приходиться перестали, испугалась: мол, услышал про маму и затих, — выяснила адрес и явилась.

То ли просила его бабушка, а верней всего, сам предложил — этого уж Сережа добиться не мог, но Авдеев опять прислал перевод.

— Ты отвечай за себя! — кричал Сережа бабушке. — А за меня — нечего! Я работаю, поняла, мне его подачки не нужны!

Он забрал у нее сорок рублей, пошел на почту и отправил деньги обратно. Заполняя бланк, Сережа подумал и написал там, где оставлено место для письма:

«В ваших деньгах не нуждаюсь, буду возвращать всегда». В конце он хотел расписаться, поставить, как Авдеев, неразборчивую каракулю. Но раздумал. Вывел ясную букву «С»...

А вот сегодня у «С» — у Сережи — свои, заработанные собственным трудом деньги.

— Ну, дак мужик али дите? — повторяет Андрон. — Давай скинемся, обмыть же надо трудовое начало!

Сережа выкладывает, не раздумывая, трешку, остальные прячет в карман.

— Ну, идем! — велит старший осветитель и сокрушается: — Вот беда, послать бы тебя, да не дадут: ведь несовершеннолетний.

Сережа ждет его в парке возле студии, Андрон исчезает и быстро возвращается с двумя бутылками и пирожками.

— Гляди не подведи, — предупреждает он, — а то узнают, что с несовершеннолетним пил, еще выгонят.

Лицо у Андрона маленькое, с кулачок, какое-то иссохшее, в глубоких бороздах морщин и местами шелушится. Сколько ему лет, не поймешь: не молодой, не старый. Он разливает портвейн по бумажным стаканчикам — себе полный, Сереже — половину. Лицо его благостно разглаживается, еще немного — и он замурлычет от удовольствия.

— Тяпнем, — предлагает Андрон, — за начало трудового пути! И пусть в этом пути будет побольше передышек!

Они пьют, заедают пирожками; вино сразу уда~ряет Сереже в голову, ему становится тепло, он разглядывает Андрона с любовью и уважением, кивает, соглашаясь с его словами.

— Работа, она как гора! — философствует Андрон. — На нее сразу не взбежишь. Да и к чему? Впереди у тебя много лет, силы эконо~ь, пригодятся. Сделал рывочек — передохни, сходи в отпуск, возьми бюллетенчик, пораньше с работы отпросись, пока несовершеннолетний. — Он наливает еще. — И не рвись! — поучает. — Не рвись ввысь! А то что за жизнь, сам подумай! Работать да еще учиться! Потом опять учиться! Да снова учиться! Кончишь вуз, а уж устал, помереть охота. Но это только начало, выясняется. Дальше стараться надо! Перед кем-то выпендриваться, других оттеснять, выдвигаться! Тьфу на все это! Плюнуть и растереть!

Андрон разливает еще. Кусты, за которыми они сидят, шевелятся. Андрон суетливо прячет бутылку — перед ними стоит дружинник. Сережа разглядывает его внимательно; у дружинника скрючена шея.

— Э! — вскакивает Сережа. Он узнает дядю Ваню, балагура из больницы, соседа по палате.

— Ничегб, ничего! — говорит дядя Ваня кому-то за кустом. — Тут свои! Наши! — Он присаживается к Сереже, отнимает у него бумажный стаканчик, подставляет его Андрону: — Дай-ка лучше мне!

Андрон успокаивается, жмет руку дяде Ване:

— Первую получку обмываем!

— А ты чё? — говорит дядя Ваня. — Работаешь? А нашто?

— Мама у меня померла, — спокойно отвечает Сережа. Он вспоминает, как соврал тогда дяде Ване, что Никодим его отец, и хладнокровно восстанавливает истину. — А тот-то, помните? Он не отец.

— Отчим? — спрашивает дядя Ваня.

— Нет... Просто так.. Никто...

Теперь Сережа лежит в траве, разглядывает небо. Ему хорошо.

Чутьочку клонит в дрему, но он не спит, слушает, как философствует Андрон.

— Мы тут про жизнь, — объясняет тот дяде Ване. — Значит, на чем я остановился? Ну да! Плюнуть и растереть! Жить надо неспешно, куда торопиться, себя надрывать — на тот свет? Поспеешь. А на том свете все меж собою равны. И достигшие. И не-достигшие. Недостигшим-то еще и лучше, поди-ка. Хоть вспомнить есть что: жил, мол, удовольствия

ради, а не бежал наперегонки с другим, Ты вот, кто? — обращается Андрон к дяде Ване. — Асфальтировщик? На катке? Пра-льно! Пра-льно! Мудро, я бы сказал! Я вот тоже всего-навсего осветитель. Лампочками освещаю людей. Не бог весть, слышь? И не надо! Я не гордый. Я и так проживу, пусть другие ломаются: призвание, мечтания, тьфу — растереть и плюнуть!

«Ха, летчиком я хотел стать, — думает Сережа, — а вот и не буду! Буду осветителем, как Андрон, — просто и тихо. И не надо ломать голову, биться, выпендриваться, все верно он говорит».

Андрон сопит, допивает свой портвейн, а дядя Ваня говорит задумчиво:

— Заберу, однако, я тебя.

— За что? — поражается Андрон. — Вместе же пили!

— Вместе, — грустно соглашается дядя Ваня, — но я тебя не за это заберу. А за слова твои, понял? За твою философию. — Он берет Андрона за грудки, притягивает к себе. — Житуха-то у него и так не больно сверкает, понял? Так ее веселить надо, понял, а не паскудить, как ты! Масла в огонь не подливать, да еще мальчонке! — Он поднимает Андрона на ноги. — А ну давай!

У Андрона на лице страх. Он же «е знает, какой дядя Ваня балагур.

— Кончай! — говорит Сережа дяде Ване. — Не тронь. Это мой шеф!

— Шеф! — восклицает дядя Ваня. — Пьяница он, а не шеф... И тогда я тебя заберу! — говорит он Сереже. — Вставай. Пошли отсюда!

8

— Поди-ка, не емши? — спрашивает его дядя Ваня.

Сережа кивает головой. Все кружится перед ним, но ему весело. Дядя Ваня держит его под руку, куда-то ведет, и вдруг они оказываются в маленькой комнате, за столом. На нем дымит вареная картошка, а рядом сидят три лупоглазых пацана мал мала меньше и невысокая тетенька. Сережа узнает дяди-Ванину жену, пацанов, которые приходили все вместе в больницу, тыкает вилкой в картошку, но все время отчего-то промахивается.

— Ишь, развезло, — говорит, жалеючи, дяди-Ванина жена.

Сереже неловко.

— Я сегодня зарплату обмывал, — говорит он.

— Слышь-ка, — стучит дядя Ваня пальцем по краю столешницы. Палец у него твердый, как бы заостенелый, и стук от этого получается громкий. — Слышка, — говорит он, — ты этому черту пьяному не поддавайся. Не возжайся с ним, хоть он начальник твой. Обернуться не успеешь, голову закрутит, пустомел. Разве ж можно с такими идеями жить?

— Чё ты, чё ты! — тараторит Сережа, изо всех сил держа глаза открытыми. — Он все правильно. Без болтологии. Как в жизни, как на самом деле...

— Не как в жизни, — качает головой дядя Ваня. — Слабый он просто, понимаешь? Не повезло ему когда-нибудь, вот он и скис, придумал слова разные, чтоб оправдываться... Он ведь эти слова-то даже не тебе говорит, а самому себе. Себе внушает, что он правый, а остальные дураки. Сережа молчит. Думает.

— Если несчастье случилось или не повезло, надо, наоборот, сильнее быть, злей даже. Повезло — не повезло! Жизнь ведь не сани, сама никуда не везет, надо самому жизнь двигать!

Они выходят на улицу.

— Продышаться тебе надо, — говорит дядя Ваня. Сережа втягивает в себя прохладный вечерний воздух, голова свежеет, и в сон уже не тянет.

— Промежду прочим, — говорит дядя Ваня, — люди пьют с радости или с горя. Ну, понятно, получка — праздник, отметить можно, хотя скажу прямо: если бы мой пришел, так нагостевавшись, выдрал бы, как сивого мерина!

Дядя Ваня кипятится, а вовсе не балагурит. Что-то всерьез все принимает.

— Конечно! — говорит Сережа. — По-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны. Сами пьете, а мы что — хуже? — Он задирает дядю Ваню. — Сам-то шею как сломал? А?

Дядя Ваня молчит, сжимает и разжимает кулаки, нервничает.

— Ишь, въедливый какой! — сердится он. — Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть, черт бы тебя побрал!

— Вот, вот, — отвечает Сережа, — дети должны. А взрослые не должны.

Дядя Ваня не согласен с Сережей, но ему не хватает слов, что ли. Доказательств.

— Пойми ты! — восклицает он. — У взрослых жизнь труднее, вот, например, я...

Он умолкает, Сережа приготовился смеяться: раз про себя, значит, смешное, — ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная, одни нелепые происшествя, как тогда: из' окна в клумбу свалился.

— Ну, слушай, раз так, — говорит дядя Ваня, а морщины на его лице делаются глубже. — Никому не рассказывал, даже жена не знает, поэтому молчи, будь мужиком. Вот эта жена, с которой ты знаком, у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны, молодым совсем мальчонкой. И было двое детей у нас — две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел в армию, сразу же попал в окружение, когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. — Дядя Ваня закуривает, и Сережа видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дяди-Ванина тревога незаметно передается и ему, он уже не ждет забавного, а слушает внимательно, напряженно. — Получаю известие, — повторяет дядя Ваня, и голос его хрипнет, — что бомба, в общем, прямое попадание в щель, где они прятались. Детей сразу, на месте, жена умерла в больнице. Незадолго, пишут, перед тем получила обо мне извещение — пропал без вести. — Дядя Ваня вздыхает, долго молчит. — Вышел я из войны, помотался по белу свету. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, все вроде как заросло. Не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на юг, в санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, люблюсь прибором и вдруг, представляешь, вижу: идет навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра... Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились! — Дядя Ваня вздыхает, трет лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. — Видишь, как выходит. И радоваться вроде надо. А вроде и плакать. Нюра тогда не померла, хотя плоха была, ее эвакуировали. Ожила, после войны замуж вышла — считала меня погибшим. Тоже дети есть, семья... Вот и присоветуй, — оборачивается к Сереже дядя Ваня, — как быть? И любим-то мы с ней друг дружку по-старому. Может, крепче еще. И семьи новые ломать права не имеем.

— Почему? — спрашивает Сережа.

— Почему? — переспрашивает дядя Ваня и горько усмехается. — А потому. Из-за детей.

Из-за детей! Сережа сжимает шершавый дяди-Ванин кулак, благодарность теплой волной захлестывает его. Благодарность и горе.

— Оттого и пил я, — говорит дядя Ваня. — Через это и с подоконника упал, черт бы меня побрал.

— А вот мой, — Сережа, кусая губы, разглядывает в темноте дяди-Вакико лицо, — обо мне ко думал.

— Живой он у тебя, настоящий-то?

— Живой, — отвечает Сережа.

— Эх, дела! — говорит дядя Ваня. — Но ты, того, не хнычь, не распускайся. Волю свою держи. Бывает, что надо переступить себя.

— Переступить! — восклицает Сережа и повторяет, задумавшись: — Переступить...

Сережа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощание несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Сережи: у той Нюры, первой своей жены, не спросил даже адреса. И новой фамилии. Чтобы не было никакого пути назад.

— Пусть будет, как было, — сказал он ей, и она согласилась.

Сережа вздрагивает. Это кажется невероятным! Живые люди считают себя мертвыми!

Он вспоминает ребят дяди Вани: а ведь, правда, они не виноваты! Но и это еще не все. Можно невиноватых виноватыми сделать. Важно — думать, беречь, важно себя для других не жалеть, вот что.

Сережа невольно думает про Авдеева. Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их. Важно — бросил. Не захотел подумать, уберечь, важно, что себя пожалел.

А может, не так? Может, это мама бросила его?

Но все равно. Сережу знобит от обиды. Он с ненавистью сжимает зубы. И вдруг бежит.

Он бежит не домой — к Авдееву. Уже темно, в окнах гаснет свет. Сережа врывается во двор, где живет Авдеев, и орет во все горло:

— Авдеев! Авдеев!

Кто-то в майке выходит на балкон.

— Зачем ты явился? Кто тебя просил? — кричит Сережа.

— Не делай глупостей, Сережа! — отвечает тень на балконе.

— Не буду! — зло говорит Сережа. Он стремительно наклоняется, подхватывает с земли камень и швыряет в авдеевское окно. Раздается грохот.

— Есть! — шепчет себе Сережа и поднимает еще камень. Снова звенит стекло. — На! — кричит он. — На, гад! Получай!

В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, что-то кричат, но Сереже все равно что...

(Окончание следует.)

стихи

Светлана
Соложенкииа

*

И небо, и ветер,
и все на виду...
Цветущею степью
далеко иду.

Какие просторы!
А жизнь коротка...
Душа мне не в пору:
чуть-чуть велика.

Татарник лиловый
и мак из огня...
Нашла я подкову,
найти бы коня!

*

Вот поезд едет в Учалы,
а я не знаю, где же это...
Учась гуденью у пчелы,
он медленно вползает в лето,
как в глубь подсолнуха...
За ним
протиснусь в коридорчик тесный,
слепяще-золотой, чудесный,
где гость предчувствием томим,
что вот сейчас он выйдет в залы,
в круженье бальное и смех
и все, что жизнь не досказала,
доскажет музыка — за всех,
и с тувелькою — той, хрустальной, —
принц...
Но с гудением пчелы
меня от сказки, чуть банальной,
увозит поезд в Учалы.

Там, говорят, черники много...
Но не за ней же, грусть тая,
весь день железною дорогой
и золотою еду я!!

*

Так речка весело поет,
как будто кто-то в ней живет.
Несется песенка со дна...
Там бродит девочка одна

и не боится хищной щуки...
Она протягивает руки,
и к ней слетаются мальки,
как голубые мотыльки.

*

Под небом северным, тоскливым,
в скупом сиянии зари
цветут, цветут неторопливо
сиреневые сентябри.

Так называют их в народе —
густые мелкие цветы,
отчетливей всего в природе
сквозят в них осени черты.

День постепенно убывает,
а мы все ждем чего-то вновь...
Душа прожить не успевает

уже изжитую любовь.

Давно ли, кажется, в апреле
нам было жаль траву сминать.
Мы и запомнить не успели
того, что будем вспоминать.

*

Снег падает так безутешно,
как будто не будет зимы,
как будто пустую скворешню
не ветер качает, а мы.

Мне грустно: птенцы улетели.
Грустней, что они прилетят,
когда уже стихнут метели,
когда уже выстоит сад.

И, слушая щебет чудесный,
не думать я вновь не смогу,
как были нужны эти песни
деревьям, молчащим в снегу.

А впрочем, есть мудрость в природе,
И в долгом терпенье зимы,
и в том, что к нам счастье приходит,
когда уже счастливы мы.

*

У метели бессвязные речи:
из любви, из тоски, из обид...
Что я ей, безутешной, отвечу!
Разве сердце не так же болит!

Я всю ночь просижу у окошка.
Эти речи не так-то просты...
А когда рассветает немножко,
на стекле я увижу цветы.

Хризантемы... Зачем и откуда!
Из Японии! С дальней звезды!
Это самое странное чудо —
чтобы сердце утешили льды.

У природы не больше досуга,
чем у нас, позабывших давно,
как металась, как плакала вьюга,
расцветившая это окно...

Александр
Кушнер

Отказ от поэмы

Вот вы не пишете поэмы.
Что ж, подходящей нету темы!
Иль ваши мысли вне системы
Живут вразброд, как муравьи!
— Да, из меня плохой затейник.
Могу собрать свой муравейник.
Но остывают, как кофейник.
Благие замыслы мои.
Однажды я пришел к поэту.
Ее давно меж нами нету.
Я записал потом беседу.
Она спросила, например:
— Что важно выбрать для поэмы,
Помимо смысла, кроме темы.
Что кое-как умеем все мы! —
И важно молвила: размер.
Чтоб не боялся он простора,
Чтоб не наскучил слишком скоро.
Подобье мощного мотора
Иль махового колеса.
И я кивал и соглашался,
И мне казалось.- поезд мчался.
И рассмотреть я собирался
Во мраке рощи и леса.
В вагонном узком коридоре
Герой мой, как в ночном дозоре.
Смотрел в окно, и в хвойном море
Дым, как дракон, белел, зловещ.
Но видел я, спустя мгновенье.
Что мне звучанья и движенья
Не хватит на стихотворенье,
Не то что на большую вещь.
К тому же ритма перебои.
В поэме может быть любое:
Стоял один, а стало двое,
Но стыдно открывать в купе
Дверь, чтобы вдруг подстроить встречу.
Я сам себе противоречу.
Пройду, как будто не замечу,
Назло сюжету и судьбе.
Пройду и дверь прикрою плотно.
Пусть широкие полотна
Без нас рисует кто угодно.
Коль этот жанр теперь в чести.
А впрочем, кто не любит эпос!
Подстрочник выглядит, как ребус.
Мы взять беремся эту крепость,

Но как нам дух перевести!
А наш герой глядит спокойно.
И мы ведем себя достойно.
Ему печально или больно —
Зачем поэмы с'очинять,
Вести себя высокопарно!
Сошлемся на старенье жанра.
Все это так элементарно:
Он грустен! — Лучше помолчать.
Читатель, где-то в отдаленье
Живущий! Есть такое мнение:
Кратчайший путь — стихотворенье
Меж нами. Линий прямота
Уничтожает расстоянье
И дарит мне твое вниманье.
Как дико ветра завыванье!
Как жутко воют поезда!
Дорожные мелькают знаки.
Пером вожденье по бумаге
Не большей требует отваги,
Чем слово твердое и взгляд.
Прямой поступок — вот реальность,
Не меньшая, чем гениальность,
Его пример и моментальность
Слепит, как дуговой разряд.
Мигают звезды на приколе.
Россия, вспаханное поле.
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне.
О чем ночные наши мысли!
Боюсь сказать: о смысле жизни.
Но жизнь в каком-то главном смысле,
Акт, героический вполне.

*

Перерастает человек
Земную жизнь свою.
Он попадает, словно снег,
В воздушную струю.
И видит в ракурсе другом,
Летя во тьме ночной,
Себя сидящим за столом
Наедине с бедой.
И, раздвигая эту ночь
Движением крыла,
Он видит, как себе помочь,
Как выправить дела.
Но, видно, там, на высоте.
Среди воздушных ям.
Он охладел к своей беде
И поостыл к делам.

*

В черной трубке услышав отбой,
Надо было с дрожащей губой
Выйти молча в пустой коридор.
Дверью хлопнуть, спуститься во двор,
Пробежать среди пестрых теней
От кипящих его тополей,
Сесть в любой сумасшедший трамвай
И покинуть свой город и край.
Материк, вообще шар земной —
Все оставить навек за спиной.

Лавр

Не помнит лавр вечнозеленый.
Что Дафной был, и бог влюбленный
Его преследовал тогда;
К его листве остроконечной
Подносит руку первый встречный
И мнет, не ведая стыда.
Не помнит лавр вечнозеленый,
И ты не помнишь, утомленный
Путем в Батум из Кабулет,
Что кустик этот глянцевитый.
Цветами желтыми увитый.
Еще Овидием воспет.
Выходит дождик из тумана,
Несет дымком из ресторана,
И Гоги в белом пиджаке
Не помнит, сдал с десятки сдачу
Иль нет... а лавр в окне маячит...
А сдача — вот она, в руке.
Какая долгая разлука!
И блекнет память, и подруга
Забыла друга своего,
И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало.
Никто не помнит ничего.

Вадим
Кузнецов

*

Ни двора у меня,
ни кола,
отчего ж так мучительно-сладко
прирастаю к земле,
как посадка
за оградой степного села!

Прирастаю душою к земле —
огневой, неудобной и милой,
к топольку над отцовской могилой,
к угольку в неостывшей золе.
Понимаю извилистость рек,
принимаю гранитную цельность,
уважаю
прямолинейность
рыжих сосенок, рвущихся вверх...
Век
со звоном по улице мчит,
как мальчишка,
толкающий обруч.
Но восходит созвездие в полночь
и в окне до рассвета торчит.
Но любимая спит на руке,
беззащитная, словно былинка,
и вздыхает во сне.
И слезинка,
высыхая, блестит на щеке...

*

Какому богу я служу!
Служу не богу, а богине.
Не для смирения гордыни
в высокий храм ее вхожу.

Не чужестранец, не изгой,
к ее ногам я припадаю,
как будто голову роняю
в колени матери родной.

И о прощении молю
за то,
что вел себя жестоко,
стесняясь ей сказать до срока
такое нужное: «Люблю!»

Пусть эту тяжкую беду
я совершил чужим стараньем,
но и без этого признанья,
случись беда — я пропаду.

Я заблужусь в родных лесах,
в родных равнинах я застыну...
И вот уже
она, как сыну,
прощает мне
мой стыд и страх.

Благословляет на борьбу,

кладет ладони мне на плечи
и душу
светлой верой лечит
в свою великую судьбу.

И я упрямее служу
моей заступнице и силе,
моей любви,
моей России!
И этой службой — дорожу!..

Другу

У берез седые прядки
в зелени кудрей.
Не печалься!
Все в порядке!
Осень у дверей.
Жили мы —
как пели песню,
дней не берегли.
Оглянулись:
в поднебесье
плачут журавли.
Поглядели:
за деревней
выросли скирды.
Присмотрелись:
на деревьях
вызрели плоды.
Что же, друг,
пошутим снова!
Только все слова —
бесполезная полова,
злая полова.
И от этой вещи были
хоть сойди с ума.
Сами мы б себя простили —
не простит зима...

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Ю. ОСМОЛОВСКИЙ

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Виктор Иванов — художник счастливой творческой судьбы. Он совершил для себя то необходимое «открытие мира», которое явилось живительным источником для его искусства, определило его героев и его художнические привязанности.

Путешествие в «мир Иванова» начинается на станции Шелухово, Рязанской области, где родилась и жила мать художника. Именно здесь, на Рязанщине, ежегодно он сходит с поезда, и начинается удивительное вторжение в мир, открытый для себя, а потом для нас,

зрителей его картин. Творческим пристрастием художника стала жизнь современной деревни, добротная и прочная в своих нравственных и трудовых устоях.

Человек и земля — этот лейтмотив проходит через все полотна, как и единый герой — русская женщина, связывающая воедино работы мастера. Человек и земля, его породившая и кормящая, в картинах Иванова находятся в той слитности, которая определяет весь смысл жизни, ее гармонию и красоту. В деяниях раскрывает нам живописец жизнь человека, труд которого обретает возвышенно художественную поэтизацию, будь это труд крестьян или художника («Рязанские луга», 1967, «Автопортрет с дочерью», 1972).

Картина «Полдник» (1966) прославляет женщину, все вокруг себя объединяющую, прославляет мощь народную. Здесь все художественные средства подчинены этой задаче. И солнечный горячий колорит, и круговая композиция, и обратная перспектива, направляющая взгляд зрителя на центральный образ. Интересно, что в этом произведении Иванов тонко и оправданно использует традиции древнерусской живописи. Эти традиции не становятся самоцелью, а обретают современные черты для выражения нашей действительности.

Жизнь в ее многообразных проявлениях волнует и вдохновляет художника. Образ женщины-матери главенствует и в его картине «Человек родился» (1969), воплощающей счастье и нежность к человеку, пришедшему в этот мир. В полотнах Иванова есть та чистота, искренность, лиризм, что близки работам прекрасного художника Венецианова.

В творчестве Виктора Иванова ясное и глубокое выражение нашел тот процесс изучения, освоения и развития русских национальных традиций, который так широко захватил в последние годы наше изобразительное искусство. Живая связь с современностью, знание истории и жизни народа, верное понимание его характера и художественной культуры создали художнику необходимые условия для воплощения действительности. Главное для Иванова в его работе — это проникновение в бытие народа и среды, в которой он живет.

В картинах Иванова всегда важен пейзаж, определяющий душевное состояние героев, этим художник как бы подчеркивает неразрывную связь человека и природы. Потому для постижения жизни людей Иванов обращается к жанру пейзажа, через который мир видится многообразно, поэтично.

В произведениях Иванова есть тот музыкальный строй, что сродни русской песне, то протяжно-задумчивой, то счастливо-умиротворенной, то лирически-щемящей. Классическая ясность композиционного решения, насыщенность цвета, образное раскрытие мира — примечательные черты творчества художника. Он «лепит» образ человека широко и выпукло, выявляя его суть и характер.

А. В. Луначарский писал: «Кто не мыслит в образах, кто не является человеком глубоких переживаний, выливаемых в образы, — тот не художник. Он может быть только «мастером» — в том смысле, что строит некоторые комбинации, из которых кое-что, может быть, пригодится другим, настоящим художникам».

Искусство Виктора Иванова впечатляет своей глубокой образностью, высоким мастерством исполнения. Оно, это искусство, как у каждого настоящего художника, — в развитии, в пути.

ДНЕВНИК КРИТИКА

КОНСТАНТИН ЩЕРБАКОВ

по следам
нестоличных
премьер

Анатолий Алексии написал повесть о театре — «Действующие лица и исполнители...». Точнее — о периферийном молодежном театре. Последнее для меня

чрезвычайно существенно: коллективов, подобных тому, о котором рассказал писатель, мне доводилось видеть не один и не два. И думать об их совершенно особой судьбе и совершенно особом месте в сегодняшней нашей художественной жизни. И вдруг повесть — такая узнаваемая з своих штрихах и деталях, такая близкая по ходу мысли, по всему своему внутреннему настрою... Поэтому с нескольких соображений о «Действующих лицах и исполнителях...» я и начну эти свои отнюдь не литературно-критические заметки.

Что мешало спокойно жить Андрею Лагутину, молодому режиссеру, главному герою повести? Не успокоенно, а именно спокойно, занимаясь беспрепятственно тем, что считал для себя творчески важным. Получил постановку в хорошем, прочном, богатом традициями ТЮЗе, и не какую-нибудь постановку, а «Ромео и Джульетту» — то, о чем мечтал. Встретили его по-доброму, создали, как говорится, условия. Да он, собственно, и ставил свой спектакль и ничем иным искренне не хотел заниматься. И, помимо своей воли, оказался в центре назревавшего в театре конфликта, стал катализатором его. Помимо своей воли, но совершенно закономерно, ибо по творческой, гражданской сути оказался той самой личностью, которая нужна сейчас театру, ощутившему опасность творческого застоя. Андрей по натуре созидатель — созидатель спектаклей и творческого коллектива единомышленников, и коллектив этот начинает вокруг него складываться, при том, что он не ставил себе такой задачи и уж, во всяком случае, не имел никаких официальных полномочий.

Андрей открыт, доброжелателен и очень покладист в бытовых взаимоотношениях. Любопытно, что качества эти свойственны и Николаю Николаевичу Патову, главному режиссеру театра, и он очень старается ладить с Андреем, (как, впрочем, и Андрей с ним. Внешне их отношения вовсе не конфликтны, но столкновение внутреннее назревало неотвратимо.

Патов — интеллигентный, знающий человек, немало поработавший в театре. Но вот появилась накатанная колея, и желание хоть как-то отклониться от нее, хоть что-то, тряхнув стариной, попробовать заново, — такое желание возникало все реже. И чем меньше было в настоящем живого дела, тем обширнее рисовались Николаю Николаевичу его прошлые заслуги, победы, поиски. Такое смещение, искажение представлений весьма характерно для людей, не устоявших перед соблазнами роли морального пенсионера от искусства. А может, просто не хватило Патову данных, чтобы жить иной, более достойной ролью?

И когда, несмотря на искренние попытки взаимоприятия, творческие позиции Лагутина и Патова поляризуются, Андрей нелепо умирает от тяжелой болезни, которую, по врожденной деликатности своей, пытался скрыть от окружающих. Умирает, не успев поставить ни одного спектакля, но несколько месяцев его работы в ТЮЗе не прошли даром. В чем-то коллектив уже стал другим, ибо ощутил возможность иной жизни, иной работы. Не то чтобы даже совсем заново ощутил, а вспомнил — в новых условиях, на новом уровне понимания — то, что было когда-то, при Петре Васильевиче, прежнем главном режиссере театра. Ощутил, вспомнил, и стало приходить сознание, что иначе, если ты хочешь остаться художником, — иначе нельзя. И трудно, может быть, невозможно будет теперь Патову в этом, казалось, таком спокойном театре...

Анатолий Алексин показал очень типичную жизненную ситуацию, и в исключительном ее, трагическом финале, который был избран писателем, конечно же, содержится нравственный урок и нравственный смысл. Но таких ребят, как Андрей Лагутин, в нашем сегодняшнем театральном искусстве немало, они, быть может, — знамение времени. И их взаимоотношения с театрами, где они оказываются, с городами, где живут эти театры, с патовыми, какие бы должности патовы ни занимали, какими бы характерами, доброжелательными или неуживчивыми, ни обладали, — взаимоотношения эти обычно имеют продолжение, приобретают самые разные направления, нюансы, оттенки и заканчиваются по-разному, если вообще заканчиваются... Об этом сегодня и пойдет речь.

Несколько лет назад любители театра столкнулись с явлением любопытным и неожиданным. Спектакли театров юного зрителя, молодежных театров все чаще

оказывались событиями, определяющими уровень культурной жизни города, образцами наибольшей современности художественной мысли и формы.

Начало, и до сих пор, наверное, образец — это «Современник». В 1956 году, впервые за много лет, молодежный театр возник, так сказать, по инициативе снизу, когда сперва появилось содружество талантливых людей, объединенных общей гражданской, художественной идеей, а потом, после множества опасений и сложностей, штатное расписание, это содружество узаконивающее, а не наоборот. Путь такой плодотворен, ибо создать штатное расписание все-таки легче, чем содружество единомышленников, и часто бывает так, что при полном наличии первого второе имеет место далеко не всегда... И вот молодежный театр «Современник» с его изначальной заданной атмосферой студийности, заставляющей вспомнить, как входили в наш театральный обиход и что для него значили мхатовские студии.

Однако плодотворный этот путь, разумеется, нельзя считать единственным при создании живого художественного дела. Скажем, нынешний Ленинградский ТЮЗ — пример того, как в старый, богатый традициями театральный организм влились свежие, животворные соки. Без традиций не обойтись ни в том, ни в другом случае. Я не представляю себе, что получилось бы у Зиновия Яковлевича Корогодского, главного режиссера Ленинградского ТЮЗа, если бы не воспринял он глубоко, органично, творчески заветы, принципы основателя коллектива Брянцева, других его выдающихся мастеров. Наверное, мало что получилось бы. И «Современник», яростно ниспровергающий театральную рутину, — это, конечно же, плоть от плоти Московского Художественного театра с его глубоким психологизмом, жизненной правдивостью существования человека на сцене.

Дальше, однако, я буду говорить не о «Современнике», и не о Ленинградском ТЮЗе, и вообще не о Москве, не о Ленинграде, не о Киеве. А о Целинограде или, к примеру, Воронеже.

Я был в Целинограде и в Воронеже как раз на волне первого энтузиазма, когда работа по шестнадцать часов в сутки считалась делом естественным, бытовые трудности — несущественными, легкопреодолимыми, борьба с рутинной и косностью — почти выигранной, а собственные достижения на фоне того, что было, рисовались преувеличенно, представляли в излишне радужном свете. Рассказывая в свое время об этих театрах, я, наверное, сам был отчасти под гипнозом такого энтузиазма, и сложностям работы, внутренним и внешним, должного значения не придавал. В общем ведь все складывалось и вправду здорово, и не хотелось думать, что за взрывом энтузиазма неотвратимо последуют будни. А как-то готов к ним, к этим будням, молодежный коллектив, столь многообещающе о себе заявивший?

Был я и в Рязани и в Петропавловске во время гастролей знаменитого тогда Павлодарского драматического театра имени Чехова, и в Ахалцихе — это такой маленький город в Грузии, на границе с Турцией. Словом, в разное время мне довелось увидеть немалое число периферийных молодежных театров, подружиться с артистами, режиссерами, в них работавшими. Я писал об этих театрах и об этих людях в «Комсомольской правде», радуясь их успехам, огорчаясь бедами, пытаюсь доискаться корней того и другого. Писал, чем-то обогащая собственный человеческий опыт на практике их работы, многое начинал понимать по-новому.

Чем определяется непрочность, хрупкость подобных художественных организмов? Или, напротив, способность, как бы ни сложились обстоятельства, закалиться, выжить? Есть ведь, наверное, какие-то общие закономерности. И, возможно, они приоткроются, если суммировать, свести воедино наблюдения прошлых лет... И вот я обратился к своим статьям, записям разного времени, и заранее прошу у читателей извинения, если некоторые из них я использую в настоящей работе. Так, думается мне, нагляднее, зримее предстанет движение времени, и какие-то черты формирования молодежных театров, а может быть, и более общие проблемы, за этим кроющиеся, обозначатся живее, рельефнее. Первая встреча с

периферийным молодежным театром, заставившая задуматься о судьбе подобных театров вообще, состоялась у меня в 1941 году.

Целинный краевой драматический театр размещается в старом купеческом доме, глядя на который легко утверждать, что архитектурные пристрастия купца даже по тому времени были не слишком прогрессивны. Центральный вход в театр новый. Он выполнен в неброской, но достаточно эффектной современной манере по проекту молодого архитектора Владимира Колпикова. В том же стиле было оборудовано фойе, заставленное, правда, старыми, продавленными креслами (средств на приобретение новых не отпустили). Замысловато-абстрактный рисунок на потолке — черные ломаные линии по белому фону — поначалу несколько даже ошарашивает своей вызывающей экстравагантностью. (Это потом я узнал, что потолок был весь затянут трещинами, точно паутиной, и сколько их ни замазывали, трещины проступали вновь. Тогда-то и возникла конструктивная идея: обвести трещины черной краской.)

А спектакли Целинного театра — это в известном смысле продолжение того, что вы видели, поднимаясь по ступеням главного входа, проходя через фойе: современное соседствовало здесь с очевидной архаикой; неожиданные режиссерские ходы — с теми, что давно уже испытаны, апробированы; актерская правда, психологизм — с примитивом, игрой «на публику». Точнее, не соседствовали, а боролись. Мастерства мало, профессиональные просчеты видны невооруженным глазом, но сценическое действие подчиняет себе, завораживает веселым победительным напором его участников во главе с молодым главным режиссером Александром Смеляковым. В каждой реплике, в каждой мизансцене словно бы рвется наружу озорное, азартное — знай наших!

Действительно, знай наших! Группа энтузиастов начала практически на пустом месте, театр был так развален, что, считай, его не было. И вот плоды полуторамесячной деятельности.

Здание, пребывавшее в катастрофическом состоянии, отремонтировано и даже, как я уже успел заметить, «выглядит». Отремонтировано, конечно, с помощью строителей, но во многом — собственными руками.

К открытию сезона подготовлено три новых спектакля (весь старый репертуар снят как антихудожественный).

Налажены дружеские контакты с комсомолом, с молодой интеллигенцией города. И театр уже — культурный центр, и уже возник на его базе клуб творческой молодежи...

Перспективы захватывающие, планы отважные, по сей день жива во мне память о неотразимом обаянии этой отваги.

После Целинограда я «заболел» периферийным молодежным театром. Так хотелось снова окунуться в эту атмосферу безудержного энтузиазма. Где? Наверное, ведь не только в Целинограде происходит такое. Разумеется, не только. В этом я убедился, через год побывавши в Воронеже.

В тот вечер в Воронежском ТЮЗе в постановке главного режиссера Бориса Наравцевича и Ксении Грушвицкой играли новый спектакль «Джордано Бруно» по пьесе ленинградского артиста Олега Окулевича. Опыт сочинения трагедии со стихотворными монологами Окулевич предпринял давно, будучи совсем молодым. Вряд ли есть необходимость доказывать, что опыт получился во многом наивным, несовершенным. Разобраться стоит в другом — почему спектакль «Джордано Бруно» в Воронежском ТЮЗе имел заслуженный и честный успех, волновал, рождал ассоциации и наводил на размышления, выходящие за рамки одного театра.

Пьеса сильна своей искренностью и чистотой. Вам очевидно, насколько был сокровенен для молодого автора образ Джордано Бруно, как жизненно важно было ему написать о человеке, готовом взойти на костер за идею, во имя поисков истины. Хорошо, когда именно такой образ живет в сердце художника, еще лучше, когда он зажигает целый коллектив, молодежный коллектив — актерский ансамбль воронежцев, средний возраст

которого никак не больше двадцати двух — двадцати трех лет, «вписался» в пьесу с редкой органичностью.

Даже и недостатки ее, как это ни парадоксально, отчасти пошли на пользу. Драматургия более зрелая ивершенная, быть может, в чем-то сковала бы ребят, заставила бы их... на цыпочки подниматься, что ли. Это ни в коей мере не в упрек — большинство участников спектакля только что кончили тогда студию при Ленинградском ТЮЗе. Выверенного мастерства, глубоких обобщений от них пока еще было трудно требовать. Не утверждаю также, что им не следовало пробовать, к примеру, Горького или Шекспира, — конечно, в работе над великими пьесами они почерпнули бы неизмеримо много и все-таки, все-таки не были бы до такой степени самими собой, не выразили бы себя с такой степенью искренности, как в «Джордано Бруно».

...Мы шли вместе по городу после «Джордано», потом поехали в общежитие актеров. И совсем не надо было обладать особой проницательностью, чтобы сразу увидеть: как похожи они и на моих целиноградских знакомых и на одаренных, интеллигентных столичных ребят, которые вчера окончили театральное училище, попали в подлинно творческий коллектив, упоены своей работой и еще больше — перспективами на будущее. Та же радостная уверенность в своих силах, та же ироничность по отношению ко многим общепризнанным художественным авторитетам, несколько даже искусственно культивируемая. Те же бурные ночные, чуть ли не до ссор споры, и магнитофонные записи те же...

...Через год-два целиноградский и воронежский театры в том качестве, в каком я их видел, перестали существовать.

— Я и сам до конца еще не разобрался, почему не получилось в Воронеже, — говорил мне Борис Наравцевич, ставший главным режиссером Рязанского ТЮЗа, когда в 1968 году я приехал смотреть его спектакли. — Одно понял твердо: поставить несколько спектаклей, которые заметили бы, о которых заговорили бы в городе, еще не значит создать театр. Спектакли не самое трудное. Хотя поначалу именно после таких спектаклей кажется, что дело в основном сделано. Да, была порой недостаточная чуткость, недостаточное понимание со стороны тех, кто нами руководил, и с жильем складывалось хуже некуда, а у ребят семьи, не выдерживали, сколько же можно... Были и другие осложнения, от нас не зависящие. Но не только в этом дело. Я очень любил наших молодых актеров, наверное, слишком любил. Слишком много спускал им. И снобизм их ленинградский — а они почти все ленинградцы, и заносчивость, и высокомерие, и нетерпимость к чужому мнению. И то, что всякий совет, всякое вмешательство со стороны они считали посягательством на свои художественные права. И когда возникли по-настоящему серьезные сложности, и творческие и организационные, — а в любом живом деле они рано или поздно возникают, — начался раскол. Обнаружилась внутренняя непрочность коллектива, каждый считал себя правым, слушал только себя и ни с кем не считался. Нет, при всей любви к одержимости и таланту в театре нужна твердая рука.

Во время одной из своих театральных поездок мне довелось присутствовать на сдаче спектакля. Выступал авторитетный представитель общественности и очень ругал задник, выполненный, по его мнению, в абстрактной манере. Ругал и требовал снять. Молодые актеры возражали, доказывали целесообразность задника. Страсти накалялись, кто-то уже подбирался к высотам гражданского пафоса: «Он возражает — пусть сам и снимает — своими руками, а мы не станем, не станем!..» Представитель общественности не оставался в долгу, и никто в пылу полемики не подумал о том, что дело-то, в общем, второстепенное, будет задник или нет: на судьбе спектакля это решающим образом не отразится. Никто не соразмерил факта и резонанса. Создавалось впечатление, что полемизирующим сторонам перебранка эта даже нравилась чем-то, позволяла как-то выявить себя, утвердить, что ли.

Ни одна из этих сторон не проявила зрелости, мудрости. Догматизм, узость представителя общественности очень мешали делу, но сейчас речь не о нем. На обсуждении

присутствовал главный режиссер, разумный человек, который все понимал и должен был сказать своим питомцам: «Ребята, будьте на уровне дела, которому себя посвятили. Поймите, как много зависит от того, найдете ли в себе силы в сложный момент сохранить художническое, человеческое достоинство. Как важно хотя бы попросту научиться уважительно и спокойно выслушивать оппонента, даже если вы с ним решительно не согласны».

Тогда тот главный режиссер не высказался твердо и определенно — не умел или не хотел, боялся оказаться в глазах молодых актеров консерватором, ретроградом.

Наравцевич, каким я его увидел в Рязани, случись у него ситуация, подобная описанной, по-моему, высказался бы, не смолчал бы.

Наблюдая взаимоотношения его с актерами (в Рязани тоже собралась в основном молодежь, кое-кто вместе с режиссером приехал из Воронежа), отмечаешь ту же непринужденность, естественность, но и в отличие от Воронежа некоторую, едва уловимую дистанцию. «Главный» при всей мягкости характера был не только «свой» среди этих ребят, но еще и руководитель — и этим многое сказано. И сами ребята выглядели вроде бы немного другими — ни в коей мере не податливее, но деловитее, тише, что ли, — и в рассказах о работе и в сетованиях на трудности нетворческого порядка. Мне показалось, это от понимания: слишком шумное и безапелляционное декларирование своих позиций и пристрастий есть признак того, что сами позиции и пристрастия не стали еще зрелыми, выношенными.

— Я сейчас думаю о человеческих качествах ребят не меньше, чем об их творческих способностях, — говорил Наравцевич твердо и решительно.

Человеческие качества... Честность, бескорыстие, преданность делу? Но почти всем, с кем я встречался в поездках, было их, этих качеств, не занимать.

По какой-то непрямой ассоциации вспомнился молодежный театр одного сибирского города, не хочу сейчас его называть. Из театра уходили двое, так сложилось, им и вправду нужно было уехать. Я попал на проводы и чувствовал себя неловко: словно оказался в чужой семье в очень личные минуты, не предназначенные для посторонних глаз.

В общем-то все было привычно: тихо наигрывал магнитофон, кто-то танцевал, кто-то предлагал выпить или тихо переговаривался в сторонке. Вдруг из общего гула резко выделилась фраза:

— Вот так, собравшись вместе, только и чувствуешь себя по-настоящему хорошо, а теперь еще вас не будет...

Фраза, в которой с точностью выразилась тональность вечера, его общий настрой. Здесь была естественная горечь расставания хороших, славных людей, привязавшихся друг к другу, друг друга любящих. Но, как мне показалось, не только это. Расставались люди, вся душевная энергия которых была сосредоточена на общем деле и взаимоотношениях, глубоко искренних и дружеских, но целиком в этом деле замкнутых. Отношения с тем, что вне его, были в общем непрочны, случайны, и оттого внутренняя утрата воспринималась особенно драматично.

Я вспомнил, что за несколько дней мы об очень многом, важном успели переговорить. Но об интереснейшем городе, где работал театр, речь не зашла ни разу. Не волновала ребят эта тема, кажется, они даже сторонились ее.

Как складывалась эта не то чтобы отчужденность, нет, — спектакли посещаются, театр популярен, — но некоторая взаимная обособленность театра и города?

Когда создавался театр и ребят из ленинградского театрального института усиленно приглашали быть его основателями, им обещали собственное помещение. Обещали — и не дали. Театр арендует Дом культуры, где он не единственный арендатор. Репетиционных и гримировальных комнат практически нет. По субботам — танцы. И никаких реальных перспектив. И это при том очевидном, на мой взгляд, обстоятельстве, что театров такого класса, как этот, не так уж много. Обстоятельство, которое нужно бы учитывать даже просто из чувства городского патриотизма.

Словом, основания для недовольства, для настороженности у ребят были. Но не оставляла мысль, что и от них самих хочется ждать каких-то качественно новых, не только специфически; профессиональных духовных затрат.

...Павлодарский областной драматический театр в том же, 1968 году удалось застать на гастролях в Петропавловске. «Охотился» я за ним потому, что видел павлодарцев на московских гастролях. Спектакли заинтересовали чрезвычайно, и очень хотелось продолжить знакомство, увидеть людей в их обыденности. Ведь выступления в Москве — это, что ни говорите, и отчет и праздник. Ритм жизни, уклад — все меняется. Мне же важно было видеть именно уклад рабочий, будничный, а не только спектакли.

Несколько дней, что провел я в тот раз в обществе павлодарских артистов, их директора Владимира Ивановича Ермакова, их главного режиссера Владимира Николаевича Кузенкова, очень укрепили это еще в Москве родившееся ощущение прочности, основательности, придали ему ясные, конкретные формы.

Жилось павлодарцам нисколько не легче, чем любому другому ищущему современному коллективу, оказавшемуся в городе, где не было серьезной театральной традиции, где эстетическое развитие немалой части зрителей значительно ниже, чем хотелось бы. Приехав в Павлодар (а большинство актеров опять-таки приезжие), работать они, в общем, уже умели, как умели работать многие, начинавшие на энтузиазме, подобно им. •

Говоря об одной из таких, не удавшихся в итоге попыток, Ермаков заметил:

— Они с самого начала совершили непоправимую ошибку. Они обидели город.

Я убежден: ребятам очень хорошо было знакомо это чувство снисходительного превосходства — к прежнему театру, когда они увидели, что он не отвечает их представлениям о минимально приемлемом художественном уровне. К зрителям, той их части, которую он, этот прежний театр, вполне устраивал. И директор, павлодарский старожил, человек большого жизненного опыта и завидной проницательности, понимая, что без этих ребят современного театра не создать, понимал и другое: решающе важно не дать выхода таким настроениям, особенно после первых спектаклей обновленной труппы, которые, конечно же, окажутся лучше предшествующих. Решающе важно приложить максимум усилий к тому, чтобы сделать ребят частицей города, заразить его~ будущим, перспективами, новостройками, привить вкус к охоте, к рыбалке на Иртыше в конце концов. Выработать нравственные нормы жизни коллектива, на которых основывалось бы, которыми направлялось бы творчество. «Нечестно, аморально создавать свой театр в городе, который тебе чужд, традиции которого ты не уважаешь» — с усвоения этой, по мнению директора, истины истин следовало начинать.

Так что же — безграничная терпимость, принесение в жертву своих художественных принципов и критериев ради того, чтобы быть понятыми, оцененными всеми и сразу? Есть люди, которые, во всем умея видеть хорошие стороны, очень убедительно докажут вам, что ради них можно примириться с тем, что ни для вас, ни для этих людей в принципе неприемлемо. Пережиточная психология, порождающая нравственную, гражданскую аморфность, равнодушие, а потом и угодничество.

Так вот, думаю, не было ничего более враждебного широте и терпимости павлодарских артистов, чем подобная психология. Широте и терпимости, как они ее понимали.

Не мириться с отсталыми художественными традициями, но понимать, что коль скоро они есть, результата можно добиться не оскорблением этих традиций, а кропотливой работой над созданием новых. Не оправдывать дурное в человеке, но вызывать к лучшему в нем. Уважать чужие убеждения, ни на йоту не поступаясь собственными.

Активное мироощущение, понимание жизни как непрерывного революционного действия, отношение к ней как к широкому строительству — домов, машин, человеческих душ — это давало о себе знать во всем.

И в том, как отчетливо угадал Ермаков в двадцатитрехлетнем Владимире Кузенкове главного режиссера театра. В двадцатитрехлетнем — главного! Назовите мне еще город, где пошли бы на такой риск.

И в том, как ночи напролет просиживали ребята за изучением ленинских томов.

И в том, как охотно, много, напористо читали в молодежной аудитории стихи любимых поэтов Олег Афанасьев и другие артисты. Поэтические вечера артистов театра были тогда в Павлодаре традицией.

И в том, как во время беседы о трудностях работы периферийного театра, о рутине, которую иногда так трудно преодолеть, Леня Монастырский, артист, один из основателей коллектива, вдруг бросил, указывая на здание, где происходили гастроли:

— Ну хорошо, а какая такая окружающая рутина мешает им засыпать многолетнюю яму во внутреннем дворе и вообще придать помещению хотя бы минимально приглядный вид?

И было в этом риторическом вопросе горестное удивление людьми, способными, ссылаясь на объективные и вполне реальные трудности, допустить хлев в своем доме, в своем деле. Удивление и искреннее, полное непонимание их.

Нравственный климат — понятие слишком неосоздаемое, его не порекомендуешь к внедрению. Здесь у каждого свой опыт и свой резон. И, разумеется, никто никому ее может дать гарантий, что вот теперь-то все и будет хорошо. Тем важнее готовность к ним, умение понять: там, где его, этот нравственный климат, не удалось создать, новый художественный организм неизбежно оказывается постройкой пусть современной и даже блестящей, но воздвигнутой на песке и никак не защищенной перед натиском самых разных ветров и стихий, в реальной, невыдуманной жизни непременно существующих.

Додумать все это до конца мне помогла не слишком давняя командировка в Месхетский государственный театр, что работает в районном центре Ахалцихе. Туда уехал почти целиком один из курсов Тбилисского театрального института и несколько выпускников культпросветучилища. Руководят театром главный режиссер Наиа Деметрашвили и директор, заслуженный деятель искусств Михаил Николаевич Медзмаришвили, один из старейших театральных работников Грузии.

Город маленький. Если идти от гостиницы до театра не спеша, получается минут пять. За это время несколько раз слышалось: «Доброе утро, Михаил Николаевич. Доброе утро, Нана Александровна», — похоже, что людей, незнакомых моим спутникам, здесь не было.

Первое сугубо театральное впечатление — выездной спектакль в районном центре Аспиндзе. Клуб набит до отказа, у подъезда — автобусы из окрестных сел. Трем автобусам так и пришлось уехать, не разгрузившись, — огорченным пассажирам обещали повторить спектакль в ближайшее время. Люди в вестибюле, в зале одеты по-разному, большинство — во все лучшее. Рассказывают, что было так не всегда. Но вот однажды зрителей перед началом стали встречать актеры и актрисы, нарядные, подтянутые, ненавязчиво, деликатно давая понять, что у зрителей тоже есть обязательства перед театром, что даже, казалось бы, мелочи влияют на общий тонус взаимоотношений сцены и зала.

Игралась в этот вечер забавная комедия, точно воспроизводящая быт и нравы здешних мест, с довольно немудреными сюжетными ходами, однолинейными характерами. И было поначалу известное разочарование, ощущение компромисса — назначение спектакля угадывалось не сразу.

Мне приходилось видеть в периферийных театрах очень серьезные работы, катастрофически не собиравшие зрителей. Видел и лихие провинциальные боевики, где обилие бурно реагирующей публики наводило на грустные размышления, — так все было откровенно, заведомо рассчитано на невзыскательность. Спектакль, который довелось посмотреть в Аспиндзе, не претендуя на откровения, уверенно и спокойно хранил в себе достоинство искусства, как хранили его нарядные актеры, что прежде встречали зрителей в

фойе, — в этом заключалось его обаяние, его смысл... Спектакль говорил предельно простые, каждому доступные вещи: что надо быть верным семье, дому, тебя вырастившему, что человек, пренебрегший этими ценностями, утрачивает нечто важное. Нравственный итог спектакля был не столь уж нов, но он был. Может быть, так и должно начинаться эстетическое воспитание?

Потом были другие спектакли, гораздо более серьезные, но первого впечатления они не вытеснили, потому что оно, это первое впечатление, давало очень существенный и точный посыл для понимания нравственного облика, нравственного существа театра. И тема этого спектакля не оказалась случайной. Она вырастала, крепла, обретала новые грани и. новую значительность — тема верности, какими бы сложностями и разочарованиями она ни испытывалась, — верности самому себе, другу, любимой женщине, земле, Родине.

Присутствовал ли я на репетициях, спектаклях, сидел ли в автобусе, направлявшемся на выезд в приграничное село, заглядывал ли к директору, к главному режиссеру, к актерам на гостеприимный огонек, не оставляло ощущение, будто он только что был здесь — Нугзар Мачавариани, лучший актер театра. Незадолго до моего приезда он трагически погиб. Рассказывают, что Нугзар был жизнерадостным мальчишкой, любил танцевать, петь — душа и центр любой дружеской компании. А на сцене — как-то так выходило — ему часто доставалось играть героев, которые умирали непоправимо рано, потому что жили слишком щедро, слишком захлеб и вовсе не берегли себя. Может быть, просто режиссеры верно угадывали секрет его индивидуальности.

Нугзар, наверное, был человеком, наиболее полно выразившим дух, нравственную атмосферу этого человеческого содружества. И теперь, после его смерти, оно естественно и произвольно выразило свою нравственную атмосферу отношением к памяти Нугзара.

В театре есть его уголок, и каждый, входящий в фойе, видит это лицо, озорное, мальчишеское и одновременно углубленное, сосредоточенное на чем-то важном. И во всех домах, где доводилось побывать, я видел его фотографии. И родителей его ребята не забывают и невесту — ей было шестнадцать, — и он все хлопотал, чтоб ему разрешили жениться. И неперенный тост за веселым грузинским столом — за него пьют стоя и молча.

Я не был знаком с этим парнем, но я знаю, что надо склониться перед его памятью. И я думаю, что люди, умеющие так беречь память о друге, хранить верность ему, сумеют сберечь свое дело, сохранить ему верность...

Михаил Николаевич Медзмариашвили, дядя Миша, как зовут его актеры и как он мне тоже разрешил себя называть, — ученик Марджанова, был актером, ассистентом режиссера, режиссером, директором, театр знает вдоль и поперек, Ахалцихский — особенно. Работал в нем еще до войны, потом руководил самыми разными художественными коллективами, в последние годы — на спокойной и высокооплачиваемой работе в Тбилиси. Но вот снова открылся театр в Ахалцихе, и он стал директором, хотя зарплата на новом месте была меньше, а хлопот... ну, сами понимаете. Это ведь нелегко, когда человеку за шестьдесят, и сердце пошаливает, и давно пора подумать об устроенности и покое. Директор театра — должность административная, обязанности четко определены, и ни в каких трудовых законодательствах не предусмотрено, что должен Михаил Николаевич, помимо добросовестного выполнения своих прямых функций, быть для ребят и дядей, и отцом, и дедом (а ведь они и вправду ему во внуки годятся), и еще ставить спектакли, а иногда даже играть.

Й Нана Деметрашвили — она, безусловно, человек талантливый, но я уверен: сейчас ее талант проявится полнее в работе именно здесь, именно с этими людьми, и слабее, глуше, если ей доведется работать с другими в другом месте.

Потому что она с самого начала искала эту работу, соответствующую ее характеру, темпераменту, нравственным устремлениям и душевному складу, — и когда семнадцати лет ушла из дому, приехала в Тбилиси поступать в театральный институт, и была принята — единственная девушка в режиссерской группе; и когда отлично окончила его и ставила

спектакли в Гори; и когда принимала новый театр, хотя, согласитесь, женщине в 26 лет ехать главрежем в чужой город — на это надо решиться.

Потому что она знает про своих артистов столько, сколько может знать только близкий друг, — знает, когда нужно полночи пробродить по городу с отчаявшимся человеком, чтобы вернуть ему веру в себя, когда можно похвалить артиста, если даже у него роль не очень складывается, и когда недобро взглянуть на того, кто стал работать, жить слишком уж легко и благополучно.

И потому, что актеры относятся к ней по-товарищески непринужденно, как к сверстнице, и в то же время верят в нее как в руководителя, старшую, которая знает и может больше их.

И потому, что родители некоторых из этих актеров советуются с уважаемой Напои Александроввой по важным вопросам, касающимся детей.

И потому, что она со своей порывистостью, эмоциональностью удачно дополняет рассудительного, спокойного дядю Мишу.

И Михаил Николаевич и Нана — это незаменимые люди, — как был незаменим и Нугзар, вот в чем штука. Они нашли дело, а дело нашло их. И от этого оно, дело, и они, личности, индивидуальности, — все выросло неизмеримо.

...По всей стране в очень нелегких условиях работает множество таких вот небольших театральных коллективов, и проблемы, стоящие перед ними, во многом близки тем, которые успешно разрешаются в Ахалцихе. Да и не только в том дело, маленький театр или большой, общепризнанно велики его успехи или пока относительно скромны, хотя и вполне явственны. В искусстве есть главная точка отсчета, есть главный нравственный, духовный ряд, и для меня лично Месхетский государственный театр или, скажем, уже более опытный, более мастеровитый молодежный театр Красноярска, — и московский «Современник» и Ленинградский академический БДТ — в этом ряду. Они соизмеримы, хотя, разумеется, не равновелики — каждый из них на своем месте решительно незаменим.

Так вот и выстроились впечатления разных лет. Потом были еще поездки и еще встречи, но ни одна из них не оставила такого цельного впечатления, как поездка в Месхетию. Многое из того, что позволяет делать оптимистические прогнозы, обозначилось здесь наиболее четко. Поэтому столь естественно желание поставить точку именно здесь. А впрочем, какая точка? Тема не завершена, но моей вины в этом нет: ведь и в жизни она, тема эта, остается незавершенной. И постоянно приходят известия и о горьких поражениях и о новых завоеваниях периферийных молодежных театров.

Владимир Иванович Ермаков... После десятилетней почти полосы Павлодарского драматического театра имени Чехова, которая, я уверен, войдет в историю советского сценического искусства, обстоятельства у Ермакова сложились так, что он уехал из Павлодара. Поступил актером в Томский театр — он ведь, помимо того, что директор, художник, столяр, еще и актер. И через несколько месяцев произошло неизбежное — его попросили стать директором, очень попросили, и он согласился. Приезжал уже в Москву — утверждать репертуар, искать главного режиссера. С чего начинать? Ведь принял театр в разваленном состоянии. И как перетащить в театр павлодарского артиста и режиссера Олега Афанасьева (вот уж не проблема, Олег сам махнул в Томск, как только узнал, что директорствует там Владимир Иванович).

Или Володя Кузенков. Проработавши после Павлодара год режиссером-стажером во МХАТе у Олега Николаевича Ефремова, он был назначен главным в Московский драматический театр имени Станиславского — спасибо людям, которые решились на это назначение, разглядели силу режиссерской и человеческой индивидуальности — впрочем, не разглядеть ее было мудрено. А его место во МХАТе занял Леонид Монастырский, тоже из Павлодара, если помните.

Или Нана Деметрашвили... Это в самом деле был сюрприз: объявилась в Москве не одна, а со всем театром. Добилась такой коллективной командировки — смотреть спектакли, встречаться с мастерами.

Нана Деметрашвили, Михаил Николаевич, дядя Миша, — по-прежнему в Ахалцихе. А многие разъехались, многие... Борис Наравцевич перебрался в Горький, Александр Смеляков — в Минск, их спектакли по-прежнему в центре внимания общественности.

Да, происходят перемещения, и это грустно, потому что всякий раз обрывается ниточка, и уезжающие что-то утрачивают и остающиеся, что поделаешь, театр, настоящий театр — живой организм, он рождается, живет, умирает или продолжает жить в новом качестве. Вот и Олег Ефремов ушел из «Современника» — в этом была и драма и неизбежность. И сейчас на наших глазах и театр и его бывший главный режиссер, а ныне главный режиссер Московского Художественного театра, понеся очевидные потери, вырабатывают некое новое качество, каждый свое, обнаруживают новые грани своих незаурядных индивидуальностей...

По всем этим причинам и не хотелось выносить окончательные суждения, подводить окончательные итоги. Сейчас, когда пишутся эти строки, герои наши сделали то, что они сделали, одни больше, другие меньше. Одни не создали своих театров, другие создали. Одни из созданных ими театров являются таковыми и поныне, другие, завершив свой путь, краткий ли, долгий (Павлодарский театр был собой десять лет, а это много), перешли в новые качества. Какие именно — опять-таки вопрос, выходящий за пределы этих заметок...

А люди продолжают работать.

Пожелаем им терпения и стойкости.

стихи

Расул

Рза

Перевел

с азербайджанского

М. СИНЕЛЬНИКОВ

Сказание о скрипке,
старом садовнике
и скрипичном мастере

И сказала мне скрипка:
— Не сразу явкрипкою стала,
Я дремала, дремала под сердцем зеленого
доева.
Только сердце пронзила звенящая
нежность металла
И поведала телу
О трепетных тайнах напева.
— Лишь садовник седой,
Никого не имевший на свете,
Возлелеял меня...
Мой садовник, — воскликнула скрипка, —
Зорко, зорко следил, чтоб ни ветер, ни
малые дети
Не согнули мой ствол,
Мой побег, шевелящийся гибко!
...Но любил меня мастер.
Гулявший аллеями сада,

Где шумела листва, словно музыка, властно
и мощно.
Руки,
Руки его, как сказания Шехерезады,
Днем манили меня, призывали к себе
еженощно.
Мой садовник берег меня.
Осени ждал плодоносной.
Ну, а мастер, как сон, навевал мне
мелодии песен.
Свет глотая и влагу, я крепла все зимы и
весны,
Плен глухой древесины
Стал песне и узок и тесен.
В окруженье деревьев.
Дыша ожиданьем побега.
Многоликую жизнь познавала я
мало-помалу...
Летний зной, гул грозы, свежий запах
весеннего снега,
Утоление жажды.
Тоску по земле я узнала.
И учили меня пальцы мастера
И научили.
Полногласие звука от шумов случайных
очистив,
Различать птичий гомон,
И говора красноречивей
Было пение капель.
Сбегающих с выреза листьев.

А теперь я узнала,
Как долги
Немые длинноты
Полуночных бессонниц.
Изведала дней быстротечность,
И духовную жажду, и счастья высокие
ноты,
И сердечное горе, и радость,
И время,
И вечность.
Вижу
Звуков окраску.
Внемлю колебаниям эфира,
Знаю строй языка,
Вторю
Ритмам страданья и страсти...
Тайнам слов и ладов, многим тайнам
огромного мира
Научил меня мастер, скрипичный
задумчивый мастер.
Научил, когда выточил скрипку

Из мертвого древа.
Подарил мне печаль
И восторженность смутных предчувствий...
Только разве я выскажу все, чем живу я,
в напеве,
Только разве я выражу все, что я знаю, в
искусстве!-.
Но в душе
Есть следы беззаветных забот садовода,
Есть в ней мастера след —
Отпечаток волшебной десницы...
Чтобы жили они.
Чтоб с искусством сливалась природа.
Диво дивное, жизнь.
Жизнь сама
В моих звуках таится.

Аист

А на зиму
Не оставался аист,
Он улетал в далекие края.
Но воротился на пороге марта
И к празднику весеннему поспел.
Издалека
Он вез гостинец детям
И хочет снова подарить им сказку,
Их снов своими крыльями касаясь.
Сказитель-аист,
Длинноногий аист!
Знай,
Всякий раз с чужбины возвращаясь,
Что ждет всегда тебя гнездо твое.
...Но если сказка грустная,
Мой аист,
Ты детям не рассказывай ее.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

диалог о поэзии

«Юность» получает немало писем читателей о поэзии А. Вознесенского, и нам хотелось от частных вопросов об отдельных стихах и образах поэта перейти к осмыслению сложной и интересующей многих общей проблемы мастерства поэта, языка его поэзии. Ниже публикуется запись беседы Андрея Вознесенского и члена редколлегии «Юности», критика Владимира Огнева,

В. ОГНЕВ. Мне кажется, многие недоразумения, связанные с оценкой работы поэта, отпали бы сами по себе, если бы мы твердо уяснили главное: разделяя (осознанно или нет — все равно!) мастерство и «направленность» мастерства, мы наносим им обоюдный урон. В

результате (как крайность) понятие идейности искусства лишается своих органических корней — связи с жизнью, с характером дарования. С другой стороны (тоже как крайность), мастерство понимается как маникюрный набор, изымается из атмосферы любви, ненависти, страстей века...

О вас принято говорить как о мастере. Форма ваших стихов одних ошарашивает, других соблазняет «сама по себе». Одни вас не понимают, вторые, я полагаю, только думают, что ценят...

Есть и другой читатель, не такой, как первые два. И далеко не лишний в нашем разговоре... Он знает, что вы — советский гражданский поэт. Это ваше качество определяет так называемый выбор художественных средств (потому, что в такой же мере средства «выбирают» автора, они должны в конце концов заговорить чьими-то устами!)...

Вот перед нами пачки и пачки писем о ваших стихах... И опять читаем: «Да, Вознесенский — мастер... Но многие его образы я не покимаю». «Надо писать попроще...»

Так что же такое мастер?

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Я убежден, что мастерство, «техника» — это способ выражения личности.

Помните, композитор Игорь Стравинский в «Диалогах» на вопрос «Что такое техника искусства?» ответил: «Весь человек. В настоящее время она стала означать нечто противоположное «душе», хотя «душа», конечно, это тоже техника».

По характерному, неистовому мазку Дионисия мы угадываем исступленный характер, а овал Рублева говорит о внутренней гармонии. Блок, декламируя, проглатывал окончания слов, отсюда особенности его рифмовки.

Мне легче, например, удастся зрительное. Меня подозревают в задуманном метафоризме, между тем это само собой получается. Это не плюс и не минус. Наверное, потому, что рисую. Метафора — та же рифма. Когда рифмуются не звуковые, а зрительные подобию. Причем не только по сходству.

Так что давайте потолкуем о технике как о психике, о ее звуковом и пространственном выражении.

В. ОГНЕВ. Глубина поэзии, многомерность ее образов сначала отпугивают или настораживают неподготовленного читателя, но зато какой простор художественного узнавания мира открывается за ним! Язык поэзии начинается с образа, метафоры. Я ввел бы в школах сначала курс образа, а потом уже — курс литературы такого-то века... Образ не шарада. Его не надо «отгадывать» или читать, как читали рукописи из Кумрана или по берестяным грамотам, найденным на Новгородчине, отгадывали приметы древнерусского быта. Язык поэзии тогда внятен, когда он естественно прочитывается, как нетерпеливо ожидаемое письмо с недавним штемпелем и знакомым почерком на конверте. Умение видеть — начало мастерства.

Когда у вас американский поэт Лоуэлл держит голову, чуть склонив ее к плечу, почти касаясь подбородком шеи, как будто всегда играет на скрипке, — это прислушивание поэта к музыке мира, боязнь фальши — точный образ. Когда ваши лошади на лугу — одна звучит шеей-раструбом, словно граммофон, а о другой сказано: шея пасущейся лошади из тела льется к земле, — это образ единства природы и одновременно музыки единства, гимна органичности всего сущего... Может показаться кошунственным образ Джоконды, чья ставшая нарицательной загадочная полуулыбка неожиданно, но зрительно остро переосмыслена вами: губы портнишки, которая держит в зубах булавки. Но и этот экстравагантный образ оказывается уместным в том контексте рушащейся иерархии ценностей, которой посвящено стихотворение... Но тут я уже выхожу в сферу понимания контекста, то есть связи образов.

Мне хочется подчеркнуть земную, жизненную природу поэтического тропа, самого, казалось бы, неожиданного. Его, так сказать неаристократичность. Ведь некоторые читатели, а то и глуховатые критики боятся всякого непрямого хода мысли. А ведь уже ' сравнение — это освоение мира. Вдали колеблемые ветром хризантемы кажутся

прибрежной волной древнему японскому поэту. Он так и пишет: «Кажется глазам...» Позже несходство двух чем-то сходных представлений станет метафорой. У Лермонтова:

Вода, синяя, гнется в волны...

Это как сталь клинка, которую согнули, чтоб опробовать. Виден характер поэта. Не просто «похоже», но похоже со смыслом. Значит, образ — уже не просто одно похожее на другое, но и толчок мысли, зерно идеи.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Искусство — как капустный кочан. Со множеством листьев, оболочек, смыслов. Когда читаешь стихи в аудитории, сначала все понимают первый слой (сюжетуку, проблему); половина — следующий венец листьев; треть — более сокровенное и т. д.

Суть, кочерыжку («скрытымным» ') порой понимают лишь на расстоянии.

1 См. стихотворение «Старинная песня» в журнале «Юность» № 1 за 1972 год.

В. ОГНЕВ. Вы правы, безусловно, поэзия не может быть только «понятной», она непредставима без некоего остатка «тайны», только тайна' эта — знак того, что жизнь бесконечна, и то, что сегодня; — тайна, завтра будет прочитано как проходная строчка,' как само собой разумеющееся.

Образ — модель мира, который не сразу открывает свои внутренние связи. Но открывает постепенно. Как постепенно входим мы в мир фантазии художника, нового для нас, необычного...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Лучше скажем, подобно Блоку: «структура гармонии». Для него гармония — мировой порядок, космос в противоположность хаосу. Он называл поэта сыном гармонии.

Добавлю опять же к этому, что есть разные системы гармонии, разные коды информации. Поначалу музыка Шостаковича казалась дисгармоничной. Двенадцатитоновая структура Шёнберга и Стравинского отлична от ладового строя Чайковского и Рахманинова. Но и те и другие совершенны, классики. Также говорят об одном, но по-разному геометрия Евклида и геометрия Лобачевского. ...

У Пикассо есть несколько портретов его молодой жены Жаклин. Он меня с ней познакомил. Она женственна, амазониста. На портретах же она треугольнорота, много! лаза. Иные наши дамы оскорбились бы, если бы их так изобразили, приняв такое свое изображение за карикатуру. Но восхищение влюбленного художника не поддается сомнению. Это просто иная система гармонии.

В. ОГНЕВ. Мне представляется, что новые средства информации, новые виды искусства — кино, ТВ, — тоже вложили свою лепту в изменение психологии восприятия искусства. Зрительное и звуковое восприятия в современной поэзии совпадают в новом эстетическом единстве. И сами формируют новые выразительные средства. Конечно, это процесс интуитивный для вас, художника. Но со стороны видится ясно. Как пример: «Я — Гойя! Глазницы Боронок мне выклевал враг, слетая на поле нагое». Поле боя дано в реальном его виде: воронки от бомб, все выжжено. Воронок — враг. Созвучие это ассоциативно. В народном эпосе очи героя клюет ворон. Он не назван — подразумеваем. Но от ворона — воронка, глазница. Ворон, или, как в войну говорилось, стервятник, выклеывает глаза матери земли — оставляет воронки смерти. Далее:

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

Горло стянуто петлей, но само тело повешенной женщины, раскачиваемое ветром, подобно колоколу. Зрительное подобие? Не только. Символика образа переходит в звуковой план. И я слышу — колокол в этом гулком «оло»: голос — головни — тело — колокол — било — голой... А «било»? Здесь и знак действия и возможная побочная ассоциация: далевское слово «било» означает и движущуюся часть крестьянского цепа, которым обмолачивают хлеб... Разве не ведет это к устойчивым образам древнерусских летописей о бое как косьбе жизней, обмолоте тел? «На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепями булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела» сказано в «Слове о полку Игореве».

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. «Слово» — бессмертно. «Слова поэта — суть дела его». Все поступки Пушкина, как бумажные деньги, имеют золотое обеспечение, обеспечены «золотым запасом», его гениальными вещами — «Борисом Годуновым», «Моцартом и Сальери», одой «Вольность», «Я вас любил». И, наоборот, вещи обеспечены судьбой. Он и по гамбургскому счету был лучшим поэтом эпохи.

Не менее свободолюбив был Кюхля, не менее скандален был Барков или Д. Давыдов, но за ними не стояло «Чудного мгновенья».

Творчество выражает характер поэта. Купеческое галстучное проявление личности — еще не поэт.

И жажда «дешевого успеха» и не менее жалкая жажда дешевого «неуспеха» — все это одно — комплекс неполноценности, когда нет настоящих стихов.

Научно-техническая революция, конечно, влияет на формирование личности.

Битлы знаменовали новый, групповой тип личности. Есть плоды-грозди (рябина, виноград) и плоды-одиночки (яблоко). Сейчас как бы гроздевой период формирования. Джазовые ансамбли, хоккейные созвездия знаменовали это на эстраде и на стадионе, на экране тоже нет новой Брижитт. Есть коллективы. Формирование индивидуальностей, моногамный период все больше заменяется полигамией.

Накануне хоккейного чемпионата наша олимпийская сборная во главе с В. Бобровым посетила спектакль «Антимиры». Мне кажется, есть что-то общее в атакующем стиле воспитанников Боброва и Любимова. Это — понимание коллектива как организма.

Сейчас тысячи профессиональных поэтов. Я не огорчаюсь их растущему числу. Уверен, что из них выкристаллизуются личности невероятного масштаба.

Иначе (как в страшном сне!) мы могли бы представить поэтический вечер будущего... Зрительный зал и сцена поменяются местами. Гигантским амфитеатром на трибуны стадиона рассядутся тысячи поэтов. На крохотной площадке сцены в прожекторах будет маячить одинокая фигурка слушателя. Его будут два часа обчитывать стихами. Вероятно, хором.

С улицы будут ломиться в зал тысячи поэтов, не доставших билетика...

В. ОГНЕВ. Кстати, именно через слово, через образ поэта только и можно говорить о народном начале. Всякие же модные биения в грудь и клятвы перед Русью — один маскарад, не больше! Поэт сказал: храмы «доказали» себя тем, что стоят века...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Со словом работать опаснее, чем с камнем.

Слово — духовная жизнь народа, материализованная в звуке, затем в начертании. Отпадающие поколения уносят с собой отсохшие словообразования. Слово биологично, растительно. Даль, Хлебников — великие биологи слова.

Слагать вещь из слов — это все равно, что строить степы из живых, трепещущих птиц, из птичьих стай!

Ты работаешь с живой историей. В поэзии слово чисто, обнажено, вынуто из словесной толпы, поставлено отдельно с круговым обзором, как храм па холме.

Человек, сотворивший слово, преодолевает смерть. Хлебников изобрел слово «летчик» — на несколько поколений, у Райкипа впервые зазвенело слово «авоська».

Вот уже неделю я брожу под гипнозом старорусской любовной песни, записанной у Киреевского. В ней звук — цвет, а за ним акварельное чувство.

Нет цвета, нет цвета,
Ах, нет цвета алого!
Аль его, аль его
Песком желтым вынесло?
Аль его, аль его
Боярыни вырвали?
Аль его, аль его
Совсем в поле не было?

Вслушайтесь: «Аль его, аль его...» Все как прошито алой лентой! Прямо старорусский Матисс какой-то. Сурик с желтым и изумрудной. Так писали портреты и иконы на алом подмалевке, и грунтовка порой проступала.

Сравните у Есенина: «Черный человек, черный, черный человек...» Как в технике сграффито, образы поэмы обведены черной каймой.

Жил мальчик
в простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
с голубыми глазами —

эта непритязательная строчка загорается бирюзой и золотым кадмием на черном фоне («черный, черный, черный»), как горят на черном чистые цвета мастеров Палеха и Мстеры. Черный лаковый цилиндр ставит точку в конце, становится иконическим знаком.

В. ОГНЕВ. Звук — цвет через «аль его, аль его...», что читается (слышится) как «алого», — пример любопытный. Но здесь все, так сказать, снаружи... В современной поэзии отношения цвет — смысл многообразнее и сложнее, но, может быть, перспективнее. Возьмем, скажем, кино, Антониони, его подход к цвету. Он, не правда ли, заставляет нас забыть о соответствии той или иной окраски предмета правде факта, не замечать визуальных «ошибок» цвета? Его цветовая гамма учитывает другой психозрительный закон восприятия цвета — способность настроения, эмоции «менять» тона цвета, их насыщенность, их чистоту. «В глазах позеленело», — говорится не для красного словца... Возьмем, так сказать, романтический подход к цвету. Красные кони К. Петрова-Водкина или синие Франца Марка — тому пример. Но бывают и сложные образования романтики и реальности.

...Словно я весенней гулкой ранью
проскакал на розовом коне...

Конь розов и от мечты и от света утренней зари. Но вот другой конь того же Есенина, из последней главки «Пантократора»:

Сойди, явись нам, красный конь!

Это аналогия художникам-экспрессионистам. Конь-символ. Конь-мечта. И никаких соответствий реальности искать тут не надо.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Наоборот, именно красный конь и соответствует реальности. Петров-Водкин верен здесь сути цветовых законов. Зеленый и красный в живописи — «дополнительные цвета». На зеленом фоне рыжий жеребец кажется алым, даже белый на зеленом выявляет свои составные красные, становится розовым. Любая лошадь на лугу — красная. Это более реально, чем внешняя реальность.

Отсюда на иконах красные кони. Из иконописи прискакали красные кони «Пантократора», почти одновременный заголовок клюевского манифеста — «Красный конь».

Но почему красный на зеленом, а не наоборот?

В России искусство всегда общественно, гражданственно. Поэзия для нас не только усада. Она включает в себя и философию, и пророчество, и колокол, и вооруженную совесть, и исповедь. Она противостоит апатии а статичной буржуазности.

Отсюда конь цвета бунта. Форма содержательна.

В. ОГНЕВ. Самое интересное для меня открытие — наличие в поэзии (искусстве словесном!) цельности гаммы и логики чисто живописных тональных переходов. У того же Есенина, чуткого к цвету, можно наблюдать своеобразное развитие этой темы в пределах одного стихотворения:

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливаётся задорно
Нижегородский бубенец.

И далее: «рыжеволосая коса», «малиновая ширь», «синь», белизна «высокой светлицы»... Проследим цветовой мотив. Белое поле, багрянец неба, рыжеволосая коса, малиновая ширь полей, хотя и не названные, но подразумеваемые цвета светлицы и монастыря — их белизна, синь неба, которая воздушнее и легче, чем полымя (красный)... Итак, белое — багряное — рыжее — малиновое — белое и только в кульминации мысли — синее, резко противостоящее предыдущей гамме, но и оно через ассоциацию с пламенем возвращает нас к слитности цветового ощущения, к единству цветовой темы: красно-рыжему... Я пропустил еще две детали: дугу и разукрашенный рукав. Такт художника подсказал (интуитивно, разумеется) Есенину, что и дуга и рукав «сами собой» окрасятся в представлении читателя.

Цвет — смысл... Тут образ обростает и непрямыми ассоциациями.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Что здесь «ведет» тему воспоминаний о давней, юной любви? Цвет? Чистота и холодок бережного чувства? Но здесь слиты этот чувственный штрих раздавленной ягоды и ответ тревоги в полыхании закатного неба!

Блок писал: «Незнакомка... Это — дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового». Блок видит свою «Незнакомку» в исполнении Врубеля. Блок говорил, что, обладая средствами Врубеля, он создал бы Демона. А когда читаешь пастернаковское:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал.
Где гудеть, где кончаться кошмару, —

видишь врубелевского Демона, чувствуешь «средства» его ломкой сине-фиолетовой палитры, дышащей холодом ледяных вершин...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Уж что-нибудь одно, Владимир Федорович, — или Блок, или Пастернак похож на Врубеля. Очень уж различна их психика и цветовая гамма. В своем «Демоне» Пастернак спорит и с Врубелем и Блоком. Палитра раннего Пастернака отнюдь не «ломкая», а наоборот: ритм его стиха, как и цвет, сочный, плотский, локальный, мужской.

Его синева контрастна, пронзительна и ничего общего с женственными полутонами Врубеля не имеет. Это скорее Анненков и П. Клее.

Да, кстати, к какому поколению принадлежал Демон? А Блок? А Заболоцкий? А Овидий?

Ведь в поколении важны глубинные черты, а не внешние, а то по рецептам некоторых получалось, что идеальный поэт поколения — Надсон.

В. ОГНЕВ. Поэт поколения... Он есть. И его нет. Он есть, когда смена этапов культуры резка на протяжении небольшого исторического периода. Вот почему есть «шестидесятники» XIX столетия и нет «шестидесятников» XX. А вот ваше, Андрей Андреевич, поколение есть. И в поэзии. И споры о вашем поколении означали споры о том пути, по которому пошла поэзия. Сегодня и вам и другим представителям поколения хочется, чтобы вас «развели». Вы сами расходитесь. Это тоже судьба всех поколений. Судьба поэзии.

Поколения нет в том смысле, в каком его порой понимают критики, мыслящие не индивидуальностями, а обоями. Нет поэта поколения, остающегося в рамках ушедших в прошлое тем, мотивов, споров. Ведь и сверстники твои выросли, ушли далеко! Иногда приметы поколения в искусстве держатся прочно, иногда нет.

У поколений свое лицо, искусство его закрепляет. И язык у моего поколения был иной. И, сознаюсь, даже отдавая должное вашему чувству современного говора, арго, студенческого жаргона, не всегда улавливаю внутреннюю связь между предметом, темой и речью вашего лирического героя. Но я тут же оговариваюсь — это личное, возрастное. Знаю, как язык ваш любит молодежь. Это их язык. Их стиль. Стиль жизни. Не только поэзии. Чтобы быть до конца справедливым, скажу, что в моей позиции нет того пуризма, с которым сталкиваешься иногда в критике ваших стихов. Я вижу в стихе вашем естественное смешение разных речевых пластов, ничего предосудительного в этом нет: все это в русле традиции Маяковского, вообще современного искусства, думаю, что в воздухе эпохи это бурное внедрение нового слоя речи: научной, разговорно-иронической, «непрямс.";», застенчивой перед высокими понятиями и тем не менее не перестающей выражать Высокое.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Сейчас в артистических мастерских Москвы бытует новый термин — «нетленна». «Что ты пишешь?» «Нетленху пишу» — то есть человек создает не суетное, а вечное произведение. Ироничность термина не умаляет подвижнического отношения мастера к работе «на века».

Скрещивать «подлые и высокие штили» — традиция русской поэзии.

В «Двенадцати» Блок дерзко ввел языковую стихию улицы. Вслед убегающему Ваньке несется: «Ужо, постой...», что, прочтенное слитно, дает площадную фразу, оттеняющую предстоящий «венчик из роз»...

В. ОГНЕВ. Иногда говорят, что в стиле вашем происходит некая катастрофическая обесценка ценностей, образное уравнивание вещи и духовного смысла, малого и великого, одним словом, рушится иерархия ценностей. Я был бы осторожнее в таких выводах. Скорее (чаще всего по крайней мере), вы разрушаете иерархии, а не ценности. А это совсем разные вещи. Поэт, остро чувствующий «состояние мира», не может находиться в стороне — быть «гармонической» фигурой, эпически взирающей на суету сует, находиться над схваткой.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Важно разбить стереотип, застывший хаос. Болото, смерзшееся в бетон, не есть гармония. Блок в музыке революции искал гармоническое начало.

Но не в деталях дело. Что важнее в лице? Ухо? Глаз? Нос? Смешон примат рифмы. Некоторые навтыкают рифмы на концы длинных строк, как свечи на новогодние ветки, — и стишок готов! Я, например, растворяю рифму во всей строфе, чтобы вся она, а не окончание, была напряженно-музыкальна, как предметы нашего века все насыщены электричеством: дотронешься — искры летят.

Мне нравится языковое напряжение в стихах Сосноры. Вообще одной только буквой «С» можно заслушаться в сегодняшней поэзии. Нас околдовывают и Симонов, и Самойлов, и Слуцкий, и Сулейменов, не говоря уже о других соловьиных «С» современного стиха. Л

как слышим мы уже отлетевших от нас Светлова, Сельвинского, Смелякова! И рифму и верлибр, метафору — все это чаще за тебя решает подсознание.

Маяковский не задумывался, наверное, над тем, что его последняя фраза была метафорой. «Любовная лодка разбилась о быт». Поэт процитировал шекспировского Ромео. Именно метафора выразила его тоску и «черный юмор».

Она отвечала его психологическому состоянию.

В. ОГНЕВ. Метафору я понимаю не как медаль за художественность, а как мини-мир поэта. В метафоре каждого крупного художника — зерно, гены, как вы любите говорить, его поэзии. Метафора — завязь плода. Но «дешифровка» метафоры поэта — вещь ответственная. Когда к вашим стихам, например, подходят только как к коду «современности», знакам чистого разума и апологии техники, — это не то что мало, а попросту небрежно, приблизительно. Вы, я касался уже этого в книге «У карты поэзии», еще и поэт грез и утопий, поэт-футуролог. Не все образы прописаны в нашем времени, они еще и предугадывание. Я назвал вас поэтом «счастливого человечества». «Музыка чуда» вам ближе, чем «музыка ада». Но последняя — следствие расхождения между мечтой футуролога и суровой действительностью. «Воители» и «ваятели» — для вас синонимы. Но вы «ваятель» по самой природе вашей метафоричности. «Этим и интересен...» Я люблю антиметафоричных Бориса Слуцкого, Тадеуша Ружевича; вообще мне кажется, эта линия современной поэзии представлена крупными именами, однако поэты метафорической стихии вроде вас представляют интерес особый, так как тут новые явления в сфере современной психологии человека просматриваются, мне кажется, в сокровенных глубинах сознания.

В вашей «Кабаньей охоте» не только парадокс природы, занимавшей человечество издавна: противоестественность существования живого за счет живого. (Эта тема по-своему жила в творчестве Н. Заболоцкого: жутким гротеском в раннем творчестве, высокой лирикой — в позднем периоде.) У вас этот разлад между живым и философская грань темы жизни и смерти, единства живой и «мертвой» материи достигают подлинного катастрофизма. Вы поминутно, как замороженный, сопоставляете крайности эти. Вот почему возникает этот бред героя, эта фантасмагория:

И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смиранный, голенький лежу.

Для русской поэзии это не так неожиданно. Вспоминаю Хлебникова:

Висит, продетый кольцом за колени,
Рядом с серебряной шкуркой зайца,
Там, где сметана, мясо и яйца...
Нет уже юноши, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.

Но у вас такие метаморфозы не свидетельство абсурда, а попытка аналитически добраться до секрета материи. Ваша метафора — метаморфоза.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

Поняв главный закон вашей метафоры, не удивляешься «смелости» образа, не ахаешь: ах, как, похоже!.. Похоже — здесь мало. Так увидено потому, что иначе и не мог увидеть поэт Вознесенский — вот в чем суть.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Научно-техническая революция диктует уровень знаний. В стране миллионы и миллионы с высшим образованием. Россия не лапотная, а электронная. Ни одна страна не имеет трехмиллионного тиража для такого журнала, как «Наука и жизнь». Но некоторым нашим коллегам и он с его популярными формулами сложноват. Взять хотя бы Канта, Эйнштейна, основы родной истории языков, основы точных наук освоить. Без этого минимума в век НТР — никуда. Даже первоклашки учат алгебру. А ведь есть еще литераторы, для которых и арифметика сложновата. Как пчелы имеют коллективный опыт, так поэзия создает общее духовное магнитное поле общества. А это задача социальная. Как современная прижизненная выставка Маяковского, восстановленная этим летом в Москве! Какой современный нерв у нынешней поэзии, как близка она и строителям Тюмени, и горячей Латинской Америке, и протестующему студенчеству Запада, и всем сегодняшним болям и заботам. С телевидением литература перестала быть только книгой. Шкловский, например, телевизионный человек. Он не умещается на листе бумаги. Его интеллект, как олимпийский кулак, вздымается над аудиторией. Его мысль зрелищна. Она имеет жест, движение. За ней наблюдать упоенно, как за боксерским поединком на ринге.

Язык не только лингвистика, но и жест, поступок. Лютер вместо аргумента запускал чернильницей. Дуэль была последней яростной строкой Пушкина. Есенин кровью в гостинице писал.

Ложь конструкции говорит о неверности идеи, водянистости, чегоугодничество мировоззрения ведет к графоманству, эклектике, развалу структуры.

В. ОГНЕВ. Как для вас начинается стих?

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Скрытымным.

Я брожу. Работаю на память. В сознании ритмически вспыхивают образы. Записывать во время работы не умею. Пришлось бы зарисовывать. У гениального Маяковского были записные книжки, где он заготавливал рифмы и строки впрок. Я не умею так. У меня записанное слово охладевает, застывает. Вчерашняя рифма складывалась, когда шел снег, воздух и звук были рыхлыми, сегодня небо иное, воздух и звук сухи и звонки. Да и ты иной.

Есть, по-моему, два психологических типа поэтов. Первый тип, «экранный» — Маяковский, Есенин, Рембо. И другой, внутренне сосредоточенный, — Заболоцкий, Тютчев, Пастернак, Оден. Пожалуй, сегодня мне ближе второй.

В. ОГНЕВ. Тем не менее в вашей поэзии — оба начала. «Экранный» тип дала Революция, большое эхо, большой читатель стиха. «Галстучное выражение личности» — издержки внимания публики. Я бы разделил здесь разные явления публичности...

Для поэзии: — может быть, я неправ? — экранное и внутренне сосредоточенное — только два полюса. Как предельное выражение полюсов самой жизни. «Я» и все, что «не Я». Гипертрофированное «я» возможно как раз в варианте «внутренней сосредоточенности». Маяковский же — «экранный», — помните, говорил: «Чувствую — «я» для меня мало...» Да, общество, народ тоже имеют свои права на поэта...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Поэт, даже великий, не настолько самонадеян, чтобы давать все ответы на вопросы общества.

Ответы может дать лишь само общество, людской коллективный разум, опыт людской.

Вопрос — движение, ответ же порой может быть статичен.

В. ОГНЕВ. Не всякий ответ — статика. В ответе — начало будущих исканий человечества. Совесть русского художника означала и постановку вопросов и посильную помощь в их истолковании и поиске решений. «Кто виноват?» — не риторический вопрос. Виноватые названы. «Что делать?» не провисало в воздухе. «Когда же придет частая ден?» —

отзывалось делами, которые приближали этот день. Я люблю строки Л. Мартынова:

Настающее
Настоящее.

И в вашей поэзии мне дорого именно то, что она приближает будущее, что она помогает мне находить ответы на мои вопросы... Поэзия без нерва Будущего сегодня, моему, вообще неинтересна людям.

Существует иллюзия, что наш парадоксальный XX век требует искусства дисгармоничного, жесткого. Ваша практика тоже, казалось бы, подтверждает это. Но вот тут-то и выходят из-под пера вашего такие, например, стихи:

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
Запрокинутые озера
Сенеж, Свиязь и Нарочь?
Вы молились ли на ночь, собооы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.
У лугов изумлявших —
запах автомобилей...
Ты молилась, Земля наша?
Как тебя мы любили!

Можно сколько угодно осуждать жестокое отношение к природе, но только поэт, взявший на себя груз ответственности XX столетия, сознающий себя черным мавром ревности к прекрасному творению — природе, — только он способен с такой силой трагизма — тихо! — прошептать вещие слова...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. В поздних пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников создать новую материю стиха, высшую форму. Это желание никогда не удовлетворяемо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия.

Так было с Бетховеном, Микеланджело, Гоголем. Так было с Маяковским. Роспись Сикстинской капеллы буграми вздымает потолок, как вскрытое чрево, напряженно-дымящийся могучий кишечник неба. Выделяющаяся энергия текста и есть содержание.

Поэзия отражает и рождает общественные и духовные сдвиги. «Во имя чего?» — главный вопрос поэзии. Во имя чего все эти рифмы и «техника»? И единственная жизнь отдается, чтобы вдохновить на труд и борьбу, воспеть прекрасное в нашей жизни, кому-то помочь, просветлить лицо, хоть одну слезу осушить!

Сейчас поэзия — общество охраны живого и прежде всего человека. А то один страшный весельчак подсчитал, что, если все человечество затопить в Женевском озере, оно подымется зеего на 10 сантиметров. И ничего не изменится.

В. ОГНЕВ. От футурологической гипотезы спустимся на грешную землю сегодняшних проблем человечества. Мы говорили о специфических вопросах мастерства, о материи стиха. И, что ж, само собой пришли к теме обязанности, долга литератора. Очевидно, тут и нет противоречия. Очевидно, в этом-то конечный смысл блоковской формулы: «Слова поэта — суть дела его...»

Вы наш гость. Почитайте что-нибудь из нового...

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Охотно. Мы много говорили здесь о связи звука и цвета. И я рад, что рисунки к моей новой книге во Франции сделал Марк Шагал — мастер колдовских цветовых композиций. В Москве он показал мне как бы источник его интенсивного синего — на столе стояли васильки, цвет его витебского детства...

Васильки Шагала

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жееты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый! Вот что вы действительно любите!
С Витебс.-а ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!

Сирий цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Земли различны, небо едино.
Небом единым жив человек.

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им серебренники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
за Пиренеи несли через снег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
взвыли архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,

пока не выступят васильки!
И сорняки здесь всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищипорено васильками.
Как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто
захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
небом единым жив человек.

краски родной земли

ОЛЬГА ГАРИНА

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ

Дом художницы Виве Толли, одноэтажный, с широкими окнами-стенами под черепичной крышей, находится километрах в десяти от Старого Таллина, в пригороде. Хорошо освещенные маленькие комнаты кажутся большими, а мастерская — залой.

Головы, торсы, готовые и, точно приведения, еще закутанные в белую влажную ткань, расставлены в мастерской. Плотный человек с красным лицом — их автор, муж художницы, зовут его Лембитт Толли. Среди скульптур не сразу замечаешь стел с инструментами, деревянными и металлическими, — чем-то похожи они на слесарные, ими художница и гравировет.

В мастерской прохладно, почти холодно. «Чтобы не расслабляться, быть в рабочей форме», — говорит Виве и усмехается, беря в руки медную чистую пластину, офортную иглу и начинает на ней рисовать, как карандашом. Соблазнительно легко движется игла. Хочется даже самой попробовать. Но странным кажется, что Виве — она перед этим рассказывала о себе — делает в год всего четыре-пять гравюр.

Через минуту-две на пластине не просто линии, а пейзаж.

— Это трудная техника, — говорит Виве и передает мне пластину. Только что награвированный пейзаж для художницы — всего лишь экзерсис. Ясный и легко читаемый рисунок на гравюрах Толли выполнен так виртуозно, что не возникает реального представления о многотрудной технике офорта.

Виве охотно отвечает на вопросы, но предельно коротко. Художник все, что он хочет сказать, выражает в гравюре. Это забирает все время, силы, этим он поглощен, а времени не хватает, несмотря на то, что рабочий день не завершается и под вечер. Виве прерывает разговор — иа подоконнике появилась белка; хвост — на спине, а лапки — на грудке. Дом Виве, хотя и на улице, но рядом лес, белка оттуда. Виве знает белку в «лицо»: как заправская попрошайка, белка каждый день прибегает к дому, знает наверняка — орехи дадут. Рядом с белкой на подоконник садятся голубь, воробей, и вот уж нет их. Так и в некоторых офортах

Толли ритм круглящихся линий на мгновение прерывается множеством точек, будто разом из-под резца художницы вспорхнули птицы.

Следующая встреча с Виве — в экспериментальном графическом ателье. Здесь художница печатает оттиски со своих гравюр. Сама дорога в мастерскую помогает увидеть то, что художница избрала мотивом серии офортов о городе.

Десять километров для Эстонии — большое расстояние, автобус идет по дороге, параллельной морю. И отсюда, почти от самого дома художницы, виден Таллин. Он кажется очень далеким и огромным, дома и церкви будто вытянулись цепочкой. Но когда пройдешь через Большие Морские ворота мимо башни Толстой Маргариты и очутишься в центре Таллина, впечатление резко меняется. Как сказано в древней рукописи, видишь «маленький город наподобие большой крепости». Внутри крепостных стен бродишь по городу, как по старинному замку, узкими коридорами-улочками. На них легковые машины теряют скорость и не едут, а, как разноцветные жучки, пробираются по булыжной мостовой вверх-вниз. Толща стен уже не отпугивает: вблизи видишь из только оконные проемы — их украшают стрельчатые и круглые декоративные ниши, входные порталы, гербы и эмблемы из резного камня. А фонари, предвестники вечера, и днем вносят домашний уют, спокойствие. Из церквей доносится негромкая органная музыка — и не вдруг слышишь ее, а точно не смолкает она уже несколько веков, привлекая внимание прохожих. В ней различаешь звуки шарманки с каким-нибудь старым, давно забытым напевом, или волюнку С ее протяжной и будто связанной с древностью монотонной песней.

Город разрастается, набирая высоту, и вот видишь Домский собор и оставшуюся от старого рыцарского замка башню Длинного Германа и Нижний город, с его яркими черепичными крышами домов и уютными площадями... И опять — вниз, к подножию горы, к морю, где стоят легкие маленькие парусники и рыбацкие лодки. Они-то невольно возвращают снова к Виве Толли, к ее детству.

Виве Толли подолгу жила на островах Эстонии среди рыбаков, изо дня в день видела, как они уходят в море на трудный промысел и, возвращаясь на остров, снова и снова чинят и сушат сети. И сегодня это так же важно для них, как и вчера, и завтра они опять будут связывать ячею с ячеей.

Удивиться обыкновенному значит сделать первый шаг к пониманию жизни. Попытка перенести увиденное на бумагу оказалась первым шагом к будущей профессии самой Виве Толли.

Окончив школу, Виве Толли поступает в 1948 году в Таллинский художественный институт на отделение керамики, но затем оставляет его: видимо, темпераменту художницы, ее жизненным впечатлениям соответствовал более «трудный» материал — гравюра на меди. В технике офорта была выполнена дипломная работа «Рыбный промысел на острове Кихну». Уже сам выбор темы и ее решение носили не ученический, а творческий характер.

В офортных листах Толли есть аскетизм и суровость, свойственные самой жизни и труду рыбаков-поморов. Иной раз у зрителя они могут вызвать внутреннее сопротивление: зачем, мол, так документировать увиденное да еще в таком будто замедленном темпе? Но в самой манере их выполнения есть своя логика, и она оправданна.

Толли на первых порах многое видела еще как бы издалека. К тому же, избегая аффектации, ложного пафоса, художница иной раз была скована до сухости, немногословна. А ей хотелось не робкого вхождения в мир рыбацкой жизни, а полного слияния с ним.

Толли делает десятки карандашных набросков, учится отбирать детали, чтобы выявить задуманное. Но одно дело наброски, другое — гравюра. Она требует концентрации всех усилий. И когда резец поспевает за мыслью, а линия подчиняется резцу, многое удается передать в офорте, и у художницы уже нет боязни, что может возникнуть эмоциональная передержка или ощущение неискренности и многословия. Тогда и возникают лучшие листы, такие, как «Можжевельник», «Штормовая погода», «Рыбак».

Как экзотическое растение, случайно выросшее на маленьком эстонском острове, выглядит небольшой куст можжевельника. Он в центре гравюры, и его видишь прежде

всего. Справа от можжевельника вытянулись деревянные домики рыбаков. Напоминаая баркасы, грубоватые, неуклюжие, пригнанные к берегу попутным ветром, они уткнулись в песок. От куста к причалу и от рыбацких домов к можжевельнику расставлены на просушку сети. Вокруг сетей привычно хлопочут рыбаки. От куста можжевельника как бы начинается и завершается обзор всего острова. Резец и офортная игла художницы, вторя ритмам природы, оставляют короткие штрихи, и они все гуще ложатся в центре листа. Можжевельниковый куст как бы подчиняет разбросанные рыбацкие домики определенной пространственной логике и придает устойчивость жизни, которая связана с переменчивым морем.

Художница в этом офорте, как и в иных гравюрах рыбацкой серии, точна и достоверна, но ей чужда грубая прямолинейность, бьющая в лоб повествовательность. В ее листах нет и бурных страстей, но тончайшие нюансы настроения помогают выразить скрытую поэтичность островной жизни.

На других офортах Толли рыбаки или сидят на берегу — они чинят сети, или стоят, ссутулившись, в платках и кепках, возле вешал с сетями, их лиц почти не видно. Главное для художницы — передать напряженный ритм движений работающих людей. Она не подогревает интереса зрителя эффектными мизансценами. Любая нарочитость ей чужда. Портреты у Толли лишены молодецкой грубой бравады. Так, в офорте «Штормовая погода» изображены несколько мужчин и женщина, а вдали черная полоса прибоя, но просматривается она через растянутые на вешалах сети. А люди стоят в два ряда, бочком друг к другу, как при ходьбе. Запоминается лицо старика в первом ряду — узкое, с добрыми прозрачными глазами под цвет моря, окруженными морщинами, и лицо молодого круглощекого парня. Старик и парень — как бы два полюса группового портрета.

Глядя на офорт, веришь тому, что островное пространство может превратиться в узкую площадку, на которой едва умещается десять человек, и будто поджигает их взбудораженное, штормовое море, хотя оно обозначено лишь черной полоской.

Художница стремится проникнуть во внутренний мир своих героев-островитян. Вот два старых человека сидят рядом, будто не обращая внимания друг на друга, но в их позах, в том, как они доверчиво соседствуют друг с другом, взгляд зрителя отметит родство душ, их подлинную дружбу.

Интересен и другой портрет Виве Толли: в середине полуосвещенной комнаты на грубо сколоченном стуле сидит рыбак. Резко очерченное худое лицо, рот плотно сжат, но в глазах нет суровости. Усталые большие руки лежат на коленях. Пробивающийся из окна луч освещает кораблик на стене, цветок на подоконнике. Эти две-три детали приведены в такое соприкосновение друг с другом, что приобретают не бытовое звучание, а поэтическое и немного наивно-детское.

Парусник на стене — легкий, светлый и оттого кажется праздничным.

Есть какая-то образная переключка и связь между офортом, где можжевельник возникал перед нами в центре острова, и цветком, который стоит на подоконнике в комнате рыбака и как бы согревает ее. А парусник продолжает свое странствие на стене и что-то досказывает нам о человеке, который сидит неподвижно.

Толли создавала офорты и для поэтических сборников и сказок. Графический образ у нее сродни поэтическому, видимо, потому так и близка характеру дарования Толли народная легенда, сказка, их атмосфера, настроение. И, подобное сказителю «Калеви-цозта», художница

Горсть берет в стране мечтаний.
Горсть другую — в доме правды,
третью горсть — в деревне слухов.

Жизнь людей моря так долго приковывала внимание художницы, так упорно своим искусством Толли противостояла всем штампам псевдоромантической трактовки этой темы,

что невольно она подчиняла себя жесткой дисциплине лаконичного, иногда аскетически сдержанного образа. Здесь же Толли отменила ранее принятые ею запреты — она свободно вошла в мир вымысла, легенд и сказок.

Ее офорты заселяют люди, множество людей; чаще всего они держатся стайками: то приближены к самому краю листа, то теряются среди зелени лесов или бредут по дорогам, как странники. Возникает тип сказочного человека — он подвижный, общительный. Герои чем-то похожи друг на друга, но мы без усилия отличаем старого от молодого, наивно-доброго, восторженного от умудренного опытом, спокойного. Эти сказочные люди переживают те же тревоги, радости, огорчения, надежды, что и простые смертные, в них есть не сознающая себя доброта и бескорыстие, и это делает их образы особенно привлекательными.

Среди земляков Виве Толли живет поверье: если загрязнить чистое озеро, оно исчезает и, подобно облаку, начинает странствовать. По мотивам этой легенды Толли создала гравюру «Блуждающее озеро».

В центре офорта, на берегу исчезнувшего озера, стоят два удивленных крестьянина с воздетыми к небу руками. Мир для них раскололся, и потому, быть может, действие иа офорте разворачивается как бы в двух разных пространствах — на земле и вокруг нее.

Берег исчезнувшего озера стал границей мира реального и фантастического, и мы видим все, что встречается на пути озера: сказочного вида птицу, лошадь с разукрашенной повозкой, быка и рыб, глиняный кувшин... Весь этот мир походит на гигантскую карусель. Она вертится, и рождается ощущение, что земля круглая. Оттого девушка летит вниз головой, но не разбивается; хуторянин падает, не касаясь земли; а хутор выглядит маленьким солнечным островком.

И если в листах, посвященных жизни поморов, орнамент почти отсутствовал, то в озерно-лесной серии он основа, на которой держится рисунок. По сути, и свето-теневая штриховка — тоже узор. Под его напором предметы утрачивают свою будничную интонацию, и декоративность листов рождается будто из ничего. Этой серии свойственна особая праздничность, которая чем-то сродни крестьянскому танцу, песне, орнаменту.

Эстония — страна тысячи озер, и вокруг них выросли селения и города. Удивительны сказания, связанные с возникновением старинного города Таллина.

В одном сказании говорится, что каждую осень, темной ночью к воротам города приходит седой старик и спрашивает у привратников: «Готов ли город?» Если на вопрос старика случайно ответят, что город готов, в тот же миг Таллин погибнет: воды озера Юлемисте обрушатся на него.

В листе Толли «Озеро над городом» видишь островерхие крыши, узкие фасады домов, башни, малые и большие, стройные и приземистые, шпили, многоярусные кивера церквей. В их очертаниях приметы ренессанса и барокко. Но выше всех готический шпиль церкви Олевисте. От него как бы в многокрасочном повторе разбегаются в разные стороны в учащенном ритме крыши жилых домов, башни крепостной стены. Непрístupный город подковой охватил бухту и замер в ночи. Над ним, как зловещая туча, нависло озеро Юлемисте.

Очень различны офорты Толли по темам, манере исполнения, настроению.словно все эти годы художница в неустанном странствии-поиске. Странствуют и ее гравюры. Они обошли выставки Софии и Любляны, Лейпцига и Венеции, Будапешта и Токио и были не только представлены, но и удостоены премий. Офорты художницы помогли зрителям разных стран проникнуть в своеобразие природы и народа Эстонии.

«Дальше только красный...»

Хочу поделиться с вами. Такое положение, как у меня, еще у сотен тысяч. Состояние невесомости перед сессией, когда не знаешь, то ли ты благополучно приземлишься, то ли придется еще повисеть. У меня за спиной пока первый курс, и то не весь, только одна

сессия; положение проще, чем у тех, кто сдает выпускные в школе и готовится к вступительным экзаменам не только в вуз, но и в жизнь. В институте я встречаюсь уже сейчас с теми, кто хочет поступать. Первыми приходят взрослые абитуриенты: отслужившие в армии или те, кто проработал год-два и твердо решил поступать именно сюда. Для них не стоит вопрос «кем быть?». Идут и другие — прямо из школы. Среди них разные люди. Есть и такие, кто по-настоящему готов учиться, и те, кого прислали мамы-папы знакомые, а бабушка обошла все институты, пока, наконец, не нашла среди преподавателей свою давнюю подругу.

Тут уже стоит ребром вопрос: «Кто будет учиться? Сыновья, дочери, а может быть, их папы или дяди-конструкторы?».

С первого сентября серьезные будут с упоением учиться, другие же начнут регулярно пропускать лекции и практические занятия, а потом приносить выполненные на «пять» отмытые эшюры, чертежи, затратив время лишь на то, чтобы их в срок доставить. Ну, а как же остальные предметы? Папа не сможет сдавать их. А, ничего, поможет тетрадь с лекциями соседа, чья-то подсказка. Первый раз не сдам, так второй, третий — зачет поставят. Вот так пять лет и пройдут.

Для диплома можно приспособить те же приемы. А потом?.. Неизвестность — чем я могу оправдать свой диплом, какими делами? Тупик. Дальше только красный свет. В лучшем случае такие студенты после первого курса освобождают место, которое кто-то мог бы занять и получить максимум знаний, специальность и удовлетворение.

Как это обидно! Ведь мы познаем мир и науки не только, чтобы работать, но и от самого познания получаем радость, открывая то, чего не знали. Пытаемся сами вновь открыть закон всемирного тяготения, теорию вероятности.

У меня спрашивают и очень часто: «А какая у тебя цель? Стать хорошим инженером? А что ты за это получишь? Ведь сейчас инженеров хоть пруд пруди, и выделиться очень трудно».

Но ведь это же не главное — выделиться. Просто работать, просто быть специалистом своего дела. Разве это не цель, не то, что приводит человечество к великим открытиям?

Может быть, это не только мое мнение. Конечно, есть и другие точки зрения.

Анна Т.,
студентка Московского инженерно-строительного института

письмо
СЕНТЯБРЯ

КОМУ
СВЕТИТ
ЗЕЛЕНый?

Другие точки зрения...

Безусловно, они есть. Когда я показала письмо Ани двум знакомым студентам, они высказались откровенно:

— Ну, ясно, сейчас начнутся речи о долге перед обществом, об отдаче, о счастье страны и прочее. Это, конечно, все верно. Но хотите откровенно, так, как мы между собой говорим? А счастье самого человека, его польза, его удача, его успехи — почему об этом никто не скажет? Ведь на поступлении дело не кончится. А потом, может, эти «бабушкины внуки» попадут благодаря той же бабушке в проектный институт и будут еще указания давать «серьезным», которые распределятся «куда пошлют». Кому из них легче жить будет — это еще вопрос. Вот тогда и выяснится, для кого красный свет, а для кого и зеленый. Но только об этом не говорят. Не принято.

Почему же, давайте поговорим именно об этом. Не об отдаче для страны, государства, долге — это вопрос бесспорный. А вот о том, кто в конечном итоге «ухватил удачу за хвост» — тот, кто поступил куда угодно, к бабушкиной знакомой, или тот, кто не поступил, но твердо решил, что и на будущий год будет пытаться поступить только сюда и никуда больше? Между прочим, здесь мы можем выслушать мнение не только Ани из МИСИ. Вот письма, которые я собираю уже несколько лет, письма, которые я бы назвала письмами о том, «как поступали».

«В этом году я подала документы в один уфимский институт, хотя о будущей своей профессии не знала ничего. Просто надо было куда-нибудь «поступать», и все. А потом, когда все начали задавать вопросы: почему поступаешь туда, я и сама задумалась: «Нужна мне профессия или только диплом?» Но все кругом убеждали: теперь поздно передумать, если не поступишь, то стыдно будет перед учителями, дирекцией школы и т. д. Но мне кажется, не стыдно и не поздно. Поздно будет тогда, когда я, окончив институт, начала бы работать хладнокровно, а потом бросила бы работу, а переучиваться уже было бы поздно.

Ира».

«Работать хладнокровно» — трудно точнее определить, что бывает, когда человек обручится с нелюбимым делом. Плохой, скверный проект детсада — дети и то зовут его «скучный дом». Не потому ли он таков, что инженера, который его разрабатывал, гораздо больше волнуют помидоры, которые он выводит на балконе, и он несостоявшийся ботаник?

Мне рассказывал один знакомый радиоинженер: у них в лаборатории была женщина-техник, которой ничего не нравилось — ни чертить схемы, ни работать с паяльником, ни проводить испытания. Все, что заставят, она делала, что называется, от сих до сих, со скукой в глазах.

И вот однажды ей поручили новую работу — перекомпоновать элементы в одном приборе. Вначале она и за это взялась, как всегда, нехотя, но вдруг загорелась. Нарезала из бумага выкройки деталей, пробовала их расположить и так и эдак — уже давно прозвенел звонок, ушли сотрудники, а она — небывалый случай! — все сидела в лаборатории. Назавтра эта работа была ею выполнена отлично. Все удивлялись: как емко, экономно использован каждый миллиметр площади прибора!

— А что же вы хотите, — обронил кто-то, — она же замечательная закройщица, модельер, у нее ж талант. Она, и когда кроит, каждый сантиметр ткани использует. Ей бы где-нибудь в этой сфере работать — цены бы ей не было. А у нее родители — радисты, они ее в радиотехнический и толкнули. А в модельерши казалось несолидно, да и не попадешь еще. Вот и мучается. И мы с ней. И она сама.

Мучается сама... В этом-то и вся суть. Она несчастлива, у нее нет удовлетворения от работы, она неудачница. А ведь неудачник — это просто человек, разминувшийся со своим делом.

Весь вопрос в том, сумеет ли человек найти то дело, которое поможет ему «проявить» свою личность, характер, заложенные в нем возможности.

В этой кажущейся нынешней удаче — «поступил», «прошел» — уже заложены, запрограммированы все будущие несчастья «хладнокровного» специалиста: желчность доктора, который томится на приеме надоевших больных, отчаяние учительницы, которая не любит учеников.

Давно нам известно горьковское: «Когда труд удовольствие, жизнь хороша!»

Итак, кому же светит зеленый? Кому светит зеленое «Идите!», а не красное «Стойте!»? Кому светит удача? Кому повезло? На первый взгляд все до простого ясно: тем, кто поступил, повезло, удача при них; тем, кто не поступил, не повезло, у них неудача. Но, кроме первого взгляда, есть и второй и третий. И вот послушайте девушку, которой вроде бы не повезло:

«Я работаю на камвольном комбинате в гор. Свердловске ученицей ткачихи. Еще недавно я поступала в университет, мечтала об историческом, но получилось так, что я работаю. И удивительно: нисколько не жалею, а наоборот, у меня даже появилась гордость за то, что и мой труд вливается в общее дело. Профессия текстильщицы оказалась интересной. А ведь я могла о ней ничего не узнать!

На следующий год буду поступать в Московский заочный текстильный институт. Буду учиться и работать.

Л. М.».

А вот исповедь девушки, которой вроде бы повезло — она уже окончила учебу. И что же?

«Я окончила культурно-просветительное училище, работаю, но меня тяготит нелюбимая работа.

Я знаю, это идеологический фронт, но чувствую: не туда попала! Что же делать? Сейчас мне уже 19 лет.

Если у меня будет любимый труд, я смогу работать с полной отдачей, не жалея себя! Сейчас я никакой пользы не приношу, я трутень! Я просто ненавижу себя, не уважаю. Делаю на работе только то, что скажут, а своей инициативы не проявляю.

Ведь это нечестно, когда работаешь и не любишь дело, да?

С. Т.».

Да, нечестно. Гораздо честнее вот так:

«Я поступала в медицинский институт, но не прошла по конкурсу. Что оставалось делать? Опускать руки? Пошла устраиваться на работу. Предлагали устроиться где получше, поудобнее. Но, поверьте, меня привлекает профессия стоматолога. Значит, нечего раздумывать, надо идти работать ближе к этой профессии. «Устройте меня кем угодно, только здесь», — сказала я, придя в стоматологическую поликлинику. Мне хотелось поближе познакомиться, получше узнать, увидеть людей своей будущей профессии, проверить себя, смогла ли бы я работать стоматологом. Стала работать санитаркой. Специальность не такая уж для некоторых привлекательная, но мне понравилась. Днем работаю, вечером занимаюсь. Уверена, что обязательно получу любимую профессию.

Галина К., 18 лет, г. Кострома».

Как видим, цели поляризовались примерно так: одни — «где угодно, лишь бы диплом»; другие — «кем угодно — только здесь».

Как тут определить, кому из них светит зеленый, кто удачник, кто неудачник? Несопоставимы здесь потери и приобретения. С одной стороны, диплом, оклад, карьера, с другой — такие невзвешиваемые вещи, как радость бессонного рассвета, мука и тревога решения, отчаяние неудачи. Вся та полнота жизни, которая вобрала в себя блоковское: «Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет!»

Аня писала свое письмо в июне, «в состоянии невесомости перед сессией». Надо надеяться, все обрело свой вес; для этого у Ани есть основание — сила притяжения к делу... А сейчас сентябрь. Еще светятся зеленые рощи, но уже проглядывает желтый свет, свет предупреждения: «Впереди зима!»

Впервые раскрывают свои конспекты первокурсники, шелестят страницы и листы в читальнях, шуршат рулоны первых чертежей. Мягким зеленым светом начинают гореть настольные лампы. Пора. Свет Сентября, зелено-золотой. Свет надежды, свет тревоги. Для одних он горит ярким: «Идите!» Идите дальше, вы на верном пути! Этот свет и для тех, кто

«не поступил», но на следующий год придет «только сюда». Но кому-то с новеньким «бабушкиным» студбилетом он зажигает тревожное предупреждение: «Подумай! Еще не поздно! Туда ли ты сделал шаг?»

Конечно, законы жизни посложнее законов светофора. Но все-таки в этом осеннем сентябрьском свете яснее дали и четче цель, та самая, о которой пишет Аня: «Не выделиться, а стать просто человеком».

Ада ЛЕВИНА

руку, товарищ строитель!

ВАДИМ ЛЕТОВ

ГЛУБИНКА

Самолет «АН» утомительно долго пробивал многоэтажье облаков, по-зимнему знобких и скучных. Бортпроводница, раздавая леденцы, говорила, что за бортом ужасно холодно и сыро, но все это ерунда и через пару минут «АН» приземлится в аэропорту Сургут.

Потом облака прорубило, и снова обозначилась Сибирь, но теперь посреди снегов Моисеев увидел свой поселок, поселок Двадцать Девятого мостоотряда — многоцветный, как лубок, с петушьим пером дымка над центральной котельной, с костерками газовых факелов на ближних нефтепромыслах и буровой вышкой на Обском берегу. И люди, и сваи, трактора и машины, просто теплушки и сварочные агрегаты конопушками пятнили реку, все это уже складывалось в мост...

— Здравствуй, что ли, — тихо сказал Моисеев всему этому. — Как ты без меня целую неделю обходился?

Но Двадцать Девятый уже исчез, и Моисеев угадал шоссе, а на нем поселковый «безразмерный» автобус, идущий из Сургута, затем пропал и он: иллюминатор заполнило блеклым солнцем.

— Товарищи пассажиры, — опять не по инструкции сказала в микрофон бортпроводница, — берегите уши: в Сургуте минус сорок...

Девушка коротко засмеялась в микрофон звонким весенним смехом, и все равно на земле оказался ветреный и неуютный февраль, и никак не верилось, что в мире случаются и другие февраль — поухоженней и щедрее. Они все-таки были, Моисеев это помнил и, направляясь к поджидавшему его из командировки «газику», поулыбался им покровительственно и в то же время грустно.

Три дня назад в Гагре Моисееву почему-то вспомнилось, что ананасы все-таки пахнут облепихой, и до горечи во рту захотелось ее, с морозцу хрусткой и пряной. «Надо ехать, — подумал он, — на-до е-хать».

Ночью штормило, пальмы скреблись в окна, Моисееву не спалось, и он осторожно, опасаясь разбудить жену, вышел на веранду. Там, утонув в шезлонге, курил хозяин с несчастным именем Нектар.

— Толья, — пошевелился он, увидев жильца, — старею, а? Ресницы стали реже, брови — гуще, отчего?..

За оградой мерно погромыхивало море, по нему крались туманы, хмурь и прожекторные лучи.

— Пора, пора нам к березкам в снегу, — сказал Моисеев. — Мы от тебя, пожалуй, досрочно уедем...

— Когда первая в году радуга окунается в море, — Нектар поглядел на Моисеева умудренно и строго, — в его глубинах рождаются перлы. Чтобы полюбить море, возле него надо пожить. Море, оно неповторимое, как твои березки в снегу...

— Конечно, неповторимое, — кивнул Моисеев, — я и не спорю. Но море, скажу тебе, в сибиряке воспоминания детства не разбудит. Реки же наши и мосты через эти реки — я и в первой дреме вижу.

Ему представилось, как сейчас их дощатую конторку на левобережье Иртыша исхлестало февральской вьюгой, и тяпляпистая конторка окрасилась, конечно, в праздничную белизну. По весне та снежура обязательно засверкает бриллиантами и засочится теплыми слезами.

— В каждом живет своя река, — говорил Нектар, — и такое, думаю, терять нельзя, это ты верно...

— Вот что, — махнул рукой Моисеев, — все равно не успем. Давай кофе сочиним, да почернее, вроде этой ночи...

Половину из прожитых лет Моисеев строил мосты — сперва на ватмане, потом — натурально, в Сибири. Мосты были разные — значительные и не очень, и отойти от них, раз и навсегда, он, как ни тужился, не мог. Теперь предстояло объяснить жене, почему не смог. Она тоже была мостостроителем и до поры до времени непоседой. В Риге организовывалась лаборатория их профиля, Моисеев не без нажима жены выстоял конкурс, чтобы стать начальником отдела, теперь все технические сложности были позади. И Рига и будущее виделись жене розово и волшебным, она, и правда, поустала от частых переездов и неустроенности. Женщина — всегда женщина, и рушить ее мечту об уюте и театрах Моисеев откровенно стыдился, потому и не спал, потому и вспоминал облепиху.

Отпуск был длинным, северным, и домой Моисеевы ехали поездом. Тот звался фирменным, еще — скорым, но никуда не торопился, умудрялся останавливаться даже в тоннелях и в конце концов за такую обстоятельность им даже полюбили.

Моисеев, бездельничая, молчаливо вглядывался в малоснежные поля, рыжих от скрученных морозами озимей, в черные от пыльных бурь сугробы, в тени лесополос, думалось ему трудно, а однажды он поймал себя на мысли, что за прожитое многолетие пробыл в дороге очень и очень много, по от нее не устал, а только приохотился к ней безнадежно.

Вечером, гася верхний свет, жена сказала ему:

— Толя, поспал бы, плющишь и плющишь нос о стекло, что высмотрел-то, ребенок?

Он засмеялся, откинулся на подушку и ответил в темноту:

— В лаборатории наотдыхаюсь: там работа от и до, еще два выходных, чтобы не переутомиться от многодумности...

— Это разве плохо — от и до и еще два выходных? — Голос у жены звучал настороженно и даже враждебно...

Полуночью, выслушав сводку, он забурчал, стыдясь самого себя:

— В Риге сыро, слышала же, какие-то циклоны и на них антициклоны, бр-р, к тому же, говорят, Гольфстрим заблудился, дети будут болеть ангинами, да и матери перемена климата ни к чему, а на Оби лето, как лето, зима же — зимище, а грибов-то в августе сколько...

Она улыбнулась горестно, ее муж начисто был лишен дипломатичности, все рубил сплеча.

— Значит, сургутский мост? И, как всегда, последний?

— Последний, — обреченно кивнул он, — пречестное слово, последний. Пора и честь знать: всю жизнь на колесах, пятую квартиру меняем, часто газет свежих не видим... А живем все-таки один раз.

Он говорил ее словами, очень правильными, в душе уже торжествовал победу, неожиданно легкую. Легкую потому, что его понятливой жене, без сомнения, тоже хотелось строить мост, не могло не хотеться. И еще, думал он, многие, наверняка, не поймут их отказа и от рижской квартиры и от верных степеней; отказа ради чего — моста, пусть даже уникального, пусть даже двухкилометрового, длиннее, чем через Босфор, но только моста...

— Один раз живем, — опять сказал он, думая теперь совсем о другом. А жена, одолевая слезы, закруглила решение:

— Так и быть, потолчемся еще на околице цивилизации...

— Москва-то скоро? — проснулся парень, сосед по купе, — Знаете, кого я во сне углядел? Эдика Стрельцова! Как даст лысуха по углу, аж я проснулся...

— Н-да, — засмеялся Моисеев, обняв жену за плечи, — сложная была у Стрельца задача, сложнейшая, но он ее осуществил...

— Осуществил, — сказала жена, и парень опять озадаченно взглянул на .них. И все-таки поезд шел отвратительно тихо, то был поезд не для занятых людей, курортная, неторопливая карета...

Моисеев был главным инженером на строительстве моста через Иртыш под Тобольском. Когда железная дорога пошла от Тобольска на Север и Моисееву предложили возглавить новую стройку на Оби, он, пряча радостное смущение, сказал, что всю жизнь готовился к такому. «Впрочем, — добавил он серьезно, — я пошел бы на обский мост в любом инженерном качестве, я его в пеленках видел». Он несколько лет был куратором проекта через Большую Обь и про пеленки говорил верно.

В Сургут они летели вчетвером, всем наличествующим штатом или точнее — штабом. В Тобольске их называли «десантом», так оно и было на самом деле — новый плацдарм, передислокация.

Тобольский рейсовый прилетел в Сургут затемно, гостиницы город еще не выстроил, и ночевать они определились в строительное общежитие. Через дорогу светился ресторан: там было все по-сибирски капитальным — и стулья, и пельмени, и ударник.

— Что значит глубинка, — сказал им из-за соседнего столика парень с озорными глазами. — Представьте себе, местный повар, уж-жас, не знает даже турецкого. Шашлык, что? «Шаш» — шесть, так, нет же, здесь нижут на шампур четыре куса мяса вопреки требованиям словаря и проголодавшихся клиентов. Петька Ключов, — без какой-либо паузы отрекомендовался он, — водитель-маэстро, пришелец из страны коротких теней в страну длинных рублей...

Моисееву определенно везло: «левый» шофер уже требовался наутро.

— Маэстро Ключов, — Моисеев уже вытягивал из кармана схему отведенного им участка, — не свезете ли случаем на место, где будет город заложен?

— А что? — пожал плечами Ключов. — Дело нашей компетенции...

Утро следующего дня обещало дружную весну — на лесных прогалинах с шумом проседали сугробы и поржавели на реках метровые льды. Ключовский «ЗИЛ» до Оби сколько-то не дошел, уперся в бурелом, и Моисеев с километр вышагивал по ноздристому и гулкому насту, наслаждаясь последней тишиной. «Такая тишина, — думал он, — в наше время дается в награду».

На берегу, у края льдов, Моисеев присел на поваленную временем лиственницу и похозяйски огляделся. Будущий поселок отлично смотрелся на лобастом взгорке, он его уже мысленно видел: там, где снега повыдуло ветрами, был песок — комарья не ожидалось, о чем еще мечтать. В весну тут заливало за горизонт, на тридцать пять километров, пойма раскинулась на полнеба, и мосту предстояло уйти в этот простор и голубизну, чтобы упереться устоями в остров Городской, который назван так, видимо, потому, что находится как раз напротив Сургута. На опушках вразнотык стояли березы, и Моисеев только сейчас увидел: березы-то голубые. Иными, подумал он растроганно, их видеть и нельзя: в них голубая кровь Сибири...

Он деловито прикидывал, как окнами к свету и к реке расставит-уложит свой первый поселок, как взметнется с годами этот мостпщс (нет такого ни в Барнауле, ни в Новосибирске), как взломится с первым гудком эта тишина и населится глубинка новым содержанием, а они опять уедут па новые реки и горизонты.

Еще не родился Колумб и не утонул Ермак, а сюда, в обское Лукоморье, в поиске земли обетованной уже забредали из-под Новгорода вольные русичи. Еще мир не ведал волшебного слова «Сибирь», и Европа с времен Геродота не меняла мнения, что за Камнем, Урал-горами, обитают нелюди — гоги и магоги, а московские князья уже брали с сургутского хана Певгея посильный ясак — по соболу с подчиненной тому души. Здесь собольи шубы росли на кедрачах, а воротники из горноста, если очень приглядеться, сушились на смородинных кустах.

Сургут, обская столица «мягкой рухледи», начал отсчет своим годам вслед за Тюменью и Тобольском, но за многолетье преуспел мало и захирел. Природа не бесконечна, когда к ней относятся по-хамски, потому веком позже, в великопетровские времена, на Высочайше утвержденном гербе Сургута значился, заметим, не соболь, а тощий лис, бредущий сквозь метель «...в знак обильной ловли оных в округе». А еще через два века здесь не было ни лис, ни городища. Перед первой мировой в Сургуте жило 149 аборигенов да каторжан, занятых для пропитания рыбацким промыслом: «Сургут» по-остяцки «рыбная пойма», оно и нынче так...

Но в лето тридцать четвертого геолог Васильев, дотошный человек, в глухомани, близ Сургута, на таежном обском притоке по имени Юган, собрал в склянку из-под джема первую сибирскую нефть. Она маслянисто взбулькивала у среза. Те два или три миллиметра керосиновой пленки — они и начали отсчет миллионам тонн нынешней нефти Тюменщины. Это ей, вершительнице судеб и веков, требовалась железная дорога, мост, двухсоттысячный Сургут среди тайги, — вот об этом и думал Моисеев, положив подбородок на мосластые кулаки.

Журнальная фотография, кус жизни, выхваченный чутким к поэзии человеком, вспомнилась ему тогда. В сквере, может, в Таллине, а то и в Дрездене, он не помнил, где, на низком, в три кирпича, постаменте сидел, подобрав под себя ноги, гипсовый человек в длинных одеждах, нос картофелиной, и прутиком чертил на песке то, что неволило его мысль. Рядом же, о бок, стояла садовая, из планок и стоечек, скамейка, песочек тоже был возле. Садись, приглашала она, думай и ты, пожалуйста, думай, что оставишь людям — закон Архимеда, протертый от ерзанья стул, рецепт рождественского пирога, а то и мост. Как бы там ни было, вдруг оказался на той скамейке и Моисеев: надо сохранить на века и природу эту, и неоглядые лесов, и прелесть Оби, разве что взрезанную стремительной строкой моста, его моста. Мосты, думал он, соединяют настоящее и будущее. Так оно было и будет.

— Ну и как, — тронул его за плечо подошедший Ключов, — город будем закладывать сейчас или отложим на утро?

— Он уже заложен, — неулыбчато сообщил Моисеев, — взглядишь, маэстро, увидишь, если глаза остры...

— Прекрасный град, — ухмыльнулся тот, — белки прыгают и скупают: распивочной нет, непорядок, шеф...

Но на обратном пути он все-таки вдумался в моисеевский настрой и рассказал про виденную им польскую «пульти-мульти», в которой герой, дерганый и суетливый человечек, сперва вырубает заповедный лес, там мостит площадь, а затем трепетно лелеет ненароком оставшийся меж камней цветок.

— Нет, — сказал на то Моисеев, — пусть у нас на такое дурости не хватит. Даль, энциклопедист, сказал, что слово «берег» произошло от слова «беречь»... Хорошо сказал, а?..

Поселок поднялся среди тайги, и белки, точно, не покинули ее, стрекотали на кедрах. На околицы среди зимы налетали из тундры розовые куропатки, поселковая птицеферма. Живыми они розовели, что южное утро, но на чучела никак не годились, потому что стреляными сразу теряли цвет и сливались с белыми снегами, только клювики чернели...

Потом в поселок стали приходить письма, Моисееву больше всех. «Опять невесте вести», — говорили на почте. Моисеев писем ждал: то писали его кадры, бывшие и

будущие. На одном из конвертов, к примеру, значился такой адрес: «Сургут, начальнику моста». Писал и Юра Гончаров, бурильщик что надо, с ним Моисеев поднимал и тобольский и омский мосты, работать тот умел. «Живу хорошо, — писал он из Калининграда, где тоже строил мост, — но желаю еще лучше, заберите в Сибирь, как Ванька Жуков прошу». Страна узнала про мост, узнала и выделяла его — вот что главное.

В документах и адресах поселок так и остался Двадцать Девятым, по номеру мостоотряда, но улочки называли разное и памятно — Таежными, Красивыми, Молодыми. Главную же называли Апрельской — отчасти в память и о «десанте», но больше из-за ленинского субботника, с которого, собственно говоря, все и началось — первый дом, первый след. Дорогу к стройке пробивал на бульдозере все тот же Ключов: техники у Моисеева до навигации не было. От «гонорара» Ключов категорически отказался и моисеевскую десятку оглядел весьма равнодушно.

— У облика, между прочим, тоже две стороны — внешняя и внутренняя. Только это не каждый знает... Может, и я для будущего взмокнуть желаю, — сказал он.

«Возможно, — подумал Моисеев, — возможно, милый ты мой, каждый человек ищет свой мост, и не у всех отыскивается сразу, ищи и ты...»

Юра Гончаров, теперь уже бригадир буровиков, самый нужный в мостоотряде человек, озадаченно стоял у забитой на одну треть свай, и тяжелые кулаки его безвольно обвисали по бокам. Поодаль стояли парни из его смены. Одних Моисеев знал и раньше, другие обозначились только здесь, новая поросль и надежда.

— И куда геологи смотрели? — обиженно вопрошал Гончаров, ему никто не отвечал, и он заметно распалялся. — Наверняка в книгу... Какие, к черту, здесь песчаники? Валуны, зубовный скрежет, за смену ерунду одолели, чистый смех...

Свай, огромные, в три обхвата, в сорок тонн весом, взглядом не сразу окинешь, в грунт не шли, и тем не менее мост надлежало строить.

— Юра, — без тени улыбки сказал Моисеев, — я тебе кое-что посоветую. Слетай-ка в Москву, мы тебе командировку оформим, и покажи ты этим геологам, где в их проектном институте пятый угол и трехсотый этаж. А то и меня погоняй, я тоже им передоверился...

Первым засмеялся Кестукис, парень из Литвы, новичок. Он смеялся взахлеб, и его молодая борода забавно тряслась. До моста он служил где-то инкассатором и как строитель рождался сейчас, в первую трудность. Нельзя, решил Моисеев, нельзя таким Кестукисам начинать с неверия в свои силы.

Сваям предстояло уйти глубоко в землю, чтобы затем над водой сомкнуться десятками вершин и на тот гигантский оголовок принять всю неимоверную нагрузку, что полагалась мосту. Но все начиналось вот с этого — с опущенных рук Гончарова.

— Скажете тоже, — буркнул бригадир. — Никуда я не поеду... Мы эту проклятую как-нибудь одолеем...

Такие речи Моисееву нравились больше...

Парни, говорил он себе, будущие сменщики мои, строить вам и не перестроить, только научитесь верить в себя, не в чужого дядю. Мир не знал еще такого моста, но должен узнать — должен! — и не дядя его будет строить, вы...

— Н-да, — согласился с такими мыслями Моисеев. — Это, конечно, гений придумал слово «Ура!». Но и на этом слове, хоть и волшебное оно, моста не построишь, развалится...

— Может быть, другую технологию применить, — сказал Гончаров, — я об этом что-то не думал, ведь пески в этом месте обещаны...

— Обещаны, обещаны, — усмехнулся Моисеев. — Ты кинорецензии когда-нибудь читал: «Фильм заставляет думать» — и так далее. Вот, оказывается, и думать надо заставлять. А ты у нас Гончаров, тот самый Гончаров, который в Тобольске рекорды ставил, не кино смотрел, и только за февраль, короткий месяц, сколько свай в реку воткнул, две нормы, н-да...

Гончаров виновато переминался с ноги на ногу, и вместе с ним переминались его парни, смущались...

— Ты вечером ко мне на «свободный треп» приходи. Доложишь инженерам свои соображения, они тоже кое-что надумали...

Моисеев шел по участку и радовался, радовался тому, что Юра Гончаров, серьезный, вдумчивый человек, рекордсмен и умница, засмеялся, засмеялся высвобождение, правда, лающе и неумело, страдая оттого, что в последнее время смеется редко.

Иные инженерные планерки, на которых позволялось говорить только о проблемах, Моисеев назвал «вечерами свободного трепа», так оно и прижилось. Шевеление мысли он ставил в вершину угла.

Было и такое. Однажды его зазвали в школу, на пионерский сбор, что назывался интересно и нужно — «Профессия отцов». Удручало одно — ребята говорили на нем заученно и скучно, чужими стихами и мыслями.

— Дети, — на правах сидящего за столом президиума прервал он выступление очередного докладчика, — есть задачка, прошу решить. Между Тобольском и Сургутом с полтысячи километров по прямой. Скорость рейсового самолета — тоже полтысячи. За какое время борт окажется в Сургуте и что быстрее — самолет или поезд?

Сразу вырос лес рук, и нетерпение колыхало его. «Час!» — кричали и глаза и пальцы, и особо нетерпеливые...

— Ерунда, — обобщил Моисеев ответы (и вожатая потом упрекала его в непедагогичности) — и чему вас в школе учат? На улице случилась непогода, рейс десять раз переносили, картина знакомая, и сверх обещанного вами часа пассажиры прождали Сургут двое суток, по-божески еще прождали. Нужво построить дорогу через болота я Обь, тогда весь мир будет летать в Сургут поездом, а не ездить самолетом. Именно эту задачу и выполняют ваши папы-мамы, спасибо им за это. О том давайте и говорить, товарищи неудавшиеся бюрократы...

Он вглядывался в посерьезневшие ребячьи глаза, в них теперь сквозило не только озорство, но и мысль, она так и скрежетала поржавевшими было шестеренками, а пионервожатая, хлопая в ладоши, все еще пыталась спасти сбор:

— Дети, поблагодарим Анатолия Викторовича за хорошо...

И среди взрослых те планерки были поначалу сборами. «Сынка, — сказала как-то Анатолию мать, — в тебе пропал педагог». Все годы мать проездила с ним, воспитала сотни мостостроителей. И под семьдесят при необходимости она подменяла школьного историка и на уроки надевала костюм со многими орденами и медалями, заработанными почти за полвека учительства.

— Черта с два, — ответил ей Моисеев, — я и без того педагог. Преподаю науку инженерии, слыхала, мама, о такой? То-то...

— Товарищи, — неторопливо начал Моисеев тот «вечер свободного трепа», — я мечтаю выяснить у вас, что за термин «инженер». Дипломовладелец? Обладатель галстука и шляпы? Еще что?

Он не желал бы утверждать, что минувший день затрачен попусту, перед ним сидели командиры производства, думающие головы, а руки их, грабастые, усталые, отдыхали на коленях, еще глаза у иных смыкались коротко и непроизвольно...

— Древние утверждали, что инженер — значит «способный», «изобретательный». И в таком плане я не могу быть доволен вашими усилиями, и собой тоже недоволен...

В первую студенческую практику его назначили мастером на стройку, такое Моисеев посчитал эпизодом в жизни: он тогда готовил себя в науку и силы свои распределял, потому по субботам он приносил нормировщику, едкому, как огуречный рассол, старичонке, общепопулярный портвейн «Три семерки». Тот составлял ему наряды «пальчики оближешь» и сетовал на инженеров, у которых «мысль приходит опосля», да и то заимствованная

из справочников, справочники же стареют, инженеры тоже и досрочно; к тому же мир давно бы перевернулся югом к се¹ веру, кабы не они — техники с рулеткой и логарифмической линейкой за кирзовым голенищем. Прощаясь с практикантом, старик буркнул, оглаживая лысину:

— Не стань рекой, что никуда не впадает...

— Что так?

— Сегодня, замечая, живешь. Одно сегодня упустишь, другое завтра заспишь, и ать-два, мною станешь. Обо мне речи нет, я кто? Старая облигация, гасить никто не хочет, а ты — огонек, что разгорится или затухнет, потому не дури. Много вас таких развелось. Инженер по латыни, знаешь, кто? То-то...

Как давно это было, но урок он усвоил прочно. Старика того, помнится, на участке звали Нахал Нахалычем. Михаил Михайлович он был однако.

— В текучке дел, — неторопливо продолжал Моисеев, — мы можем разучиться творить, это страшно. Я провел хронометраж собственного рабочего дня и обнаружил, что занят инженерным мышлением от силы пять процентов времени. Это потому, что прораб Иванов не доверился собственному решению и направил бригадира Петрова за этим решением ко мне. Мастер же Сидоров забыл о технике безопасности, за которую отвечает, а мне понадобилось уяснить, почему рабочий Федоров и его защитная каска на рабочем месте каждый сам по себе...

Он говорил, зная, что потом будут говорить другие, говорить вот так, вдумчиво, а то и распаляясь и остывая. Специалисты, падежные инженеры и те, кто с пылу-жару, смотрели на него: одни с полуотсутствующей улыбкой, другие со взглядом острее общеизвестных лезвий «Нева». Он прикидывал, не пустая ли это говорильня, говорунов на свете и без того излишне много. Он коротко ощутил себя Нахал Нахалычем, они тоже нужны, пусть беседы такие станут для молодых, что чистый источник, из которого пьешь не напьешься. Нельзя же без музыки в душе, нельзя...

На улице вызвездило, и огни на стройке гляделись тоже звездами. Жал мороз, и это было кстати, потому что, чем толще лед, тем длиннее зима — самое рабочее для них время года. И все-таки весна придет, поверх льдов хлынет обская желтая вода, стесненная устоями и насыпями, она будет реветь, сбивать у опор кофейную пенку, размывать дно, а сваи все равно будут стоять, стоять века...

— Анатолий Викторович, — догнал его Гончаров, — а правда ли, что Марк Твен был изобретателем?

— Был и им, — кивнул Моисеев, — он получил патенты на усовершенствование платяного шкафа и к тому же изобрел блокнот с отрывными листами. На то он и был Марком Твеном. А ты это к чему?

— Да так, — помялся Гончаров, — его же никто не заставлял над шкафами раздумывать, писал бы книжки — и баста. Я к вам утром зайду, по сваям еще одна мысль оформляется...

— Заходи, — сказал Моисеев, — я всякие мысли люблю, а еще сахарно-морожено...

Дома его ждало письмо. «Толья, — писал Нектар, — приезжай, разыгралась маджара, крестьянское вино, оно сбивает с ног, но не мешает думать, приезжай и думай о мостах».

А что, решил он, построим мост здесь, в глубинке, и опять махнем в эту благословенную приморскую республику, в которой так тесно, что ходишь, невольно ужав плечи, потому что с одного боку там горы, с другого — ревущее море, а надо как-то втиснуться во все это и с тяготами, и с радостями, и с котлом для варки барана...

— Поедем когда-нибудь, — сказал он жене. — Географию тоже надо знать, хотя бы для того, чтобы быстро решать кроссворды...

МОЛОДЕЖЬ
И

ПЯТИЛЕТКА

ВАЛЕНТИН АФОНИН

Я учусь в театральном училище имени Щепкина

при Малом театре. В нашем институте летние концертные поездки по стране — давняя традиция. Летом прошлого года мы поехали на КамАЗ — и несколько нарушили традицию. Все было на этот раз необычно. Это была не простая гастрольная поездка: мы работали на стройке наравне со всеми и по мере возможности выступали со своей концертной программой на объектах КамАЗа.

Такой эксперимент мы проводили впервые. Когда велись предварительные переговоры об этой поездке, нас предупредили: миссия почетная, но трудная и ответственная — ехать должны только сильные и проверенные. По разным причинам самые сильные люди нашего курса не смогли поехать, и отбор в нашу концертно-строительную бригаду был простым: кто хочет и кто может... Сборы были недолгими и сумбурными. Многие вещи, необходимые для концертов, мы второпях забыли. Спустя лишь день после нашего последнего экзамена мы сидели в поезде Москва — Челябинск, облаченные в парадную форму ССО без всяких знаков различия. Свою эмблему мы изобрели позже.

Нас было двенадцать. Шесть парней и шесть девчат. Конечно, мы немало слышали о КамАЗе, но все же представление об этой стройке было смутным. В общем-то мы ехали в неизвестность под названием «КамАЗ», но, разумеется, сознавали, что окажемся в самом горячем цехе страны, а для нас, будущих актеров, попробовать настоящего дела казалось необходимым.

На стройке я усердно записывал все, что видел вокруг, все, что казалось интересным.

И вот некоторые страницы из дневника. Может быть, они покажутся интересными не только мне, не одним моим друзьям...

МОЙ КАМАЗ

3 июля. КамАЗ. Я представлял его каким угодно, но не таким. Вчера мы проехали километров двести на автобусах и видели вокруг только степь. Степь — то там, то тут какие-то механизмы, качающие, очевидно, нефть. И вдруг после небольшой остановки в Набережных Челнах совершенно неожиданно очутились на КамАЗе. Мы не верили своим глазам. Казалось, земля раскололась пополам и обнажила нутро! Как будто гигантским плугом вспахали целину!.. Да какие могут быть сравнения! Это КамАЗ. Стройка № 1. Стройка, которая ошеломляет всякого вновь прибывшего. Стройка, которая поражает фантастическим нагромождением конструкций из железа, бетона и всякой всячины. Стройка с необыкновенным горизонтом: куда ни посмотришь — крапицы, краны, краники. За горизонтом тоже краны...

Наш лагерь — это палаточный микрогородок. Он стоит посреди степи, обдуваемый всеми ветрами. Живут в нем ребята из МЭИ, два суриковца и щепкинцы — мы, значит. Впрочем, здесь еще двое из ВГИКа.

Климат, говорят, здесь суровый — или очень жарко, или очень холодно, бывают даже бури. Мы, конечно, это учли — запаслись и шортами и свитерами.

Почти ни с кем из лагеря мы еще не знакомы. Они стесняются подходить к нам, думают, наверное, что мы пижоны. Мы тоже пока стесняемся, думаем, что пижоны — они. А завтра, когда начнем работать вместе, наши иллюзии рассеются, и мы будем спокойно «стрелять» друг у друга сигареты. Кстати, сегодня мы оформились на работу. Я, как и почти все наши, никогда по-настоящему не занимался физическим трудом и совершенно не представляю себя бетонщиком 3-го разряда...

4 июля. Ну и работа! Нам выдали лопаты и велели ковырять этими жестянками утрамбованную площадку (глина и щебень). Как и полагается новичкам, мы жадно

набросились на эту работу и минут десять остервенело долбили. Лопаты гнулись, пот ручьями, а работа почти на том же месте. Кто-то догадался принести кирки, но и это мало помогло. Было стыдно за свою неумелость и за эту нелепую работу при такой концентрации техники. Кирки, лопаты, одежда 54-го размера вместо 48-го, унылые лица — наверное, смешно и жалко было на нас смотреть.

Днем меня послали в бытовку за лопатами, но все они были поломаны, и я остался покурить с двумя нашими Танями (Пышной и Чикой).

В бытовку вошел парень. Он бросил в угол несколько поломанных лопат и кувалду без ручки, снял каску и сел на лавку рядом со мной.

— Да-а, работка... — сказал он, доставая сигареты. — Дай-ка прикурить. — Прикурил от моей сигареты и посмотрел на часы: — Скоро обед.

— Да, — сказал я. — Скоро обед. — И зевнул.

Он уставился на плакаты о технике безопасности, которые были расклеены на стенах бытовки. Я тоже уставился.

Он вдруг усмехнулся:

— Хм... Черт! Не могу! Вешают красивые картпочки. «Не стой на кузове!» А все стоят. «Пользуйся лопатой с длинной ручкой!» А лопат нет. «Не стой на виброрейке! Пользуйся исправным инструментом!» А где он, исправный инструмент? «Образец подготовки рабочей площадки!» Хотел бы я посмотреть на такую площадку. Все слова... «Выполним, перевыполним!» Чем? Лопатами? Кирками? Два дня долбили глину, а «Беларусь» с ковшом — я только что видел — за час выкопал две точно такие же канавы, только лучше наших. За час!.. Лопатами разбрасываем гравий, а грейдер или бульдозер сделали бы это в пять минут! Ведь есть же эти машины! Почему мы должны зубами грызть землю?! «Нет бетона!..» Есть бетон! Должен быть! А видимость работы никому не нужна! Две траншеи за два дня — чушь!

Он замолчал, сделал глубокую затяжку и хотел еще что-то сказать, но передумал.

— Тебе бы начальником быть, — сказала Чика.

— И ничего бы ты не изменил, — добавила Пышнуха.

— Да. — Он усмехнулся. — Это бы мы еще посмотрели...

Нет, зря девчонки так говорят. Я думаю, этот парень сделал бы многое. Он не пижон, не циник — он беспокойный, а это — большое преимущество перед многими из нас.

А лопаты... Ну что ж, видимо, выход есть, не может быть, чтобы не было. Беда только, что говорить-то мы можем обо всем, но почему-то стесняемся взять дело в свои руки, надеемся на других. А другие — все ли они беспокойны, как этот парень?.. Сегодня под конец рабочего дня укладывали в бетон канализацию. Я впервые прикоснулся к жидкому бетону. Хотя и в траншее и на канализации, но это уже настоящая работа.

7 и ю л я. А нам даже нравится вставать в шесть утра. Совсем не трудно. А если после зарядки (которую, кстати, делаем только мы, «артисты») не просто умоешься, а примешь ледяной душ, совсем прекрасно...

Перекур. Я уселся в одиночестве и гляжу по сторонам... Ну и громадина этот цех! Его масштабы таковы, что название «цех» для него просто унижительно. РИЗ — завод. Ремонтно-инструментальный завод. В будущем, конечно. А пока это стройка. И какая! Пытаюсь охватить взглядом все, что происходит... Вот катается взад и вперед каток с колесами по крайней мере в полтора человеческих роста. Вот гигант БелАЗ сгружает щебень. Оказавшись под крышей РИЗа, он кажется игрушечным. Бульдозер играет с камешками, готовит площадку для бетона. Все гудит, гремит, стучит... Вверху, под самой кровлей, сверкают сварщики-монтажники — их не сосчитать. Там же девушки-студентки из Ленинграда красят белилами потолок. По крыше носится грузовой мотороллер. А вой электрики привинчивают современные светильники. А там, далеко-далеко, где кончается цех-завод, в маленьком квадрате, как на экране, высвеченный солнцем степной горизонт, но не дикий, не пустой, а как будто дышащий, — там тоже движутся крошки-краны. Ищу слово, которым можно было бы определить все, что я вижу, и не нахожу.

8 июля. Когда утром мы приезжаем на РИЗ, нас ждет ночная смена, чтобы на этом же автобусе вернуться в лагерь. Интересно на них смотреть: спокойные, бледные, — невольно уважаешь. И здороваемся с ними, как с героями.

— Как работка? — это мы.

— Ничего. Сорок кубов, — отвечают они. Приходим на наш участок, видим новые бетонные полы, еще свежие, мягкие, ровные — глаз радуется.

И к нам идет бетончик. Хоть и с переборами, работка есть...

9 июля. Выходной и праздник — открытие нашего лагеря. По этому случаю подъем в восемь часов. Завтрак обычный. Потом кто-то убирал территорию лагеря, кто-то репетировал, кто-то играл в футбол, кто-то что-то... Распоряжения по радио не умолкали.

Вечером была первая проба наших творческих сил. По просьбе командиров мы показали четыре номера. Волновались: как встретят? Как примут? Не побьют ли? Не освистают? С нас ведь особый спрос. Провалимся — смерть... Но... все прошло отлично.

13 июля. До чего же я устал сегодня! С половины пятого утра и до десяти вечера я был «кухонным мужиком». Открывал ножом сгущенку и фасоль, мыл тарелки, стаканы, ложки на 350 человек! Мыл котлы, мыл полы... И все это трижды в день! Руки у меня были сальные, я думал — не отмоются. Отмылись. Ухитрился ошпарить себе ногу — чаем!..

Страшно хотелось спать, но иногда я все-таки взбадривался, становился на раздачу компота или чая и любезно разливал голодным трудягам. Руки до сих пор гудят от тяжелых котлов, пальцы гнутся через боль. Но зато я приобрел поклонниц среди поварих...

Только я покончил с кухонным адом и задумал спать, меня окликнул наш комиссар Олег Чекерда, попросил сделать завтра политинформацию для рабочих на РИЗе. Я бурно запротестовал, но он хороший парень, поэтому я в конце концов согласился. У него нет одного переднего зуба, вот почему, наверное, и смеется он заразительно. Завтра по его инициативе мы будем покачивать кукольную сказку детям рабочих из Автозаводца — это поселок в двух шагах от ваших палаток...

Не забыть бы завтра газету.

Как я хочу спать!..

14 июля. Политинформацию я все-таки сделал. Хотя поначалу рабочие (молодые особенно) относились ко мне с недоверием и сонно морщились, но потом, когда удалось втянуть их в беседу, я увидел вдруг, что жажда к знанию всего происходящего вокруг у них необычайно велика.

Рассказал своим ребятам. Они прямо-таки вскипели от энтузиазма. Действительно, интерес к нам, студентам, неизмерим. Мы не имеем права обманывать их надежды. Нужно отдать им все, что можем. В конце концов это наша прямая обязанность. Решили сердито потрясти свой штаб, нам нельзя засиживаться, пора ездить с концертами, выступать — иначе зачем мы здесь?..

Вечером играли кукольный спектакль. Показывали его в читальной палатке, там, где телевизор. Народу было много: дети, их мамы, папы, наши студенты. Духота! Мы отгородили угол палатки маленькой занавеской и, стоя в нелепейших позах, в тесноте, импровизировали. Азартно, в хорошем ритме. Говорят, родители смотрели с раскрытыми ртами. Потом, когда мы, мокрые, вылезли из своего угла, дети разбежались, а родители обступили нас, благодарили и просили показывать почаще. Студенты, видевшие спектакль, говорили, что это здорово и очень профессионально. Они, мол, не ожидали. Что ж, очень приятно. Но мы-то знаем, конечно, истинную цену нашему представлению...

16 июля. Все отдыхали сегодня, а наша бригада работала — скользящий график. Работали без обеда, чтобы не остывал бетон. Нам дали сухой паек: консервы, сгущенку, колбасу, чай.

А вечером, «когда куры обсиживают шесток», в лагере проходил конкурс студенческой песни. Из нас, щепкинцев, участвовали четверо. И хотя местных (из МЭИ) кумиров трудно было победить, кое-чего мы все-таки добились. Люда Мальцева заняла

первое место — правда, она читала стихи. Дема тоже молодец: третье место за исполнение собственных стихов. Я пел свои песни. Мне даже присудили Гран при — «за обаяние» (придумают же!), но почему-то этот «при» «зажали». Мы сидим в столовой, пьем паршивый чай, а могли бы пить мой трофей — яблочный сок. Эх, судьба!..

17 июля. Едем в ночную смену. Тяжелые тучи нависли над изрытой глиной. Полумрак. В автобусе тихо. Во всем чувствуется тяжесть туч. Звуки — как в вату. Мы едем в ночь. Наша машина идет осторожно, встречные тоже. Вдруг, взбираясь в гору, автобус как-то нелепо вильнул и застыл поперек дороги. Кто-то запищал, кто-то засмеялся: «Вот теперь бы и перевернуться!» Все вылезли из машины в мерзкую глину и, облепив зад автобуса, дружно напряглись. Автобус не смог бы самостоятельно перевалить через эту хлюпающую глиняную гору.

Сегодня была сильнейшая буря. Утром еще светило солнце, мы даже уходили (тайком) купаться, но часа в два пошел такой дождь — ливень! — какого я в жизни не видел. Мы как раз возвращались с купания. Шли по пояс во ржи, и метров за двести до лагеря нас накрыл сильнейший дождь, почти параллельный земле, ударил в лицо и чуть не смыл нас. Но это была присказка. А сказку — бурю — я позорно проспал. Это было после обеда. Я просыпался только затем, чтобы отодвинуть кровать из-под дырки в палатке; видел сквозь сон, как сильно трепало палатку, и слышал страшный шум, но мне так хотелось спать, что было абсолютно безразлично, сорвет ли крышу над моей головой, унесет ли меня вместе с палаткой. О том, что это была буря, настоящая буря, я узнал только перед ужином, когда увидел поломанные щиты, обвисшие провода и когда услышал рассказы о приключениях во время бури...

21 июля. Ну, до чего же мы скандальные! Выехали с тридцатиминутным концертом на РИЗ (там же мы и работаем). Это был мой дебют в роли конферансье (или массовика-затейника — не знаю, что точнее). Так вот. Девчонки-то!.. Когда я рассказал рабочим о значении музыкальных этюдов и объявил этюд «Начало», вдруг оказалось, что артисты (я так сказал) не готовы. Ребята жестикулируют: болтай! Я болтаю. Несколько слов о непривычных пока для нас условиях (площадка-помост открыта со всех сторон, степное солнце, кругом шумят механизмы и пр.), несколько слов о Малом театре. Готовы? Нет. А что болтать? Я прямо-таки растерялся. Снимаю с себя аккордеон, хватаю микрофон, читаю «Королевский бутерброд». Готовы? Нет! Вот это накладочка! Беру аккордеон, говорю: раз так, я вам спою. В народе — оживление. Слышу одобрительное: «Давай, раз артист». А перед этим, предваряя танец, я говорил, что актер должен все уметь. Запомнили. Пою и вижу: народу все прибывает. Сидеть уже негде, стоят на возвышениях, на ближних машинах. Вижу знакомых из МЭИ — сбежали с работы. Спел. Наконец-то готовы! Все в порядке! После концерта мне рассказали: Люда чуть ли не истерику закатила из-за маленькой дырочки в черных колготках (она играет Еву), а девчонки давать ей свои почему-то отказались. Отчего же вы такие глупые, милые мои?! Но успех концерта затмил эту накладку с колготками.

22 июля. Наконец-то наступил этот долгожданный день — день премьеры. Нам нужно было выгодно расположиться на бетонной площадке-эстраде, поэтому с утра, пока в лагере мало народу, мы начали первую черновую репетицию концерта. Жара страшная! Ветер степной! Пыль бетонная и земляная! Работаем. К обеду успели отрепетировать только половину. После обеда все ребята нечаянно заснули — приморились. Хотели полчаса проспать — получилось два часика. Проснулись в страшном беспокойстве, мозги лихорадочно скрипят: что делать? Девчонки гладили костюмы, штопали, подбирали реквизит. Нас встретили не совсем молчаливым укором. Но вдруг поднялся ветер — начиналась буря. Нужно было срочно задраивать и укреплять палатки. О прогоне не могло быть и речи. А время идет! Концерт никто не отменял — значит, еще может состояться. В лагере суматоха. Микрофонов пока нет — куда-то увезли, а будут ли, неизвестно. Освещения мало. Нашли два прожектора, делаем сами, как умеем. Пока идет дождь (бури

еще нет и, наверное, не будет), я делаю запись музыки на магнитофон (для отрывка). Ужинаем вместе. Все — о концерте. Будет? Не будет?

Будет! Дождь перестал! Ветер утих! Закат — степной!..

Последние приготовления. Два прожектора. Белые простыни на заднике. Устанавливается радиоаппаратура. Народ посматривает с интересом.

21.30. По радио объявляется о концерте. Всех приглашают со стульями.

22 часа. Радио: «До концерта осталось пять минут!»

Спокойно, спокойно. Все нормально. Так. Ну, начинаем. Где же вы? Ага! Все готовы. Стоят за палатками, ждут моего сигнала. Выхожу на площадку, беру аккордеон: «Падам, падам, падам!..» С двух сторон выходят милые, родные, у всех на лицах благородство. Ну же! Спокойней, глупые! Звучит вступительная песня, аккорд — ну?! Аплодисменты.

— Здравствуйте! — это говорю я, стоя перед микрофоном. — Мы приехали на КамАЗ, чтобы вместе с вами поработать и заработать, но главная наша цель — концерты. Сегодня — большая премьера...

И понеслось! Номера принимаются с восторгом. Все, что происходит на сцене и в публике, — на моих глазах. Народу полно — огромная черная масса, — но видны, кажется, только глаза, сверкающие, восторженные. Дух захватывает! Ощущение красивейшего скольжения на лыжах по склону. Концерт длится два часа, без антракта, но — как одна минута. Скучающих нет ни передо мной, в публике, ни за мной, за белым задником, где кипит кровь от волнения и спешки, где трясущиеся руки ищут в темноте одежду, реквизит... Заключительная песня-девиз, аккорд. У нас подняты сцепленные руки, перед нами — оглушительные аплодисменты...

24 июля. РИЗ. Мы не работали три дня, а впечатление такое, будто мы никогда не занимались физическим трудом. Быстро выдыхаемся. Руки болят. И работка, как назло, «денежная и непыльная» — долбим утрамбованную глину. Время тянется нестерпимо медленно. Мы работаем с Анютой в одной яме, вспоминаем текст отрывка из «Преступления и наказания» Достоевского (будем делать его для концерта).

Как медленно движется время!

27 июля. Сегодня к вечеру нас буквально завалили бетоном. Не дождавшись ночной смены, нельзя было уезжать. А смена опоздала на 30 минут — не было автобуса. И вот, когда пас сменили, наконец, мы толчемся у диспетчерской в ожидании машины. Все голодные, злые. Я стою с Людой, рассеянно слушаю песни, которые она напевает мне вполголоса. От наших ребят из ночной смены мы узнали, что завтрашний концерт отменяется.

Стемнело. Время — начало десятого. Автобуса нет. Некоторые пошли пешком. Но вот идет какой-то автобус. Наш! Садимся. Самые бесслухие горланят песни. Остальные, скуки ради, подтягивают. Автобус прыгает с ухаба на ухаб. Хочется спать. И есть.

Вот и лагерь. Идем прямо в столовую. На нас смотрят сочувственно. Набрасываемся на еду и незаметно объедаемся. Нам отдали весь сыр и масло, потому что мы — последние...

28 июля. Мы в расстройстве. Крыл был в городе, говорил с Еремеевым. Тот только сочувствует, но ничего сделать не может. Все транспорт. Нет транспорта. А пешком КамАЗ не обойдешь.

А не сделать ли нам так — собрать реквизит в два чемодана и на рейсовом автобусе — в город? Дать два концерта, а назад — на чем-нибудь? Да, надо самим браться за это дело. Хорошо бы связаться с соседними отрядами.

Погода неважная...

1 августа. Ну, наконец-то мы поступили по совести! Сегодня удалось связаться с отрядом Московского института химического машиностроения, и мы, хотя наш отрядный штаб и протестовал, поехали к ним с концертом, благо они прислали нам свою машину.

Лагерь МИХМа небольшой, всего 120 человек. И оборудован он, конечно, не так, как наш, но зато как-то естественней, без особой цивилизации. В столовой один огромный стол и две длинные скамейки...

Выбрали более или менее подходящую площадку для концерта. В половине десятого, когда уже совсем стемнело, начали. Работаем без микрофона, но здесь такая тихая степь, вдали от дороги, что слышен даже шепот. Со столбов светят два тусклых прожектора, бросают тень от стоящих перед нами зрителей, а они в ватниках, в одеялах, потому что холодно и сыро. Зрители хохотнут дружно — клубы пара поднимаются к небу. Лично у меня к концу концерта зуб на зуб не попадал.

После концерта — чай со сгущенкой. Затем снова в грузовике, в темноте, в тесноте, на коленях друг у дружки: с нами ведь две бригады из нашего отряда — они не видели нашу премьеру, потому что работали в ночь. А в лагере волнуются. Высылают за нами машину — нашлась-таки?! В машине — Боря Медведев. Но никто не пересаживается к нему. В тесноте лучше. Едем дальше, а пустая машина — за нами — слепит своими фарами. В лагере нас силой укладывают спать. Боятся, что завтра не выйдем на работу. Чудаки! Боря Медведев — первый...

2 августа. Только что штаб обсуждал наш вчерашний послеобеденный уход с работы. Это сочли самоуправством. Снова мы в дураках. «Артисты!» Всем сняли по половине трудодня. Формально они, конечно, правы. Но разве в этом дело? Как они не могут понять, что не увильваем мы от работы, нет! Напротив! На нашей совести и другая обязанность, не менее важная, — концерты. Посмотрели бы они, как говорят с нами рабочие после концертов. Мы нужны людям. Штабисты этого не понимают? На здоровье! Мы же обязаны это понимать. Вот так.

3 августа. «Кто хочет на гидроизоляцию?» Это говорит Ертай, наш бригадир. Конечно, никто не хочет. Тогда Ертай назначает меня и Олега, который давно уже мучает меня всякой специальной терминологией (он будущий энергетик). Я не хочу на гидроизоляцию: боюсь битума. Эта черная сгущенка может капнуть так, что мне придется распрощаться с моими лаврами, которые я вижу во сне. Битум нагрет до 200° — ого! Шутка ли?! Но не могу же я отказаться, хотя, кажется, покраснел.

Анюта тоже прекрасно понимает, что такое битум. Пытается осторожно исправить положение.

— Смотри, Ертай, — говорит она полушутя. — Покалечишь нам его. Он тогда будет профнепригодным.

Как бы меня и без битума не выгнали за «проф», думаю я. А Ертай на мгновение даже растерялся. Наверно, подумал: не станет ли он, Ертай, причиной безвременной гибели будущей кинозвезды — меня то есть? Но я напускаю на себя беспечную улыбку и иду одеваться. За мной идет Олег. Он тоже боится. Ну что ж, а кто не боится битума?

Мы надеваем брезентовые куртки и брюки, грязные и липкие от черной смолы. Идем к машине, которая варит битум. Открываю люк. Белый пар рассеивается — битум кипит. Нда... Красиво, ничего не скажешь. Мой напарник что-то не торопится. Нахожу тяжеленный черпак и опускаю его в черные, блестящие волны.-1

— Осторожно! Может затянуть! — предупреждает меня Олег.

" — Да ну! — небрежночаю я и продолжаю черпать битум, держась, впрочем, начеку... Битум — это даже весело.

Бригадирю вдруг пришло в голову огородить нашу стройплощадку проволокой с кусками белого пенопласта и повесить табличку: «Проезд запрещен». Где взять табличку? У художника. А где художник? Надо найти. Искать послали Лену, спокойную и серьезную девушку из МЭИ, а она захватила меня, потому что проиграла в «фанты», и в наказание ей нужно было как-то разыграть меня. Лучше? о она не могла придумать.

Пришли в диспетчерскую и спросили, где найти художника. Рыжая девушка-диспетчер сказала, что художник уже ушел и будет только завтра. Она очень обрадовалась нам (мы узнали потом из разговора, что она сутки работает, трое отдыхает) и, когда мы

опустили свои разомлевшие после обеда кости на диванчик, предложила поесть зеленого гороха, который ворохом лежал на столе. Нам тоже было скучно, поэтому горох, хоть и перезрелый, был хорошим развлечением. О чем говорить? Конечно, о стройке. Мы спрашивали, а девушка с удовольствием отвечала. Очень подробно, обстоятельно. Видно, она очень любит поговорить.

Она из Воронежа. Работает здесь уже третий год. Почему не уехала? Она как-то не знает. Собиралась ли уехать? Да, конечно. Уже много раз собиралась, но все как-то не могла. Зарабатывает 130 рублей в месяц. Раньше работала с художником. Какие обязанности художника? Писать плакаты, таблички, подписывать имена передовиков под фотографиями. Работает с восьми до четырех. Зарабатывает 180 рублей. Много?! Ну, что вы, он даже иногда й после работы остается, потому что не успевает все сделать.

— А как здесь вообще с заработком? Сколько, например, получает средний рабочий? Бетонщик?

— Как когда. Когда работа есть, то рублей двести — триста и больше. А вот я работала в бригаде бетонщиков, так иногда сидели без работы и получали мало.

— Как мало?

— Ну, рублей девяносто. Здесь-то снабжение хорошее, но — степь. Ни фруктов, ни овощей, сами видите. Бывают, но редко. И погода. В этом году впервые за три года такое лето. А то все дожди. На работу выходили за два часа. Автобусы-то есть, но желающих много. Сейчас-то дело налаживается... Хотите еще гороху? У меня много. Это мне шоферы привезли.

— Нет, спасибо. Нам пора уже: там наши работают — надо идти...

— Заходите!

— А как вас зовут?

— Таня.

Мы ушли. Потом я несколько раз видел ее на стройке. Всегда смеющаяся, мелькала она в своих легких туфельках (она ведь теперь не бетонщица) под громадным крылом РИЗа, и всякий раз мне хотелось спросить: что же потянуло ее на КамАЗ из благоустроенного Воронежа? Что держит ее здесь два года? Вон ведь чего наговорила! Понимает, что трудно, неудобно, неустроено, холодно! И почему, наконец, она так весела? И уедет ли она, как собиралась?.. Мне кажется, она ответила бы, что уедет, наверное, но не раньше, чем закончится стройка...

Что потянуло ее на КамАЗ? Я могу ответить за нее — живая жизнь...

Мы часто говорим о нашем КамАЗе, о его «узких» местах. Критикуем, естественно. Тут наши говорили, что Маяковскому очень даже повезло, если он мог от души написать: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди...» А нам, мол, не очень-то повезло. А почему? Может, потому, что сами мы не такие? Но мы же строим? Да. И радуемся, как школьники, когда нашу работу хвалят. Непорядки иной раз? Но это неизбежно. КамАЗ — это три Магнитки. Не шутка... Плохо смотрим, братцы! Есть такие люди! Рыжая Таня, например. Талант! Да, нужно обладать талантом, чтобы за отдельными непорядками огромной стройки видеть лицо нового, поверить в него. Начало всегда трудное. Пройдет целое поколение, прежде чем деревья, посаженные сейчас, дадут тень. Не мешало бы зарубить это на носу. И город, конечно, будет. «Такие люди» есть!

10 августа. Вот и конец нашей камазской эпопеи. Завтра — Москва...

Вчера мы давали прощальный концерт. Вчера... А последнюю неделю мы прилично поработали. Концерты были каждый день, иногда даже по два. Вообще, вся последняя неделя отпечаталась в сознании как непрерывная тряска в автобусе (перед концертом — нервные, после — расслабленные, счастливые). Теперь трудно вспомнить все подробности. Вспоминаю кусками, без связи... Бот мы стоим в свете прожекторов, а напротив — белозубая масса рукоплещущих. В основном молодежь... Вот идем к нашему автобусу в окружении новых поклонников. Прощаемся. Шумно, хором. Приглашений дать концерт — тьма! И никаких трудностей с транспортом. Нам давали и автобусы и радиоаппаратуру,

только бы мы приехали... Вот мы возвращаемся в свой лагерь, всегда за полночь. Сидим в столовой, пьем чай. Повар Коля выкладывает перед нами остатки ужина... Теперь это позади...

А потом подготовка к отъезду и прощальный концерт. Специально на концерт приехали ребята из других отрядов, а это тем более приятно, что приехать трудно. Из Автозаводца тоже пришли.

Начали в 21 час. По моему сигналу — на этот раз я начинал с гитарой: «Падам, падам, падам...» — все вышли с упакованными чемоданами, нестройно спели песню «Про КамАЗ, который стал совсем родным», и мне нужно было сказать простое вступительное слово. «Вот, ребята, — заговорил я, — как быстро пролетело время...» — и вдруг в горле у меня застрял горький комок, губы зажались в гримасе обиды, не могу говорить, вот-вот заплачу. Нужно продолжать, а у меня слезы. Все глядят на меня — тишина! — а я прячу глаза и продолжаю, отдельно выдавливая каждое слово. Сентиментальный я человек, черт бы меня побрал... А дальше, в течение трех часов, мы показали все, что не успели показать раньше: отрывки, стихи, прозу, песни, танцы, — каждый из нас хотел оставить память о себе. Концерт был очень серьезный в основном, но ребята слушали. Я видел, как они слушали. Такой тишине мог бы позавидовать любой театр...

И вот наша общая прощальная песня. Конец. Нам долго аплодируют, а мы стоим на помосте с чемоданами и не знаем, что делать. Нам кричат: «Молодцы! До свидания! Счастливого пути!...»

...Скоро Москва. Одна ночь отделяет нас. Мои ребята болтаются по коридору, сидят кучками в купе.

Мои ребята... Наши ссоры, споры, успехи и неудачи породнили нас. Поэтому, наверное, я и называю их так — мои ребята. Нигде и никогда мы не узнали бы друг друга так, как здесь, на КамАЗе. Все открылись. Со всех сторон. Правда, я-то знал их такими еще в Москве, хотя они и притворялись «темными лошадками»...

Когда я уединялся со своей тетрадью, они все лукаво поглядывали на меня. «О! О! О! Писатель! Толстой! О! О! О!». Но если мне нечем было писать, приносили ручки, карандаши.

Уже ночь, но почти никто не спит. Выспались днем. Мои ребята...

А напишу-ка я что-нибудь о каждом — первое, что в голову придет.

Дема Сальцев. Дрыхнет. Понервничал он на КамАЗе. Болел за наше дело всей душой. Очень прям в выражении своих чувств, за это был неоднократно «бит». Прослыл «туалетным» работником, нарядов нахватал за недисциплинированность. Нэ серьезно, он отличный парень. Иногда очень интересно рассуждает. В последние дни он, правда, обмяк как-то, не ввязывается в споры. Может, бережет свое здоровье? А жаль. Думаю, если это пройдет, он снова станет интересным. А если не пройдет, в нем погибнет поэт и боец.

Володя Борисов. Его хобби — волейбол. Призвание (после КамАЗа) — бригадир бетонщиков. Главная мечта — хорошо поесть, потому-то он и худой. Сейчас он сыт. Спит себе.

Люда Мальцева. Даже сейчас я слышу ее голос сквозь стук колес. Поет. Всегда поет. Ей все нипочем. Девчонка-кремень.

Гена Татарчук. Он вышел в Ульяновске — едет к маме в Новосибирск. Эх, Гена, каким ты был, таким и остался! Посмотри внимательно, Гена, кругом ведь тоже люди, и неплохие. Нельзя думать только о себе — пропадешь. И не играй ты никого, будь самим собой, Гена!..

Верочка Лескова. Везет свои мозоли — или, как она говорит, мозоли — в Москву. Покажет маме с папой: первые серьезные мозоли в жизни. Любит яблоки, но много съесть не может. Отвыкла. Когда говорит с мужчинами, краснеет почему-то. Молода. У нее роскошные белые волосы...

Таня Чекаленкова. Чика. Чикуня. Смертельно боится гусениц и всяких пауков. Часто задумчива, думает, знаю, больше не о себе... Смеется, как сумасшедшая. Любит поспать.

Яблоки ест с зернами, до конца, выбрасывает только черенок. Интересно, как она ест червивые яблоки?

Юрик Дуванов. Сильно повзрослел, даже в плечах стал пошире. КамАЗ ему, безусловно, на пользу. Кстати, я обещал ему ремня, если он повторит когда-нибудь свои штучки. Уж больно он был озабочен собственными удобствами... Пройдет...

Таня Пышнова. Пышнуха. Ух, эта Пыпшуха! Слишком разговорчивая, часто наивная, но, слава небу, не глупа. Иногда бывает очень обаятельна и трогательна, но в спорах невыносима. А что? Это качество!

Сергей Крылов. Глава нашей «дюжины». Характерец ему надо вырабатывать. Слишком уступчив. Надеюсь, КамАЗ многому его научил, но это должно проявиться позже, потом, как, впрочем, и у Есех...

Маша Монахова. Промолчу. Знаю, но не скажу...

Я. Хм... О себе мне нечего сказать.

Все. Нет, кого-то забыл. Кого? Один, два, три... Одиннадцать, двенадцать — Анюта! Как же! Разве можно забыть?!

Анна Каменкова. У нее есть еще и вторая фамилия — Павлова. Пишется через черточку. Каменкова-Павлова. Маленькая, паивная, но хочет казаться взрослой. Это ей удается иногда, тогда думают, что она играет в детство. У нее будет много поклонников, если она перестанет кусаться и бить под дых. Я очень привык к ней. Вижу ее Дюймовочкой в моей гигантской руке. Если будет дождь, я накрою ее ладошкой. Будет холодно — положу в карман. А будет капризничать — в темный мешок...

публицистика

АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ

ПРОЩАЛЬНЫЙ МАРШ

Дозревала столичная весна, торопясь поскорее стать летом. Цветовая гамма города делалась пестрее день ото дня. Этому были причиной уличная флора, горожане и горожанки, переходившие на летний набор одежды. И как раз в это время появились в толпе парни, привнесшие особую красоту в майское городское разноцветье. Они шли от вокзалов в парадной армейской и флотской форме. Неторопливо, с достоинством людей, только что закончивших большое, трудное дело. Стройны они были заметно, походка их была тверда. В одном из этих солдат я угадал москвича, он показывал своим товарищам город.

Я дождался, пока он и его друзья ударили по рукам, и парень с теми тремя обнялся (видно, уезжали в этот день в далекое свое «домой»). Тогда я подошел к нему, рядовому с «молниями» на петлицах: «Давай познакомимся, поболтаем... Я тоже служил, тоже был связистом, тоже возвращался, только тогда зима была, а не лето, и год был семидесятый, а не семьдесят третий...» Познакомились. Вечером встретились. И на следующий день, и еще, еще... О чем говорили? О важном для нас и не только для нас. О «школе армии». Я попросил Бориса Егорова дать согласие на то, чтобы написать про наши беседы и рассказать о них в журнале. И согласие это получил.

Вот запись наших диалогов.

ЖУРНАЛИСТ. Борис, ты не удивился, когда я к тебе подошел с предложением поговорить о службе?

БОРИС. Нет. Привычное дело. Ты же тогда, помнишь, сказал: тоже служил, тоже возвращался. К тому же через армию прошли миллионы людей, так что эта тема интересна для многих. Допустим, я узнаю, что ты был в далеком путешествии, в краях, где до тебя бывал я. Конечно, я к тебе пристану: «Ну, как там?»

ЖУРНАЛИСТ. Если называть службу «путешествием», то для меня это путешествие, это движение носило не только внешний характер: Москва — Север, Север — Запад страны.

А еще и внутренний, можно сказать — духовный. От меньшего знания жизни, людей, себя самого — к большему...

БОРИС. Все так. Я тоже, говорят, стал во многом другим за годы службы. Да, и мама, и отец, и брат, и сестра, и друзья заметили, что во мне многое в отношении к ним и к себе самому переменялось. «Науки», которые я в этой «школе армии» прошел, пригодятся мне в жизни. Уверен.

ЖУРНАЛИСТ. Нет двух одинаковых людей, нет и двух одинаковых армейских биографий. Какую науку из тех, которые армия преподавала, лично ты считаешь для себя важнейшей? И типичной для многих?

БОРИС. Привычку думать о других. Жить не только собой и для себя, но и теми, кто рядом... Взять меня: до армии я был для себя «центром вселенной»... Понятия «другие люди», «общество» касались меня постольку-поскольку. В основном перед экзаменами в школе, когда зубрил билеты по обществоведению и истории. Нравоучения на тему своего эгоцентризма — грозное слово, учительское! — итожил тогда любимым выражением: «Что он Гекубе? Что зму Гекуба?» Фильм «Гамлет» со Смоктуновским мне нравился.

ЖУРНАЛИСТ. А что, сейчас не нравится?

БОРИС. Нравится. Но по-другому... Так вот. За те несколько дней, что я дома, я замучил всех домашних рассказами о ребятах, с которыми служил. Люди стали для меня интересны. Тем более их мнение обо мне.

Вот ведь, не будь я в армии, думал бы, что почти нет у меня общих интересов с каким-нибудь парнем «с периферии». Не то теперь... До сих пор вспоминаю Ваню Кедрова. Он родом из сибирской таежной деревни. Первый человек, поколебавший мои прежние представления о моем «месте во вселенной». Что в нем меня поражало? Иван безошибочно узнавал, кому из нас труднее всех. И не отходил от «аварийной личности» до тех пор, пока у человека дело не начинало идти к лучшему. Так жил Иван даже тогда, когда самому приходилось туго.

Я заметил потом за собой, что стараюсь быть на него похожим. Хотя получалось, честно говоря, так себе. Крепко во мне сидело убеждение, что мои проблемы — самые серьезные, успехи — самые ценные, боли — самые большие! Но со временем понял, что все это гораздо вернее по отношению к Ивану, чем ко мне. Ведь парень нес двойную нагрузку!

Отец учил его старой деревенской истине: «Как ты к людям, так и они к тебе». Ваня мне говорил: «Отцовская мудрость и на «гражданке» действует, но там ее действие во времени растянуто — аукнется сегодня, а откликнется может через десять лет. А в армии как будто вся жизнь в два года сжата. И что среди нас аукнулось — откликнется тотчас и на всех! Я постоянно поэтому за собой слежу».

Мы Ваню во взводе по футбольной терминологии называли «чистильщиком». Здорово удавалось ему подправлять наши ошибки, «залатывать дыры»...

ЖУРНАЛИСТ. Интересный парень. Надолго ли его хватило? Человек ведь не бездонная бочка, а служба немало забирает сил...

БОРИС. Но ведь и от нас Ваня получал немало! Меня просил рассказывать ему спектакли, которые в московских театрах я видел. Спрашивал, что ему читать.

И другие ребята что-то «с меня имели». Конечно, вечная просьба «спиши слова»: песен я знал много. Учил на шестиструнке играть, вел секции по баскетболу и боксу. Я ж был разрядником!

ЖУРНАЛИСТ. А меня ребята попросили быть взводным лектором. Беседы проводил об искусстве, даже о джазе лекция была. Организовал секцию самбо...

БОРИС. Я этого, извини, на нюх переносить не мог — заорганизованности, «галочек»... Я по-другому то же самое делал. Не в клубе части, а в курилке или после отбоя. Чтобы было все живее, проще — этого хотел. Да и то не сразу, нет... Думал сначала, мои «ценности» при мне будут целее. Не торопился раздавать.

ЖУРНАЛИСТ. Понятно. Помню, как трудно было мне, новобранцу, усвоить закон армейской жизни «все на всех одно»! Это только потом, послужив и оглядевшись как

следует, поймешь, что всем граням твоего «я» в армии найдется применение. Но в первые недели туго бывает подчинить себя общим требованиям.

Вот простой пример. Меня просто бесила команда сержанта на вводных строевых занятиях: «Замыкающие, шире шаг!» Я же не виноват, что мама не родила меня таким же гигантом, как направляющие нашей взводной «коробочки», колонны «по четыре». А этих колоссов команда: «Направляющие, короче шаг!» — заставляла чертыхаться!

БОРИС. Знакомо! Мой рост — метр девяносто пять! С первой «строевой» начало меня осаживать это требование «коробочки»: думать о ее плотности. Кстати, очень скоро мы все поняли, что, не позаботясь о плотности нашей взводной «коробочки» во всем и везде, никто, по существу, не вырвется вперед. Нравится быть впереди? Подтягивай товарищей. Общий успех — главное в армии.

Закон «коробочки» особенно ощутим в подразделении техническом. Я был связистом. Техника сложна, обслуживание ее коллективное. Ответственность, сам понимаешь, тоже.

Связь — это кровь в теле армии, как говорил командир нашей части. Один «трюб» на пути приказа, передающегося средствами связи, может привести к неопишным бедам...

ЖУРНАЛИСТ. Да, но образование спаянного армейского коллектива — не простая, не скорая вещь. На первых порах только и думаешь, как бы самому не «погореть». Все внове.

И тут усилий одних «чистильщиков», таких, как твой Ваня Кедров, мало...

БОРИС. Намекаешь на меня, какой я был «вещью в себе» вначале? Что ж, прав. Со мной пришлось повозиться. Помню, на взводных комсомольских собраниях первое время часто говорили о коллективизме. Ну, а я сидел на последнем ряду, помалкивал...

ЖУРНАЛИСТ. Но на собрании всем, по-моему, позвоается выложить свои взгляды. А уж сказанное при всех всеми и обдумывается. Знаю по опыту.

БОРИС. Мне это проверить надо было, и не раз! Я и к комсомолу нашему в части относился недоверчиво. Однажды — это до призыва еще было — я спросил себя: почему вступил в комсомол? Почему на воскресники всякие хожу, на собрания? Потому что все вступали, все ходят, ответил я себе. И стало обидно за самого себя. Впрочем, чего обиду на себя долго держать. И я решил всерьез: не я плохой комсомолец — другие плохи. И относился поэтому к витиям на взводных собраниях до поры до времени с усмешкой...

Но однажды меня «задело». Собрание шло. Решали, как провести праздничный день. Наш секретарь выкладывает план: после завтрака — спортивное соревнование, после обеда — кино, после ужина — состязание «А ну-ка, воин!». Меня передернуло — опять все заорганизовано, не продыхнуть! Встаю: «Ваши вечные «А ну-ка, воин!» — это ж, по сути, те же спортивные соревнования! А для души ничего. Кино? Кино и в обычное воскресенье крутят, а тут праздник!» Смотрю, секретарь покраснел, злится: «А что предлагаешь?» «А ничего, — говорю, — мое дело идею защитить»...

Тут нас ребята перебили. Стали предлагать, чем бы заменить «А ну-ка...». Сошлись на одном. Хорошо будет после ужина всем взводом в лес. А то мы в лесу в основном «на время» с катушками кабеля бегали, да на пузе в противогазе ползали. Ни птиц послушать, ни цветов понюхать. Короче, приняли тогда решение: в лес.

После собрания секретарь ко мне подходит: «К чему такой гонор? Надо уметь предложить, если что отвергаешь». Я подумал: он прав. А он мне: «Ты, Боря, хорошим будешь активистом, передовиком, я в это верю!». Он, наш секретарь, был отличный парень, недаром секретарствовал все два года моей службы, но вот любил выражаться бумажно!.. «Посмотрим», — говорю.

Через некоторое время опять собрание. По поводу рекомендации одному нашему парню в кандидаты в партию. В общем, этот парень действительно был неплохой.

Только у меня и у многих из нашего отделения обида была на него. И не пустяковая. К этому времени у нас, курсантов, началась сержантская практика — дело шло к выпуску из

учебного подразделения, где нас учили на сержантов. И нам по очереди доверяли власть над отделением — проводить занятия со своими же товарищами...

ЖУРНАЛИСТ. Поймай! Так ты сержантом был? Я тоже... Но ведь когда я с тобой познакомился, у тебя были погоны рядового!

БОРИС. В армии человек со многим в первый раз встречается. Власть над людьми я первый раз получил в армии. Вместе с сержантскими погонами. И разжалован был тоже впервые. Но об этом еще будет речь...

Так вот. У нас перед тем собранием как раз началась командирская практика. Ей предшествовал особый предмет — «командирская педагогика». А парень этот, когда получил командование над своим же отделением, забыл от счастья про педагогику начисто.

И в основном криком руководил нашим «войском». А когда срок его «сержантства» истек — как раз собрание по поводу рекомендации...

Идет собрание. Секретарь спрашивает: «Какие будут мнения?» Встаю. «Мое мнение — подождать с рекомендацией». И изложил про то, как он себя показал.

Все изложил. Тут встает товарищ этого парня и давай на меня насакивать: мол, чего я лезу, если сам комсомолец малоактивный!.. Иу, думаю, без толку я выступал. Но секретарь нага встал на мою сторону. Сказал, что, по его мнению, я сейчас как раз проявил активность. Забочусь о достоинстве и чести — и командирской и солдатской. О чести и достоинстве ребят, которые скоро будут у нас в подчинении.

Слушаю я секретаря, а сам думаю: кончится собрание, подойдет он ко мне и скажет, что оказался насчет меня и моей активности прав. Но он не подошел. Вообще он был, конечно, умен. Принципиальный, я тебе скажу!..

А почему, понимаешь, он ко мне не подошел? Достоинство мое поберег. Знал, за что я в себе еще держусь. За прежнюю уверенность, что я сам по себе.

А в армии — секретарь понимал это, — чувство собственного достоинства очень обостряется.

ЖУРНАЛИСТ. А часто можно услышать как раз обратное. Мол, несовместимо чувство собственного достоинства с армейским законом «коробочки»!

БОРИС. Ну, это те говорят, кто однажды свое достоинство не уберег... Сами будни армейские, мелочи и не мелочи службы день за днем приучают человека к мысли: не зря его время здесь тратится, нужен он людям.

И не только сам по себе он фигура, хотя на посту всё и все от него зависят, но и потому фигура, что за ним целая армия. С такими же, как у него, заботами, мелочами, с такими же каждодневными трудами!

Да взять простое: как солдат идет в городское увольнение? Он ведь с мыльцем, не как-нибудь, «наточит» стрелку на брюках, блестящие элементы мундира до ослепительности доведет! И бархоточку в карман положить не забудет, чтобы за любым углом пройти по ботинкам. Он знает: по нему будут об армии судить.

«Честь мундира?» Но ведь мундир однажды снимается навсегда, глядь, а понятие чести приросло! Навсегда.

В армии поневоле начинаешь чаще о себе думать: кто ты да что ты... И уж если что случится, голову держишь повыше: «Я солдат». С девушкой даже если трудный период настал — по письмам это сразу угадываешь — и тут: «Но я же солдат...» В любви, между прочим, это многое решает — во что себя ставишь...

ЖУРНАЛИСТ. Ты затронул горячую тему — любовь и армейская служба. В любой молодежной газете нет-нет да и разгорится дискуссия на эту тему. Но, по-моему, ведется разговор часто однобоко. В основном все «подборки писем» говорят в конце концов девушкам: «Ждите солдата! Солдатам служить нелегко, они исполняют важное дело. И оно будет исполняться лучше, если вы будете ждать. Ждите». Все правильно. Но если человек надел военную форму, делает это его более неотразимым? А за два года и парень и девушка немало наживают нового: тут и привычки, и качества, и знания. Это еще видно будет, подойдут ли они друг другу...

В общем, все сложно. А чаще всего о взаимоотношениях солдата и девушки судят примитивно: «ждала — не ждала», «верен — не верен»...

БОРИС. Тут, мне кажется, дело вот в чем. Почему-то считают: если девушка провожает парня в армию, то между ними обязательно любовь. А если девушка просто знакомая? Чаще всего именно так и бывает!.. Любовь — это любовь... В любви все решает то, что Гамлет называл «магнитом попристягательней». Какой ты магнит, вот в чем вопрос! Если такой, что сила твоей привлекательности действует через тысячи километров и все два года, тебя дождутся. Будь спок!

А разве привлекательность солдата в том, где он служит — в небесах, на море или на суше? Нет, она в том, как человек служит! Знал я любителей напирать в письмах девушкам на «ответственные задачи, стоящие передо мной». Такие хитро пользуются защитным цветом солдатской формы. Защищают свою собственную серость. Иначе для чего твердить девушке то, что и без тебя все знают: где ты, зачем ты служишь! А жизнь каждого солдата в письмах его просматривается прекрасно — хочет он того или нет. Это точно.

Конечно, ждать два или три года трудно, что и говорить. Но было бы кого. Только, повторяю, я чаще встречался с тем, что не любовь ребята на «гражданке» оставляли, а, наоборот, возвращались на «гражданку» с желанием найти настоящую любовь.

Не всегда. Но часто.

ЖУРНАЛИСТ. Точно. Недавно в одной из командировок я навестил своего армейского друга Женю Федорова. Он после армии женился. А в дни службы переписывался со своей будущей женой Валею... Ну вот, встретились мы.

И было иногда неловко: мы с Женей кое-что подзабыли из нашей армейской жизни, а Валя напоминала нам имена, события...

Когда мы остались с глазу на глаз, Женя рассказал мне, как трудно ему теперь оправдывать перед женой свои промахи и слабости: «Чуть что — она письма мои из армии цитирует! Мол, помнишь, была и в армии ситуация такая, и как ты тогда поступил? А как друзья твои в этом случае поступали?.. И ничего не возразишь! Одну жизненную школу, можно сказать, проходили... А учти — уходил я в армию, мы женихом и невестой не были!.. Переписывались — и только...»

Я-то знаю, о чем Женя писал Вале: как ему служилось, чем жил наш взвод...

БОРИС. А ничего удивительного! Если они друг другу до армии нравились, то парень, когда в армию попал, сделал единственную знакомую свою девушку «богиней-хранительницей» и делился с ней всем. Я встречал такое сплошь и рядом!..

ЖУРНАЛИСТ. Так вот. Мы с Женей, когда окончили сержантский курс, разъехались по разным местам, получили в свое командование «войска». Нам оченьгодились наши «университеты». Они похожи во многом на твои. И не только для Вали оказались аргументом в нашу пользу. Мы научились управлять своими «войсками» без крпка, требовательно и деловито.

А это сложно — в 19 — 20 лет иметь, по сути дела, огромную власть над ровесниками!

БОРИС. Сложно, если ты решишь, что это просто. А чего, казалось бы, проще: ты всегда прав, у тебя по уставу больше прав. Но ты, сержант, только на одном золоте своих лычек «выехать» не сможешь. Авторитет среди подчиненных — штука ежедневно хлопотная!

Помню, как я, новоиспеченный сержантик, комотделения, чуть не «погорел» на первом же своем занятии с подчиненными. Должен был провести «физо». Первое упражнение по программе — «подъем переворотом». А мне этот подъем переворотом не удалось освоить — моп баскетбольные ноги через перекладину перебросить очень тяжело. Но ведь всякий рядовой знает порядок — сначала упражнение демонстрирует сержант с положенным блеском, а уж потом все отделение.

А что делаю я? Вызываю кореиастепького пария В з строя: «Товарищ рядовой, продемонптрпруйте!» У него тут же усмешечка. У ясех тоже. Все оопяла.

Повышаю голос: «Посерьезней па занятиях!» Нахмурились.

Взяло меня зло. «Боксом кто-нибудь занимался?» Поднялось руки три. Посылаю коренастого за перчатками. Приносит. Я желающих из публики, в том числе и его самого, переигрываю, как детей. Вижу — поглядывают на меня с интересом. Только этот коренастый — все с усмешкой! Трет «поглаженный» мной подбородок, но все равно щурится: мол, бокс боксом, а положенный программой переворотик вы, товарищ сержант, не в дугу-с...

И что же? Каждый вечер, как отделение рассядется на самоподготовку, я бегом на спортплощадку, выжимать из себя «подъем переворотом». Через неделю я это упражнение демонстрировал уже сам!

А куда денешься?

Кстати, зол я был на этого коренастого еще долго. Взгляд с прищуром, подначки всякие с его стороны на каждом шагу. Правда, он и выполнял все, что я приказывал. Однажды пришлось мне даже по-крупному ему помогать, хоть и не очень-то хотелось! Получил он от матери письмо. Крыша ее дома совсем прохудилась, а мужика в доме нет — сын в армии, с мужем давно разошлась, пил, у самой здоровье уже плохое, чтобы плотничать. Мне про это письмо не он рассказал, а другие. Пошел я к командиру роты — так и так, надо бы парня в отпуск отпустить по семейным обстоятельствам. Ладно, говорит майор, с отпуском решим, а сначала давай письмо пошлем в местные органы. Сочинили письмо. Через месяц ответ пришел, — там привлекли молодежь, и она женщине и крышу починила, и дом в порядок привела, и еще шефство взяла над матерью военнослужащего.

Но коренастый по отношению ко мне нескоро еще оттаял. И я к нему. Потом уж, конечно, разглядели ДРУГ друга.

Вообще она такая, армейская жизнь, — высвечивает, кто есть кто, и часто отлично «притирает» людей друг к другу... Я вот свое разжалование в рядовые вспомнил. Тоже «проявился». Тоже урок...

ЖУРНАЛИСТ. Обещал рассказать...

БОРИС. Рассказать непросто... Служба шла нормально. В отделении моем порядок, взвод уверенно шел к первому месту в части по всем показателям. А секретарь наш даже мне намекал, что ребята собираются меня в комсомольское бюро выбрать.

В таком благостном настроении я пошел на «последний поворот». Оставалось служить считанные недели. Ощущение близости этого события — демобилизации — иногда убаюкивает. И незаметно расслаблялись тормоза. Отвыкал я от самоконтроля. То слово сорвется резкое, то на занятия опоздаешь...

Ну, думаешь, свои же все, одна семья, поймут. Ведь за спиной — почти полные два года!

А тут еще весной потянуло! И рано вроде, по упрямо теплые ветра по щекам начали этак гладить, в нос лезть. А ведь дуло из города, пахло мокрым, освободившимся от снега асфальтом...

И вся налаженность моего быта, настроения, покоя треснула, как речной лед! В голове сумбур, взгляд к окну прилип. За окном — город. А разум ушел в прошлое гулять, в Москву... Веспа на дворе! А что за ней? Дорога домой! Весна-то последняя в моей службе!

И однажды махнул я через забор, в «самоволку». Погулял по городу. Но он незнакомый, и меня обратно потянуло, в часть, к своим. Иду. На углу улицы — двое дядей. Один говорит: «Вот сержант будет третьим! Давай, служивый, к нам. Мы сами форму когда-то послали, тебе не чужие»...

И дерпуло же меня — подошел к ним! Налипает мне стакап. Второй говорит: «Нет, ие надо ему пить».

Зачем ты пария подводишь — залетит на «губу» за один запах!» Тот смеется: «Да такому верзиле цистерну надо, чтоб от него запахло! Скоро домой? Ну, вот видишь — есть причина: задом, где тебя ждут!»

Как он сказал про дом, про тех, которые ждут, — а меня не только мама с папой заждались! — я не выдержал. Ну, а там меня на вокзал понесло, на московский поезд хоть глазком глянуть. И — патруль.

...Перед тем, как мне из строя выходить, выслушивать приказ о разжаловании, я решил: спокойствие! Полное спокойствие! Подумаешь, остригли наголо, как новобранца, лычки с погон срежут! Дома волосы отрастут, погоны в гражданской жизни роли не играют.

Но как вышел, встал перед шеренгой своего отделения, как наткнулся на их взгляды... Тут, чувствую, не сглотнуть! Смотрю: и они, ребята мои, играют желваками. Им же известно, каким потом сержант лычки свои зарабатывает. Да и уважали меня как своего командира... Куда там спокойствие!

Ведь я же еще знал, что из-за меня весь взвод пострадал. Первое место в части по качеству службы и успеваемости было до моей «самоволки» почти в кармане! Это — отпуска домой тем, кто не был, звания, знаки доблести и тэдэ и тэпэ... А тут вижу: знают, чего я их лишил, и жалеют меня! От этого-то и стало мне совсем кисло...

Я уже говорил, что в армии человек со многим встречается впервые. А поскольку служат люди молодые, все переживается сильно! И в память глубоко врезается! Уроки армии «задаются на дом» — додумывать, доучивать многое мне придется еще долго. И хорошее и плохое...

Хотя с плохим в людях, прошедших армию, бороться гораздо труднее! Оно, как и все в отслуживших действительную, тоже «закаливается», затвердевает. Я это понял однажды. Как-то дня за три до отъезда домой сижу в столовой и вижу: во главе соседнего стола — ефрейтор, этакий типичный армейский «старик». Заправочка формы особенная, бляха ремня выгнута, баки отрастил. А рядом — солдаты-первогодки. Подают на стол масло, он его деловито делит пополам и... половину себе, миску с другой половинкой — соседям по столу! Настроение у меня было не ахти — от разжалования я так отойти и не смог до последнего дня, до прощального марша... Встал я, подхожу к нему: «Что ж ты делаешь?!» А он меня знал. И про то, что я из сержантов полетел, тоже знал. «А ты что, святой? За что лычки содрали, забыл?» Тут я еле злость свою сдержал, и говорю: «Жаль, что тебе домой, тебе бы еще послужить, а то ты не все в службе повял!»

Меня что волнует — ведь таким он и придет в жизнь...

Плохое, говорю, придется исправлять, нерешенное, соответственно, решать, хорошее — сохранять. К тому же это «домашнее задание» почему еще будет полезно? Я с собой привез не только свои «задачи». В памяти — сотни судеб, сотни встреч. Ребята, служившие со мной рядом, пришли в армию со всех концов страны. Так вот, думать придется о многом том, о чем думают они, — *я же «намагнитился» ими. Нет разговору — знания мѢи о жизни расширились. Но вместе с этим и жизнь как бы раздвинулась. Вот пример... Наш взвод как-то обслуживал большие соревнования по ориентировке на местности. Сквозь леса, через болота, по оврагам лежали трассы спортсменов. Выступали почти одни мастера этого спорта. И у нас, у будущих сержантов, был такой предмет, — топография, ориентировка. Я, новичок в этом деле, когда, помню, сдавал зачет, получил для прохождения ма-а-леякий лесок. Мастера же на соревнованиях бегали по громадной территории. Шли они, конечно, уверенней во сто раз, чем мы, новички, на своих занятиях. Но разве им от этого было легче? Я видел, как достается их мастерский масштаб!.. Так и в жизни. Чем больше знаешь, тем больше понимаешь, как необходимо знать еще и еще... Я дома пятый день. И уже вижу: с нажитыми в армии ори> ентирами — новые сложности.

Пожалуй, армия учит внимательно всматриваться в жизнь, думать над ней. Делает как бы заготовку личности... Это — мое мнение.

ЖУРНАЛИСТ. А чем ты хочешь заняться теперь?..

БОРИС. Ага! Традиционный вопрос о планах на будущее? Честно говоря, не решил.

Пока есть две срочные задачи. Первая — «акклиматизироваться» в Москве. Столько перемен! На месте никто из моих московских друзей не стоял, каждый по-своему изменился,

вырос. Кое с кем заново «встретился», кое с кем, встретясь, разошлись... У меня оказались одни ориентиры, у некоторых — другие...

ЖУРНАЛИСТ. Задача акклиматизации решится скоро сама собой. По опыту знаю.

БОРИС. Наверное, ты прав — решится. А вот вторая задачка посложнее. Хочу найти пластинку с записью марша «Прощание со славянкой». Оркестр части провожал нас этим маршем домой. Никогда этой музыки не забуду.... И этого дня... В нашем солдатском клубе была пластинка с тем маршем. Старая, еще с маяком «Апрелевского завода» на красном кружке этикетки. Выпрашивал я ее у завклуба — не дал, хоть и другом был. Головой мотал печально: «Ее и в Москве не достанешь теперь. Знаю, искал, когда ездил в столицу!» «Ну, да, — спорил я, — чтоб чего-то в Москве не достать!» А вот почти неделю дома, магазинов десять обошел — нет.

Жаль. В этом марше для меня вся армия, весь ее мир. Все прошлое... И настоящее, само собой. Мы с одним моряком в поезде ехали вместе. И моряк мне сказал, что, когда слушаешь марш «Прощание со славянкой», возникает чувство, какое испытываешь в открытом море, в чертовой дали от родных берегов — при взгляде на наш флаг на мачте...

ЖУРНАЛИСТ. Если найдешь эту пластинку, — возьми и на мою долю. Три года, как вернулся, а тоже никак не могу найти «Прощания»...

спорт

ВИКТОР КРАУЗЕ:

«Я НЕ ЛЮБЛЮ СТАДИОН»

Такого в истории легкой атлетики еще, кажется, не случилось. Два победителя в марафонском беге показали одинаковое время — 2 : 17.14,6. До фотофиниша дело не дошло — потому только, что этим способом никогда раньше не определяли победителей в марафоне.

Это произошло нынешним летом на чемпионате страны. Многоопытный марафонец Юрий Великородных и никому доселе не известный двадцатитрехлетний бегун Виктор Краузе одновременно — почти одновременно — пересекли линию финиша. Чемпионом страны был признан Краузе. Спрашиваю Виктора:

— НУ, А САМИ-ТО ВЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТОС ПОБЕДИЛИ?

— Я чувствовал, что выиграл, что был немного впереди. На последней прямой я обошел Юру. Он набегал сзади, и я как-то по старой привычке средневека прикрыл, наполовину закрыл первую дорожку. Единственное, что мог сделать Юра, поскольку он бежал по этой же дорожке, — толкнуть меня на финиш.

— ЗНАЧИТ, НЕ СОМНЕВАЛИСЬ?

— Нет, немного я все-таки сомневался. Кто его знает? Пробежать такую дистанцию... Восприятия притупляются. Если честно, то я даже не особенно помню, где она была-то, линия финиша: может, она еще дальше была... Великородных — очень сильный парень, сильнее меня. За победу я должен сказать спасибо своему товарищу Дамиру Мухамедзянову. Если бы не Дамир, я бы много ошибок наделал. А тут и одной хватило бы: не на грудь был бы впереди, а на сто метров сзади...

— НУ, А В ЧЕМ КОНКРЕТНО ОН ВАМ ПОМОГ?

— После питательного пункта я, например, завелся. Тут обычно ажиотаж: хватают — кто успел, кто не успел — и кидаются вперед. А это очень опасно: после того, как попил чего-нибудь, кинешься вперед — может спазм какой-нибудь произойти. И вот в таком ажиотаже я кинулся мимо Дамира, очень резко кинулся: испугался, что уйдут, что отстану. Дамир — спасибо ему — схватил меня рукой, сказал: «Не дергайся! Спокойно! Сейчас все равно достанем!» Еще Дамир сам варил нам подкормку, специальный кофе — какой-то питательный — сварил. Очень удачный рецепт. Да что там говорить, Дамир для меня очень

многое сделал. И не только в этом беге, а вообще. Мы все тренировки, все работы делали вместе. Когда надо, Дамир успокаивал меня, вселял уверенность: он-то опытный товарищ, ему уже тридцать два. Я пожалуюсь: «Дамир, что-то ноги легкие...» А он: «Прекрасно, хорошо!» Перед этим марафоном: «Что-то ноги тяжелые, Дамир!...» А он опять: «Очень хорошо! Прекрасно!» «Когда же плохо будет, Дамир?»

— А КАК ВЫ ВООБЩЕ СТАЛИ МАРАФОНЦЕМ, ВИКТОР?

— В детстве я мечтал быть моряком. После четвертого класса поступал в Нахимовское училище. Меня не взяли: врачи нашли у меня какие-то аномалии в сердце. Я был глубоко расстроен. Но детский врач в Атбасаре (это железнодорожная станция в Казахстане, я там родился) успокоил меня, обнадежил. «Ты можешь все изменить, — сказал он, — занимайся спортом, главным образом бегом». Я последовал совету.

— ВЫ СКАЗАЛИ, ВИКТОР, ЧТО ПРИКРЫЛИ ДОРОЖКУ ПО СТАРОЙ ПРИВЫЧКЕ СРЕДНЕВИКА. ВЫ ЧТО ЖЕ, И СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ БЕГАЕТЕ?

— Бегал, раньше бегал. И восемьсот бегал, и полторашку. Я восемь лет бегаю, шесть из них — средние дистанции. Начинал у очень хорошего тренера — Загрядского Анатолия Ивановича — в Новосибирске. Там закончил техникум физкультурный. Вначале шло успешно, в шестьдесят шестом я даже чемпионом России был среди мальчиков. Но потом результаты стали расти медленно. Попробовал себя на стайерских дистанциях — не понравилось. За всю жизнь я стартовал раза три на пятерке — не получалось у меня. Я не люблю стадион. На шоссе простор — беги, пожалуйста. А на стадионе у меня какие-то неприятные ощущения. Как-то закрепощение себя чувствую. На последнюю прямую выхожу — обязательно закрепощаюсь. Бегу пятерку, десятку — не то чтобы меня темп давил, а вот бегу и почему-то хочу чуть потише бежать. Тише я бежал бы хоть до ночи, пока меня не остановили бы.

— НО ВЫ-ТО, ЧИТАЛ Я, В МОСКВЕ ВСЕГО ВТОРОЙ МАРАФОН БЕЖАЛИ...

— Да, в соревнованиях второй раз.

— КОГДА ВЫ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ МАРАФОН?

— В шестьдесят девятом, когда Дамир Мухамедзянов выполнил норму мастера спорта. Это было в Ужгороде, я там находился на оздоровительном сборе. Я попал на машину и всю дистанцию проехал, всю борьбу видел.

— НУ И КАК МАРАФОН СО СТОРОНЫ?

— Ощущение такое было, что мне не пробежать. Нет, пробежать я пробежал бы. Но пробежать так, как они, не сумел бы.

— БЫЛО СТРАШНОВАТО?

— Ну, я тогда еще не примерялся марафон бегать. А страшно стало, когда ребята сфинишировали. Славик Савельев — наш, алма-атинский парень — стер себе ноги: па всю подошву был сплошной кровавой мозоль. Он ходить не мог. Я его на себе носил.

— А У ВАС, КСТАТИ, ПОСЛЕ МАРАФОНА, В КОТОРОМ ВЫ ЧЕМПИОНОМ СТАЛИ, ВСЕ ОБОШЛОСЬ БЛАГОПОЛУЧНО?

— Да. Только два ногтя сошли с мизинцев: обувн еще нет хорошей...

— А В ВЕСЕ СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ?

— Четыре килограмма. У меня пятьдесят семь, а после финиша — пятьдесят три. Для жаркой погоды вполне нормально: вода ушла из организма, высохла. Через день я иапил вес.

— ТАК КАК ЖЕ ВЫ СТАЛИ МАРАФОНЦЕМ?

— Я жил в Алма-Ате. Анатолий Иванович Загрядский, когда я техникум закончил, посоветовал идти в инфизкульт. В прошлом году после неудачного выступления на первенстве Казахстана, где я полторашку бежал, решил кончать с бегом, но вскоре меня пропросили выступить на двадцать километров на соревнованиях Центрального совета «Локомотива». Я занял первое место. А через два месяца в Калининграде был девятым в марафоне и мастером стал.

— ТЯЖЕЛО БЕЖАТЬ МАРАФОН?

— Тренироваться тяжелее. Большие объемы, приличная скорость — бывало, утром встаешь и не хочешь спортивный костюм надевать, шагом не хочется ходить — не то, что бегать. Заставлял себя.

— КАК ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПОСЛЕ КАЛИНИНГРАДА ВЫ ДО ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ НИ РАЗУ НЕ БЕГАЛИ МАРАФОН?

— В Ужгороде порвал икроножную мышцу. Я часто на тренировках жадничаю, перебираю. Три раза в день тренировался — забил икроножную мышцу. Был сильный ветер, я против ветра толкнулся сильнее — она словно хрустнула. Неделю ходить не мог...

— ПОНЯТНО. ВЕРНЕМСЯ К МАРАФОНУ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ВАС ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ...

— У меня было одно на уме: чтобы вначале, когда толпа шла, никого не обидеть, и чтобы меня не обидели: ну, чтобы на ногу мне не наступили и чтобы я никому не наступил, чтобы не затолкали. Чтобы никто не убежал в отрыв, боялся, что группа какая-нибудь убежит. Чтобы на питательных пунктах вовремя подхватить, что дают.

На сороковом километре наш представитель — Сорокин Николай Павлович, тренер Дамира, — крикнул мне: «Давай отсюда на всю катушку дави! Золотая медаль в кармане!» Николай Павлович потом объяснил. «Смотрю, — говорит, — ты высоко бежишь». Благодаря Сорокину и решился я на рывок. Чувствовал себя хорошо — начал ускоряться. Пробежал я, наверное, тысячу метров — от лидера, Юры Великородных, убежал метров на пятнадцать. Так и бежим. Я не могу удрать, а он — догнать. Так и вбежали на территорию стадиона. Значит, финиш уже где-то близко. Тут уже стремление выиграть появилось — выдавал все.

Вдруг мотоциклист закричал: «Направо! Направо!» Не сразу до меня дошло. Оказывается, около памятника надо петлю делать, а я этого не знал. Не знаю, почему так случилось, но я решил, что мне надо в другие ворота забегать. А сил уже почти и нету... В это время как-то инстинктивно оглянулся назад, смотрю: Юра метрах в пятнадцати сзади, за ним еще кто-то. Ну, подумал, все: сейчас меня обойдут... И как-то сбавил темп. Юра меня обошел. Но далеко не ушел — метра на четыре. Больше он не сумел: видать, на этот рывок все потратил. Смотрю: белая линия ведет прямо в ворота. Ну, я решил еще раз попробовать, собраться.

— А СКОЛЬКО ДО ФИНИША ОСТАВАЛОСЬ?

— Метров триста. Когда вбежали на стадион, Юра был в двух метрах впереди. По выражу не стал я его обходить: как средневик знаю, что это неэкономно. Пристроился к нему сзади и на финишной прямой стал с ним бороться. Метров пятьдесят мы жали с ним будь-будь! А потом я вышел вперед. И как-то подсознательно или инстинкт какой-то сработал, одним словом, я успокоился и решил, что уже выиграл, что можно притормозить, отдохнуть. И без напряжения покатил дальше. А Юра сделал отчаянное усилие: набежал последние метры и чуть не обогнал меня...

— ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ, КОГДА ПРИШЛИ В СЕБЯ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ?

— Написал письмо маме. Мама долго боялась, что бег — тем более, на сверхдлинные дистанции — повредит моему здоровью. Она просила, чтобы я бросил бегать. Я ей пообещал: «Вот выполню норму мастера спорта, мама, и перестану бегать». Я ей после каждого соревнования пишу письма, сообщаю, как себя чувствую.

— ЧТО ЖЕ ВЫ НАПИСАЛИ НА ЭТОТ РАЗ?

— Как всегда, что чувствую себя хорошо.

— А ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК?

— Врачи у меня не могут сейчас найти никакой болезни сердца.

Беседу вел Анатолий ПИНЧУК

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

КОКТЕЙЛЬ «ГАЛКА ГАЛКИНА»

— А почему вы вдруг стали барменом? — спросил я у Александра Кудрявцева, бармена ленинградского молодежного кафе «Сонеты».

Кудрявцев смущенно улыбнулся в усы «а-ля писатель Григорович», и сказал:

— Знаете, я Хемингуэя люблю... А у него в книжках тут и там мелькают коктейли с экзотическими названиями. «Острова в океане» читали? Коктейль «дайкири» помните? Любимый напиток Хемингуэя. Сейчас я вас им угошу...

И бармен Александр Кудрявцев начал колдовать. Он налил в шейкер (сосуд для сбивания коктейлей) 80 граммов кубинского светлого рома, выжал туда лимон, добавил 10 граммов фруктового сиропа, завинтил крышку, и шейкер заплясал в его руках.

Я потянул напиток через соломинку.

— Ну как? — спросил меня Кудрявцев.

— !!!

— Так вот, теперь этот классический напиток умеет делать каждый мой ученик.

Александр Кудрявцев руководит первыми в нашей стране курсами барменов. Курсы созданы Главным управлением общественного питания Ленгорисполкома совместно с горкомом комсомола.

— Кого же вы принимали на эти курсы? — задал я вопрос Володе Калугину, председателю координационного совета по работе молодежных кафе при горкоме ВЛКСМ.

— Во-первых, мы брали ребят, уже работающих официантами или барменами в молодежных кафе. Туда они, по идее, должны вернуться, овладев новой специальностью или (если они уже работали за стойкой) повысив свою квалификацию. Основным критерием при приеме на курсы были для нас личные качества: внешность, обаяние, эрудиция, знание города, например... Бармен должен уметь подсказать клиенту, что посмотреть в Ленинграде, как куда проехать... Бармен не просто буфетчик — налил, получил деньги...

У многих может возникнуть вопрос: зачем во время интенсивной борьбы с алкоголизмом поощрять профессию бармена, плодить людей, работающих за стойками? Именно вследствие этой самой борьбы. Ведь борьба с алкоголизмом не влечет за собой полного уничтожения спиртных напитков. Вино люди пить будут. Весь вопрос — как. Культурно или разнузданно, зная меру или «до белых мышей», изящно или омерзительно. И тут роль человека за стойкой становится очень важной. Он хозяин винных запасов, если можно так сказать, руководитель дегустации спиртных напитков, тонкий диагност состояния своих клиентов.

— Бармен обязан быть психологом, — говорит Кудрявцев. — В момент, когда человек только направляется к моей стойке, я должен составить о нем представление. Поговорив о том о сем, познакомившись, я пойму, знает ли он свою меру, или ему надо деликатно ее подсказать... Знаете, это тоже надо уметь — сказать человеку, что ему хватит. Чтобы он вам поверил, послушался и не обиделся.

— А как вы это делаете?

— По-разному... От человека зависит. Кроме того, у меня есть рецепты отрезвляющих коктейлей, и я часто их предлагаю особенно упорным клиентам.

— Разве есть такие?

— Что, упорные клиенты?

— Нет, отрезвляющие коктейли.

— Ну, они не столько отрезвляющие, сколько благотворно действующие на пищеварительный тракт. Молочные коктейли, например, коктейли с яйцом...

— Не сообщите пару рецептов?

— Извольте. 80 граммов молока, 20 граммов коньяка, 10 граммов фруктового сиропа, яйцо — все хорошо взбить в миксере. Или еще, пожалуйста: 50 граммов апельсинового сока, 15 граммов какого-нибудь фруктового сиропа, яйцо, взбить в миксере и посыпать сверху тертым мускатным орехом.

— И вы все эти рецепты передаете ребятам с курсов барменов?

— Нет. Я стараюсь научить их принципам составления коктейлей, так сказать, основам композиции. Конечная цель года учебы — не сто рецептов, которые я мог бы на первом же занятии продиктовать каждому в тетраточку, а шесть — восемь фирменных коктейлей, изобретенных каждым для своего будущего бара.

Курсы барменов созданы на базе среднего профессионального кулинарного училища. Учащиеся проходят все предметы, которые там преподают по программе подготовки официантов, плюс барное дело под руководством А. Кудрявцева. Курс барного дела, в свою очередь, состоит из таких предметов, как «Товароведение», «Организация обслуживания в баре», «Приготовление коктейлей»... Тем учащимся Кудрявцева, кто в октябре сдаст экзамены, впервые официально будет присвоено звание бармена. Пока же эта профессия числится по штатным расписаниям как «буфетчик 5-го разряда». Абсурд! Почему человека, занимающегося спортом, мы называем спортсменом, а специалиста, работающего в баре, — буфетчиком?..

Александр Кудрявцев вынимает из портфеля синие ученические тетрадки.

— Вот. Домашнее задание. «Послеобеденные коктейли». Сами сочиняют. — Он заглядывает в одну тетрадку. — Смешно, конечно...

— А что смешно?

— Разве можно «цинандали»

смешивать с болгарским рислингом?.. Ну, как вы сами думаете?

— Никак... — теряюсь я.

С Кудрявцевым трудно разговаривать на эту тему. Оп человек с высшим образованием, единственный в стране защитил диплом по смешанным напиткам в Институте советской торговли. Я читал этот труд — полное описание свойств и качеств спиртных напитков, их история и способ изготовления, формулы смешиваний, классификация коктейлей по назначению, времени потребления, эстетическим качествам — большое значение имеет, например, цвет, для женщины или мужчины сделан коктейль, в какое время суток подается... В общем, целая наука.

Слышу скептический смешок: «Хи-хи — тоже мне наука!..» На это отвечаю так. Если мы в настоящее время ставим на научную основу все наше производство, включая сферу обслуживания, почему же неуместна наука в деле приготовления напитков? Ведь на свете существует, например, икэбана — искусство составления букетов. Коктейль — тот же букет, только вкусовой. И, кроме всего прочего, как приятно в лице бармена-официанта иметь милого собеседника, тонкого знатока, тактичного советчика, а не примитивного открывателя бутылок.

В кафе «Сонеты» такой примитив работать не сможет. Каждый вечер у дверей «Сонетов» стоит толпа желающих, и вовсе не для того, чтобы «выпить-закусить». В кафе проводятся интересные вечера, приглашаются известные поэты, архитекторы, спортсмены... На стенах висят старинные гравюры из жизни Петербурга, в углу светится телевизор, за стойкой стоит добрый приятель всех посетителей Александр Кудрявцев, предлагая свои вкусные изобретения... Что еще надо для хорошего настроения? Однако ребята из «Сонетов» думают сегодня о будущем своего кафе.

Откровенно говоря, форма устных журналов в кафе несколько амортизирована. Хотелось бы каждого посетителя сделать активным создателем приятной атмосферы кафе. Хорошо бы человека, попавшего в кафе, вовлечь в какую-либо игру, которая сделает его более общительным и раскованным.

Или еще одна мысль — кафе | коллекционер. Допустим, «Сонеты» объявляют, что они собирают старинные, положим, ключи. Человек, откопавший в чулане любопытный ключ своей прабабушки, становится почетным посетителем кафе. Идея сугубо ленинградская, где ещё сохранилось столько забавной старины... Через год-два кафе станет уникальным музеем старых ключей.

Много еще разных идей возникло в разговоре о судьбах молодежного кафе, который мы вели с Сашей Кудрявцевым, Володи Калугиным, инструктором Дзержинского райкома

комсомола Колей Буравкиным (кстати, тоже учеником школы барменов)... Но «Сонеты» закрываются, надо прощаться.

— Что вы посоветуете выпить мне на посошок? — спрашиваю я Кудрявцева.

Секунду бармен думает.

— Специально для корреспондента «Юности» хочу предложить импровизацию — коктейль «Галка Галкина». Берем мускат крымский — 50 граммов, одно яйцо, сироп лимонный — 15 граммов. Хорошо размешиваем со льдом и посыпаем сверху тертым шоколадом... Прошу!

М. ПРОБОРОВ

«ДЬЯВОЛЕНОК» ТОМ ДЖЕКСОН

Пятьдесят лет тому назад на киноафишах появились три всадника в буденовках — герои нового фильма Госкин прома Грузии «Красные дьяволята», поставленного Иваном Перестиани по книге Павла Бляхина.

Недавно «Красные дьяволята» были дважды показаны по Центральному телевидению — фильм и сегодня волнует миллионы зрителей. Поэт Николай Асеев посвятил этой ленте стихотворение, в котором зритель-скептик признается: «Впервые скулы в зевках не болят от нашей советской картины...» Хочется вспомнить слова наркома просвещения А. В. Луначарского: «Дьяволятам — Жозеффи, Есиковскому и бен-Селиму — выражаю благодарность от имени тысяч русских пролетариев, следящих за их головокружительным искусством».

«Красные дьяволята» появились на советском экране очень своевременно. Жажду «красной романтики», о которой в те годы спорили до хрипоты, не могли утолить ни Пинкертоны, ни Тарзаны, ни американские кинобоевики с участием звезды экрана Пирл Уайт, управлявшей и автомобилем и аэропланом. В «Красных дьяволятах» советский зритель увидел каскад увлекательных приключений, передававших героике революции и гражданской войны, и встретился с тремя отважными молодыми буденовцами — «ячейкой юного рабочего Интернационала». Перестиани смело объединил в своей картине элементы вестерна, эксцентрической комедии, революционно-романтического эпоса, бытовые сцены.

В конце 1922 года режиссер увидел на манеже Тифлисского цирка трех молодых актеров: рыжего коверного клоуна Пач-Пача (П. Есиковского), семнадцатилетнюю эквилибристку на проволоке Соню Жозеффи (С. Вахнянскую) и африканского акробата, боксера Кадора-бен-Селима. Перестиани сразу решил, что физическая сила, ловкость, выносливость позволят им сниматься в фильме без дублеров, без предохранительных сеток и страховочных поясов. Вскоре он пишет в своем съемочном дневнике: «Вечером возился с красными дьяволятами. Мне кажется, по степеням они пойдут так: негр, Жозеффи и Пач-Пач. Хотя этот последний высокого о себе мнения и авансом считает себя гением».

Павел Есиковский (Пач-Пач), которому было тогда 22 года, выступ. пал на манеже с пяти лет вместе со старшими братьями — хозяевами небольшого кочевого цирка. Маленький Павлуша долгое время был «гуттаперчевым мальчиком», занимался акробатикой и наконец стал коверным клоуном. В Тифлисском цирке любимец публики Пач-Пач с успехом выступал и в номере «Джигиты», переодеваясь в яркую черкеску с длинным башлыком. После «Красных дьяволят» Есиковский снимался в других картинах, работал в цирке, гастролировал за границей, а в 30-е годы выступал в Минске в цирке-шапито. Умер П. М. Есиковский в Омске в 1961 году.

Соня Жозеффи (Софья Вахнянская) родилась в семье циркового актера, а на арену вышла в три года! В восемь лет она научилась крутить сальто, потом участвовала в акробатическом номере вместе с отцом, братом и четырьмя сестрами, жонглировала, танцевала па проволоке. Кроме фильма «Красные дьяволята», она снималась во многих лептах Госкинопрома Грузин. Умерла она совсем недавно.

Но особенно интересна судьба третьего дьяволенка — негра Кадора-бен-Селима. С именем этого артиста связано много противоречивых сведений, зрительских фантазий. Согласно одной из версий, исполнитель роли Тома Джексона — это солдат французской армии, бывший сенегальский стрелок, оставшийся в Одессе после отступления войск Антанты. Об этом писал в мемуарах И. Н. Перестиани «75 лет жизни в искусстве», где африканский артист назван Кадором-бен-Салитом.

В 1926 году, рассказывая о себе на страницах «Советского экрана», негритянский артист говорил: «В афишах и статьях меня часто называют Кадор-бен-Саиб. Это неправильно. Мое имя — Кадор-бен-Селим, потому что моего отца звали Селим». Впрочем, для миллионов кинозрителей он был не столько реальным человеком, сколько красным дьяволенком из «великолепной тройки». Но какова же его подлинная история?

В начале 1927 года цирковой гастролер-акробат Магомет Эрги встретил в Москве своего бывшего ученика Кадора-бен-Селима, ставшего известным киноартистом. Первый раз Магомет Эрги приехал в Россию с труппой из шестнадцати учеников весной 1914 года. Среди акробатов-прыгунов был и негр Кадор-бен-Селим. Но началась мировая война, и турецкий подданный Эрги бежал из России. За ним последовали почти все артисты, а Кадор-бен-Селим остался в нашей стране.

Кадор родился в Марокко в семье бедняка и еще мальчиком стал уличным акробатом. Однажды вербовщик, приглядевшись к способному Кадору, предложил старому Селиму 10 долларов. И тот отпустил сына в Голландию, где формировались цирковые труппы из арабов и негров. Искусству акробатики не без помощи кулаков его учили Эрги и его брат.

После бегства хозяина из России Кадор-бен-Селим начал жизнь бродячего циркового актера и за десять — двенадцать месяцев исколесил нашу страну от Риги до Самарканда. В 1917 году судьба свела восемнадцатилетнего Кадора с известным русским цирковым актером Александром Сосиным, который очень многому научил молодого негра. Теперь Кадор-бен-Селим выступал не только как партерный акробат, но пробовал силы как иллюзионист и даже танцевал аргентинское танго.

Осенью 1918 года Кадор-бен-Селим выступал на манеже летнего цирка-шапито в городе Верном (Алма-Ата). Часто цирк заполняли красноармейцы. Кадор видел, как после представления они закидывали винтовки на плечо и уходили на фронт, проходивший недалеко от города. Там, в долинах Семиречья, шли упорные бои с белогвардейцами атамана Анненкова.

Однажды Кадор решительно заявил Сосину, что уходит на фронт, драться за свободу угнетенных и негров. Во время одного из боев он подвернул ногу и упал около разбитого снарядного ящика. Появились белые. Кадор притворился мертвым. Враги с удивлением осматривали черного красноармейца. Кто-то предположил, что труп, видно, долго лежал, поэтому сгнил, а может быть, и обуглился. Негр шевельнулся и выдал себя. Узнав, что пленник говорит по-французски и по-английски, белый генерал определил его к себе в переводчики. Однако при первом удобном случае Кадор вскочил на коня и умчался к своим.

В начале 20-х годов на заборах южных городов появились броские афиши: «Непобедимый чемпион Марокко — Том Джексон». Вернувшись на манеж, Кадор-бен-Селим придумал псевдоним и начал выступать на арене как боксер.

Однажды после представления его пригласили к «седому и хорошему человеку», который сказал: «Джексон, я хочу снимать вас». Так состоялось знакомство Кадора-бен-Селима с Перестиани. И китаец Ю-ю в сценарии Бляхина уступил место новому персонажу — уличному акробату Тому Джексону.

Режиссер так объяснял сценаристу свой выбор: «Подхожу теперь к вопросу о китаец: после мучительных размышлений (мне, боже сохрани, не хочется хотя бы косвенно насиловать вашу волю) все же пришлось остановиться на негре. И вот причины: а) экран не выносит театрального грима, делая его лубочной мазней; б) даже если бы рискнуть на грим, здесь нет ни настоящего кинопарикмахера, ни настоящего актера; в) негр является артистом

высокой тренировки, что делает его незаменимым при тех подвигах ловкости и смелости, какие будет совершать моя тройка».

После первой съемки 27 февраля 1923 года И. Н. Перестиани делает запись в дневнике, оценивая работу своих актеров по пятибалльной системе. Высшую оценку получает иггр. Новичок в кино, он добросовестно выполнял все задания и команды режиссера, бегал, не замечая кинокамеры.

Напомним содержание знаменитой сцены из «Красных дьяволят»: негр останавливает вражеский обоз, притворившись мертвецом. Белые с удивлением разглядывают Тома, лежащего на дороге. И вдруг из засады выскакивают Миша и Дуняша. Они убивают урядника, а остальных захватывают в плен. Совершенно очевидно, что в этих кадрах Перестиани вместе с актерами по-своему воспроизвел уже известный нам случай из фронтовой жизни Кадора-бен-Селима.

Негр ловко переправлялся по канату через глубокий овраг и отважно бросался в море с высокой скалы, вызволяя друга из беды. В некоторых сценах Перестиани усиливал пластику кинообраза, снимая гибкого и мускулистого Кадора обнаженным до пояса. По характеру сдержанный, немногословный, не любивший чрезмерной популярности, Кадор пришелся по душе всем членам съемочной группы. Став известным артистом, он часто ходил тихими кружными улицами и дворами, чтобы не привлечь излишнего внимания.

После грандиозного успеха «Красных дьяволят» Кадор-бен-Селим снялся в новых фильмах Перестиани о приключениях Миши, Дуняши и Тома Джексона. Но другие фильмы серии не пользовались таким успехом, как первый.

В середине 20-х годов Кадор работал в Сухуми милиционером конного резерва, он часто выступал в кинотеатрах перед демонстрацией картин со своим участием. Потом жил в Ленинграде, работая в труппе известного акробата Георгия Дельвари. В начале 30-х годов он уехал в Одессу. На этом следы его теряются. Может, кто-нибудь из читателей «Юности» знает о дальнейшей судьбе дьяволенка Тома Джексона?

А. БЕРНШТЕЙН

ЗЕЛЁНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Арк. АРКАНОВ

Гр. ГОРИН

В ГАБРОВЕ ЖИВУТ ГАБРОВЦЫ...

(Совместные и индивидуальные впечатления и размышления об одной поездке)

Командировочное удостоверение № 24.

Настоящее удостоверение выдано писателям Аркадию Арканову и Григорию Горину, именующим себя сатириками, сотрудницей журнала «Юность», именующей себя Галкой Галкиной, в том, что:

- а) они командировются
- б) в город Габрово
- в) на фестиваль сатиры и юмора
- г) сроком на 8 дней д! с целью
- е) побывать на фестивале и
- ж) рассказать о нем читателям «Юности».

Настоящее удостоверение дает право А. Арканову и Г. Горину набираться впечатлений, знакомиться с людьми, задавать вопросы, получать ответы и размышлять в указанные сроки...

Получению этого удостоверения предшествовали следующие события: стояли теплые майские дни, лежали в кармане авиационные билеты, сидели в своих кабинетах сотрудники журнала, в одном из которых нас ждала вышеупомянутая Галка Галкина.

— Итак, старики, посылаем вас за границу! — сказала Галка Галкина своим приятным мужским голосом.

Мы вообще любим, когда нас называют «стариками», а не по имени-отчеству. Сейчас же это означало еще и хорошее отношение к нам и оплату дороги в оба конца.

— Едете, стало быть, в Габрово, в солнечную Болгарию, — продолжала Галка, — на фестиваль сатиры и юмора. Болгарские товарищи прислали приглашение, и мы все гадали, кого послать. Критики наши сейчас по горло загружены работой, поэты переводят, балет Большого театра на гастролях... И тут вдруг родилась оригинальная идея: а пошлемка мы на фестиваль сатиры и юмора именно писателей-юмористов: ведь Габрово славится своими анекдотами...

— Это мы знаем, — сказали мы.

— А вообще, что вы знаете про город Габрово?

— Что он славится своими анекдотами...

— Это я и без вас знаю... А еще что-нибудь знаете про Габрово?

— А вы?

— Я вас не в Одессу посылаю, поэтому не отвечайте мне вопросом на вопрос.

— Габрово — это промышленный... — начал один из нас.

— ...центр! — добавил второй.

— Габрово славится на весь мир своими тканями, — сказал один из нас.

— ...и анекдотами, — добавил второй.

— Габрово производит станки, электронные приборы, печатно-типографское оборудование....

— ...и анекдоты, — добавил второй.

— Габровцы славятся на весь мир как самые экономные и расчетливые люди... — сказал один из нас.

— ...и все их знаменитые «габровские уловки» направлены на то, как бы еще сэкономить... — добавил второй. — Например: габровцы обрубаят кошкам хвосты, чтобы дверь за ними закрывалась скорее и из комнаты не уходило тепло...

— Например: габровцы останавливают на ночь часы, чтобы не изнашивались части механизма....

— Например: габровцы когда угощают, то нагревают ножи, чтобы нельзя было брать масло...

— Например: когда провожают гостей, то дарят им в качестве подарка домашних голубей — выпущенные на свободу, те возвращаются в Габрово.

— М-да, странно! — покачала головой Галка. — Вы тогда хоть с собой еду возьмите.

— Ничего, мы не боимся, — сказали мы оба, поскольку одному из нас совсем неплохо было бы похудеть, а другому ни в коем случае нельзя набирать вес.

— Ну, тогда счастливого пути!

...кстати, рассказывают, что: ТУРИСТ СПРОСИЛ У СТАРИКА ГАБРОВЦА, СКОЛЬКО В ГОРОДЕ ЖИТЕЛЕЙ.

— У НАС НЕ ПРОСТО ЖИТЕЛИ, СЫНОК, — ОТВЕТИЛ ТОТ, — У НАС ВСЕ ГАБРОВЦЫ!..

ГАБРОВО С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

Несмотря на чтение специальной литературы, изучение географической карты Болгарии, знакомство с болгаро-советским разговорником, посещение магазина «Варна» и ресторана «София», мы все-таки чувствовали свою слабую осведомленность о городе, в который нам предстояло ехать. Ощущалась необходимость в живом общении с людьми, побывавшими там.

Оказалось, что до нас в Габрове уже ступала нога советского человека, вернее, много тысяч ног. Через Габрово проходят почти все туристические маршруты. В Габрово выезжает много советских специалистов. В Габрове побывали корреспонденты многих советских газет и журналов.

От людей, побывавших в Габрове, мы узнали, что Габрово — один из старинных и самых красивых городов Болгарии. Что он стоит на реке Янтре. Что вокруг него — великолепные горы. И что Габрово сегодня — один из главных промышленных центров страны. И что известный болгарский писатель Радой Ралин сказал о нем так: «Габрово славится выпуском большого количества чудесных тканей. Но вес равно габровцам не одеть нашей планеты... Их обувная индустрия может добиться фантастических успехов, и все равно габровцам не обуть весь мир. Но их уловки в состоянии рассмешить все человечество...»

...кстати, рассказывают, что: МАЛЕНЬКОМУ ГАБРОВЦУ РОДИТЕЛИ РЕШИЛИ КУПИТЬ ШОКОЛАДНОГО ЧЕЛОВЕЧКА.

— ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ: ДЕВОЧКУ ИЛИ МАЛЬЧИКА? — СПРОСИЛИ они.

— КОНЕЧНО, МАЛЬЧИКА! — СКАЗАЛ ЮНЫЙ ГАБРОВЕЦ.

— ПОЧЕМУ?

— В НЕМ БОЛЬШЕ ШОКОЛАДА!

НАЧАЛО ПУТИ

Что может быть интереснее путешествий? Что может так наполнить человеческую память, как дорожные впечатления, приключения, встречи? Главное, не быть равнодушным наблюдателем! Главное, взглянуть в окружающий мир и запоминать, запоминать и на крайний случай записывать и фотографировать... В дороге нет мелочей! Все интересно! «Удивительное — рядом!» — как сказал С. В. Образцов, который перед этим объездил весь мир...

18 мая, в 5 часов утра, мы отправляемся... Смотрим на все глазами заправских туристов. И хотя еще ничего не началось, но в головах уже все перемешалось... Ясное майское утро. Температура плюс 22 градуса... Настроение бодрое! Выходим из подъезда с чемоданами. Оглядываемся. До чего же красив наш двор! Никогда не видели его в такую рань... Пустые скамейки, летит тополиный пух... Откуда-то выскочила кошка и куда-то юркнула... За ней другая... Куда это они поутру?.. Да, всюду жизнь! Очень хочется посидеть, поразмышлять, понаблюдать, но уже подъехало такси...

Таксист, приветливый черноглазый паренек, говорит на чистом русском языке... Еще мгновение — и зеленая «Волга» модели «М-24» с аккуратными шашечками на борту выезжает на улицу Горького. Мы сразу приникли к стеклам... Дома, дома, дома... Розовый мрамор, белые колонны, экзотическая витрина «елисеевского» магазина... Новый вестибюль станции метро «Маяковская»... Каких-нибудь двадцать лет назад его еще не было... Первые прохожие. Кто на работу, кто домой... Вспоминается народная мудрость: «Кто рано встает, тому бог подает!»... Записываем ее в путевой блокнот... Ленинградский проспект! Он начинается прямо от Белорусского вокзала и, как объясняет шофер, тянется до самого Ленинграда. Запоминаем!.. Вокруг опять дома. ...Уже без розового мрамора и без колонн. Прямая, как спираль, дорога ведет нас к международному аэропорту «Шереметьево-2», который находится на северо-западе от Москвы... или на северо-востоке... В четырех рублях от центра столицы!..

— Химки! Химки! — восторженно кричит один из нас. Смотрим. Записываем.

Дорога сворачивает направо. По бокам — деревья... Одно, два, десять...

— Сколько в этом лесу деревьев? — спрашивает один из нас шофера.

Шофер резко тормозит, изумленно смотрит на нас.

— Много, наверное... Записываем.

А вот и аэропорт. Выходим из машины, расплачиваемся... Последний раз оглядываемся...

— До свидания, родной дом! До свидания, Галка Галкина!

Впрочем, прощаться рано... надо пройти таможенный контроль. Заполняем декларации.

— Как думаешь, писать, что у меня есть сын? — спрашивает один из нас другого.

— Ты что, взял его с собой?

— Нет.

— Тогда можно не писать...

Таможенник прошепелевал наши чемоданы. Еще раз оглядываемся...

— До свидания, родной дом! До свидания, Галка Галкина!

Опять зря попрощались, Надо пройти пограничный контроль. Спокойный и молчаливый пограничник вглядывается в фотографии на паспортах и, видимо, понимает, что на фотографиях мы получаемся лучше, чем в жизни...

Все в порядке. Мы еще в Шереметьеве, но уже за границей.

Быстрокрылый лайнер. Поднимаемся по лесенке, которая называется «трап». Запоминаем. Садимся. Знакомимся со стюардессой. Зовут Таней, живет в Кузьминках. Записываем телефон, закрываем глаза, пристегиваемся ремнями...

Отстегиваемся уже в Софии...

Нас тепло встречают, сажают в поезд, ведут в вагон-ресторан, который следует до Габрова, Молодой болгарский писатель Росен Босев заказывает обильный завтрак. Его щедрость заставляет нас задуматься: а туда ли мы едем?.. За соседним столиком посетитель что-то говорит официанту, тот улыбается.

— О чем они говорят? — спрашиваем мы. Росен переводит:

ПОСЕТИТЕЛЬ: ОФИЦИАНТ! ПОД СТОЛ УПАЛО ДЕСЯТЬ СТОТИНОК. ЕСЛИ ТЫ ИХ НАЙДЕШЬ, ВЕРНИ МНЕ, А ЕСЛИ НЕ НАЙДЕШЬ — ВОЗЬМИ ИХ НА ЧАЙ!

Мы поняли, что Габрово недалеко...

КОШКИ БЕЗ ХВОСТОВ

Первую кошку мы увидели, подъезжая к Габрову, — она была нарисована на дорожном знаке, показывавшем поворот к городу. Справа от него висел плакат '«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГАБРОВО!»', рядом второй знак — скелет рыбы и нож с вилкой, традиционный символ «угощения по-габровски». Эти два символа сопровождали нас во время всего фестиваля — бесхвостые кошки и скелеты рыбы были всюду: на стенах домов, на витринах магазинов, на ресторанных меню, на мужских рубашках и женских юбках... Фестиваль сатиры и юмора был всеобщим праздником, и каждый габровец считал себя его участником и хозяином.

Прежде всего надо сказать, что габровцы выглядели совершенно обычными людьми, и тот факт, что они устраивали у себя в городе веселый фестиваль, вовсе не означал, что они беспрерывно острили, строили смешные рожи, показывали фокусы или рассказывали анекдоты в рабочее время... Ощущение праздника не мешало им аккуратно выходить на работу, делать покупки в магазинах и вести домашнее хозяйство. Более того, как мы впоследствии узнали, в дни фестиваля многие габровские предприятия перевыполнили план, это было еще одним доказательством экономической эффективности смеха.

И все-таки, глядя на разукрашенные улицы, на развешанные повсюду смешные лозунги и транспаранты, видя огромное количество гостей, приглашенных из разных

округов Болгарии и из-за рубежа, мы невольно задавали себе вопрос: зачем им это надо? Почему именно габровцы, известные всему миру как сверхрасчетливые, даже скуповатые люди, позволяют себе такое расточительство? В Габрозском окружном комитете партии нам сообщили, что фестиваль обошелся почти в 100 тысяч левов. Сумма довольно солидная. Выходит, габровцы не такие уж скупые люди, как сами себя расписывают, или мы чего-то не понимаем... А понять было необходимо, иначе как мы отчитаемся за командировку?..

Мы задавали бесконечное количество вопросов нашим друзьям — болгарским писателям, художникам, экономистам, историкам, партийным работникам, и из их ответов постепенно возникла довольно стройная теория и история «габровского юмора». Нам она показалась достаточно убедительной...

1. Город Габрово появился много сотен лет назад из маленьких деревень, разбросанных по склонам гор. Трудные природные условия — бесплодная каменистая земля, капризная погода, сильные ветры и палящее солнце — могли привести человека слабого в состояние уныния, пессимизма и нищеты. Габровец от природы был человеком физически и духовно сильным, он подчинил себе камень и дерево, построил дома и мастерские, развел овец и заставил реку Янтру мять и мыть кожу, молоть муку и приводить в движение станки. Затем предприимчивый габровец сел в телегу, в лодку и поехал и поплыл в разные концы Османской империи и за ее пределы продавать свои «кожухи», миски, ножи, топоры, сукно. Жизнь научила габровского ремесленника ценить трудовую копейку, проявлять смекалку, позволяющую сделать из одной копейки две. Смекалка и бережливость становятся чертой его характера... Габровец не скряга, но прижимист. Его основной девиз: никаких излишеств!

Габрово основал кузнец Рачо из горной деревушки. Благодарные габровцы воздвигли ему памятник. Величественная фигура кузнеца была установлена посреди реки Янтры — типично «габровское»

решение: и увековечили память основателя, и сэкономили землю.

...кстати, рассказывают, что: СОБРАЛИСЬ СЛУЧАЙНО ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ ГОРОДОВ БОЛГАРИИ, И, КАК ОБЫЧНО, КАЖДЫЙ СТАЛ НАХВАЛИВАТЬ СВОЙ ГОРОД. ТАК КАК НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ, ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ СОБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ И УСЛОВИЛИСЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ПРИНЕСЕТ КУШАНЬЕ, КОТОРЫМ СЛАВИТСЯ ЕГО ГОРОД. ЖИТЕЛЬ ХАСКОВА ПРИНЕС ЖАРЕННОГО НА ВЕРТЕЛЕ ЯГНЕНКА, ИЗ ЯМБОЛА ПРИНЕСЛИ ПОХЛЕБКУ ИЗ РУБЦОВ, ИЗ БУРГАСА — ЖАРЕНУЮ РЫБУ, ИЗ ГОРНА-ОРЯХОВИЦЫ — ДОМАШНЮЮ КОЛБАСУ, ИЗ ПЛОВДИВА — ФРУКТЫ, ИЗ СОФИИ — ЖАРЕНОГО ЦЫПЛЕНКА, ИЗ КАРЛОВА — ФИСТАШКИ, ИЗ ТРОЯНА — СЛИВОВУЮ РАКИЮ, ИЗ РАЗГРАДА — КИСЛОЕ МОЛОКО, ЖИТЕЛЬ ГАБРОВА... ПРИВЕЛ СВОЕГО БРАТА.

2. Этот анекдот мы слышали и раньше, правда, в другой интерпретации. Габровцы считают его своим. Может быть, так оно и есть. Габровские анекдоты возникли давно, вместе с городом. Почему именно анекдоты? Не песни, не сказки, именно анекдоты?..

Габровец трудился от зари до зари. Труд — как он ни приятен и ни полезен для развития личности, — порождает все-таки у этой личности усталость. Брошенный мимоходом короткий смешной анекдот вызывает смех, необходимую разрядку и «перезаряжает» мозг. Человек может трудиться с новой энергией, не потратив времени на отдых. Вероятно, многим такое объяснение покажется несколько схематичным, но мы, как бывшие врачи, беремся утверждать, что оно имеет под собой определенную биологическую основу...

...кстати, рассказывают, что: ЗАКОНЧИВ СТРЕЛЬБУ, КОМАНДИР ПОСЛАЛ ДВУХ СОЛДАТ ЗА МИШЕНЯМИ. СОЛДАТ РОДОМ ИЗ ГАБРОВА НАЧАЛ ИХ РАССМАТРИВАТЬ.

— ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ? — СПРОСИЛ ДРУГОЙ.
— СМОТРЮ, В КАКОЙ МИШЕНИ БОЛЬШЕ ДЫРОК. ЛЕГЧЕ НЕСТИ...

Эту шутку мы привели специально для того, чтобы вы передохнули от наших длинных теоретических размышлений.

Передохнули? Можем продолжать...

3. Кто придумывает анекдоты? Над этим вопросом ломают головы ученые-социологи, а иногда и милиция. Поразительно, что самые остроумные писатели-юмористы почти никогда не придумывали анекдотов. Михаил Иванович Глинка сказал: «Музыку придумывает народ — мы же ее только аранжируем». Анекдоты тоже придумывает народ, мы же их только распространяем...

Габровцы любят смеяться над собой. Они не обижаются, когда смеются над их расчетливостью и экономностью. В этом их главная щедрость и духовное здоровье. «Пусть рассказывают анекдоты про нас, — улыбаются габровцы. — Анекдоты создают о знаменитых людях...»

Габровцы понимают, что юмор стал их национальным достоянием, природным богатством. Ведь не расчетливость же в конце концов прославила их. По расчетливости, по бережливости, по экономности немцы, американцы или японцы вряд ли уступят им. Однако американцы, и японцы не очень любят шутить по этому поводу. Габровцы шутят, они твердо знают, что от шутки ничего не убудет, а только прибавится. И еще они знают, что без юмора человек может превратиться в робота, в машину...

Поэтому сами габровцы рассказывают про габровцев, что они:

...АРБУЗ И ДЫНЮ НЕ ДАЮТ В ДОЛГ, ПОТОМУ ЧТО ДАШЬ С ТОНКОЙ КОРКОЙ, А ВЕРНУТЬ МОГУТ С ТОЛСТОЙ.

...ПОКУПАЯ ЧТО-НИБУДЬ, ПРОСЯТ ЗАВЕРНУТЬ В СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ.

...ВО ВРЕМЯ ЕДЫ СНИМАЮТ ОЧКИ, ЧТОБ НЕ ИЗНАШИВАЛИСЬ СТЕКЛА.

...ПОКУПАЮТ КУР ПО ТУ СТОРОНУ ГОР. ПО ДОРОГЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ТУННЕЛЯ КУРЫ ДУМАЮТ, ЧТО НАСТУПИЛО УТРО, И СНОСЯТ ПО ЯЙЦУ.

... ЕСЛИ ЖЕНЯТСЯ, ТО НА ТОНЕНЬКИХ ДЕВУШКАХ: ТАКАЯ ЖЕНА И МЕСТА В ДОМЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬ НЕМНОГО, И СИТЦА ЕЙ НА ПЛАТЬЕ ПОЙДЕТ ПОМЕНЬШЕ...

...ПО УТРАМ БЕРУТ КУСОК ХЛЕБА, ИДУТ НА РЫНОК, ПРОБУЮТ ТАМ БРЫНЗУ, МАСЛО, СЫР И ТАКИМ ОБРАЗОМ... ЗАВТРАКАЮТ.

...КОГДА ДАЮТ ЛОШАДЯМ ОПИЛКИ, НАДЕВАЮТ ИМ ЗЕЛЕННЫЕ ОЧКИ. АВОСЬ, ПОДУМАЮТ, ЧТО ЭТО СЕНО.

Талантливейший болгарский карикатурист, профессор Илия Бешков говорил: «Юмор для общества — нечто вроде кровообращения... Народ, который не создал юмора, не обеспечил себе права на существование».

КАРНАВАЛ

С раннего утра по городу разъезжали цирковые повозки. Импровизированные клоунские оркестры оглашали улицы звуками веселых маршей. Глашатаи в огромные рупоры выкрикивали: «Всем, всем! Сегодня в шесть часов — карнавальное шествие! Ваше присутствие обязательно!..»

Впрочем, эти напоминания были лишними. Каждый габровец знал, что именно сегодня, в шесть часов вечера, на центральных улицах города состоится грандиозное карнавальное шествие, подготовка к которому шла несколько месяцев.

Уже к четырем часам уличное движение полностью прекратилось. Вернее, не прекратилось, а усилилось. Просто вместо потока автомобилей по проезжей части улиц

двигались потоки нарядно одетых людей. Люди заполняли балконы, крыши, деревья. Пробраться на главную улицу Радецку, где для гостей были сооружены трибуны, становилось все труднее, тем более, что мы несколько опоздали.

Сначала мы продирались через толпу, потом, поняв, что это — дело бесполезное, пытались использовать проходные дворы и переулки, потом мы извлекли специальные пропуска и, неся их над головой, как транспаранты, продвинулись вперед еще на несколько метров, потом мы с грустью поняли, что, несмотря на все наши усилия и документы, мы ничего не увидим и не услышим.

Спасение, как всегда, пришло со стороны Росена Босева — нашего верного товарища. Он куда-то все-таки пролез, кому-то что-то сказал, и вдруг над толпой раздался мощный голос капитана милиции: «Товарищи! Прошу пропустить советских писателей!»

— Это мы! — обрадованно закричали мы.

Толпа в меру своих возможностей расступилась и буквально вытолкнула нас к трибунам. В это время Арканов чуть не попал под копыта открывавших карнавальное шествие конных герольдов. Впоследствии Арканов очень жалел, что не попал под копыта, поскольку для него как для юмориста-сатирика это было бы подлинной производственной травмой.

Итак, мы на трибуне. Хорошо видно, хорошо слышно, есть с кем поздороваться. Кроме нас (кто бы мог подумать!), на фестивале присутствует еще много гостей. Поэт-пародист Александр Иванов, немного помятый от длительного путешествия и унылый от затянувшихся трапез, все-таки с трудом узнает нас и машет нам рукой. Тоже машем ему, потом оглядываемся и понимаем, что он машет рукой не нам, а известному советскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю. Машем руками Гайдаю. Он тоже машет рукой, но опять же не нам, а народному артисту РСФСР Юрию Яковлеву. Понимаем, что Леонид Гайдай привез на фестиваль свою новую кинокомедию «Иван Васильевич меняет профессию», где Ю. Яковлев исполняет главную роль. Машем ему за это рукой, а заодно и кинорежиссеру В. Котеночкину. Котеночкин в Габрове популярен и в ответ на все приветствия отвечает одним возгласом: «Ну, погоди!»... Нам нравится махать. Приветственно машем известному французскому художнику-карикатуристу Жану Эффелю, знаменитому датскому художнику Херлуфу Бидstrupу, польскому художнику Эрику Липинскому. Но они, очевидно, по-русски не понимают и на наши махания не отвечают... Впрочем, хватит махать: карнавал начался...

Вспоминаем, как он готовился. Нам об этом рассказал первый секретарь Габровского горкома БКП товарищ Иван Стоянов. С самого начала фестиваль сатиры и юмора рассматривался как важное государственное мероприятие, способствующее популяризации национального болгарского искусства, развитию жанра сатиры и юмора и использованию их в идейно-воспитательной работе партии.

Партийные и государственные руководители прекрасно понимают, что смех, улыбка, бодрое, хорошее настроение помогают людям в труде, в жизни, делают интересным их отдых и всем этим способствуют повышению производительности труда, укреплению здоровья людей и увеличению продолжительности их жизни...

Габровский горком партии возглавил подготовку к фестивалю. Всем заводам и фабрикам города, школам, училищам, институтам был роздан сценарий карнавала, и каждое предприятие или учебное заведение, выбрав на свой вкус тему, разрабатывало ее и готовило для показа в карнавальном шествии. Таким образом, карнавал был не только демонстрацией масок, костюмов, макетов и панно, но и своеобразным соревнованием в остроумии и изобретательности. Когда мы спросили, кто сочинял сценарий карнавального шествия, нам ответили по-габровски скупой: «ВСЕ!»

Итак, карнавал начался.

Огромный — несколько метров длиной — черный габровский кот, вращая глазами и помахивая длинным хвостом, подъезжает к трибуне и останавливается. Почетный председатель фестиваля, народный артист Болгарии Георгий Колоянчев произносит

церемониальную речь, по-габровски краткую и смешную, затем получает огромные ножницы и торжественно отсекает хвост коту. Кот доволен, зрители тоже, о чем и свидетельствуют их бурные аплодисменты. Звучат фанфары! Вот теперь карнавал уже действительно начался...

На улицу выбегают клоуны, ряженые, шуты, герои габровских анекдотов. Они будут сопровождать все карнавальное шествие, время от времени выкрикивая тот или иной габровский анекдот, над которыми все будут смеяться: горожане — громко и заразительно, гости — вежливо, через переводчика.

Проплывает макет величественной скульптуры Рачо Ковача. Кузнец улыбается: он рад, что основал веселый и знаменитый город. Следом движется огромная платформа — на ней участники самодеятельности изображают представителей всех основных промышленных отраслей Габрова: машиностроители, ткачи, кожевники, обувщики, полиграфисты славят свой труд.

Трехметровая фигура Человека, улыбающегося и стремящегося ввысь. Но его не пускают, разноцветными лентами его полет сдерживают маленькие фигурки, изображающие человеческие пороки и недостатки: Лень, Карьеризм, Воровство, Пьянство, Бюрократизм. Но Человек хохочет, и от его смеха рвутся ленты, сковывающие его движения.

Огромный земной шар. На его полюсе сидит господь бог, сбежавший на эти дни из книг Жана Эффеля. Бог читает книжку габровских анекдотов и хохочет. Черт читает эти же анекдоты и не улыбается. У него нет чувства юмора, и черт с ним!

Мимо трибун движется гигантское куриное яйцо с водопроводным краном. Это иллюстрация известной габровской уловки: здесь даже к яйцу приделывают кран, чтобы использовать при готовке именно ту его часть, которая нужна. Не все же яйцо бухать в тесто?

А вот еще одна иллюстрация габровского юмора. На площадь высыпает танцоры в мягких шерстяных тапочках и с большими приклеенными ушами. Габрово не будет заводить собственные оркестры — гораздо экономнее танцевать под музыку, которая слышна из соседнего города.

Большим успехом у зрителей пользуются и сатирические уколы, направленные на искоренение конкретных местных недостатков. Вот волы медленно тащат повозку, в которой заседает научно-исследовательский институт, разрабатывающий проект градоустройства Габрова. Медленно тянутся волы, лениво работают сотрудники, весело хохочут зрители.

Огромная лодка. Всего один гребец налег на весла. Но зато десять руководителей с рупорами методично командуют каждым взмахом: «Раз — два, взяли! Еще, взяли!».

Этот юмор выходит за рамки Габрова. То, о чем идет речь, понятно многим...

А вот иллюстрация сегодняшней моды, Большая колонна молодежи под «хиппи» — все в широких цветастых брюках, все с длинными волосами, все с сигаретами. Естественные половые признаки скрыты, приходится придумывать искусственные: на груди у каждого большой значок с буквой «М» или «Ж»...

Провозятся мимо трибун «герои» известных сатирических журналов: здесь и наш «Крокодил», и польские «Шпильки», и болгарский «Стыршл», и немецкий «Ойленшпигель»... За ними самые популярные персонажи, созданные юмористической литературой, — Швейк, Дон Кихот с верным Санчо, Гаргантюа и Пантагрюэль, Тевье-молочник, Остап Бендер.

Цирк! Вместе с популярными клоунами, жонглерами, эквилибристами принимают участие в карнавальном шествии и звери. На клетке со львами надпись «Не бойтесь! Мы не ваши начальники! Мы всего только львы!..».

Три часа длится карнавал. Танцевальные коллективы, оркестры, спортсмены, дети... В заключение: парад «кукеров» — нечто вроде наших скоморохов.

И в темнеющем небе рассыпаются гроздья огней фейерверка! Город сотрясают залпы салюта.

Карнавал окончен — карнавал продолжается. Народное гулянье будет длиться всю ночь...

— Вам понравилось? — спрашивают нас болгарские друзья.

Мы отрицательно качаем головой, что по-болгарски означает:

— Да! Очень!

Нас ведут на торжественный прием, переходящий в банкет, что в переводе означает «товарищеский ужин», который, как мы понимаем, пройдет в теплой, дружеской обстановке.

...кстати, рассказывают, что; МЕЖДУ ДВУМЯ ГАБРОВЦАМИ ПРОИЗОШЕЛ ТАКОЙ ДИАЛОГ:

— СЕГОДНЯ БАНКЕТ. НЕ ЗНАЮ, ИДТИ МНЕ ИЛИ НЕТ.

— А КТО ЕГО ДАЕТ?

— Я.

«МИР ВЫЖИЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ!»

Под этим девизом проходила Международная выставка карикатуры и сатирической пластики, которая была одним из центральных мероприятий фестиваля. Открытие выставки явилось официальным открытием всего праздника в Габрове. Габровский фестиваль на этот раз в отличие от прошлых лет перерос масштабы округа и стал общенациональным событием. Выставку открывала Людмила Живкова — первый заместитель председателя Государственного комитета по искусству и культуре. В выставке принимали участие художники из многих стран мира...

Просторные залы. Со всех стен на нас смотрят забавные человечки, выполненные в самых разнообразных манерах и в самых невероятных ситуациях. Одни рисунки сделаны в добротной старой манере, каждая деталь вырисована, выписана и раскрашена, большое количество персонажей и сюжетов в одной карикатуре. Некоторые из них напоминают загадочные картинки из журнала «Пионер» с надписью «Найдите Вову!..»

Другие карикатуры — это рисунки-символы. Разумеется, тоже мастерски выполненные. Один-другой штрих, обозначение предмета, обозначение человека — и в рисунке проявляется мысль, чем парадоксальней и неожиданней, тем интересней.

Политическая карикатура — оружие художников-публицистов. Несправедливые войны, угнетение человека, расовая дискриминация, колониализм, антисемитизм и сионизм — все это темы, которые волнуют художников и не оставляют равнодушными посетителей.

Сатирические скульптуры. Работы скульпторов уместились пока в небольшом зале, но пользовались не меньшим успехом, чем графика. Бюрократ, высеченный из мрамора, стяжатель, отлитый из металла (вместо туловища у него сейф), производят внушительное впечатление. Сатира становится «весомой»... Есть и просто юмористические композиции-парадоксы: ложка для супа, вся изрешеченная дырочками, — попробуй поешь! «Книга жалоб», возле нее автоматический карандаш, подключенный проводами к электросети, — попробуй пожалуйся!

Многие относятся к таким композициям как к пустой забаве. Устроители выставки справедливо увидели в этом остроумную выдумку, достойную того, чтобы к ней относиться как к искусству.

Первую премию — «ЭЗОП-73» (награда выполнена из золота) получил молодой турецкий художник Эрдоган Бозок. На его рисунке изображен босой человек, стоящий возле двух магазинов: обувного и автомагазина. Несмотря на босые ноги, человек интересуется все-таки автомобилем...

Этот рисунок нам понравился, хотя, честно говоря, некоторые рисунки других художников на нас произвели гораздо большее впечатление.

Доверимся вкусам весьма компетентного жюри, в состав которого входили и Жан Эффель, и Херлуф Бидstrup, и известный болгарский художник Карандаш, и многие

другие... Было еще шесть вторых премий, одну из которых получил советский художник Михаил Щербак за карикатуру, в которой автор использует сюжет известной картины А. Иванова «Явление Христа народу», но вместо Христа перед людьми предстает трогательная фигурка Чарли Чаплина.

Один из специальных призов получили Кукрыниксы...

Описывать карикатуры словами — занятие достаточно сложное и скучное. Поэтому мы не станем пересказывать сюжеты юмористических и сатирических рисунков, отметим только, что жюри благосклонно относилось к тем произведениям, которые были по-настоящему философичны, несли в себе гуманную идею и были, конечно, остроумны. Габровцы ценят карикатуру, ибо она — своеобразный короткий анекдот, понятный и без перевода.

Устроители выставки успели издать за короткое время шикарно выполненный альбом-каталог, в который вошли работы всех участников выставки. Один такой альбом был передан нам в дар редакции журнала «Юность». Вернувшись в гостиницу и перелистывая альбом, мы завидовали карикатуристам: писателей-сатириков на такой бумаге да еще за несколько дней никогда не издадут...

...кстати, рассказывают, что: ОДИН ХУДОЖНИК РЕШИЛ ПРОДАТЬ СВОЮ КАРТИНУ ТОРГОВЦУ ПОЛОТНОМ. КУПЕЦ СОГЛАСИЛСЯ И ПРЕДЛОЖИЛ ЗА КАРТИНУ 50 ЛЕВОВ.

— ПЯТЬДЕСЯТ? — ВОЗМУТИЛСЯ ХУДОЖНИК, — ДА Я У ВАС ПОЛОТНО КУПИЛ ЗА СТО!

— ДА, НО ОНО ТОГДА ЕЩЕ БЫЛО ЧИСТЫМ! — НЕВОЗМУТИМО ОТВЕТИЛ ГАБРОВЕЦ.

ОДИН ДЕНЬ

абочий день фестиваля начинается рано, ПроНм} сыплемся в шесть часов утра, смотрим на часы, спим еще час и встаем. Поэт-пародист Александр Иванов встает без четверти семь: он длинный, ему дольше одеваться...

Легкий обильный завтрак, во время которого сопровождающие нас Росен Босев и сотрудница Дома-музея сатиры и юмора Лили Рашева сообщают нам программу, согласно которой мы будем жить эти сутки... Не запоминаем, потому что программа так насыщена, что на запоминание нет времени. Не записываем, потому что жарко, мы без пиджаков, в которых остались ручки, блокноты...

9 часов утра. В здании горисполкома происходит торжественное награждение победителей Международной выставки карикатуры. Нас не награждают, но мы присутствуем, аплодируем победителям, пьем «Плиску» за их здоровье.

10 часов утра. В Доме молодежи открывается конференция по вопросам развития кинокомедии.

Здесь впервые за многие годы лично знакомимся с Л. Гайдаем. Дискутируем с ним, спорим, пытаемся решить вечный вопрос комедийного кино: «Что важнее — сюжет или характеры?» Мы считаем, что сюжет, но, конечно, и характеры. Гайдай считает, что характеры, но, конечно, и сюжет. Так и не решив этой кардинальной проблемы, обмениваемся московскими адресами и телефонами. На прощание Гайдай предлагает каждые два года в Габрове проводить кинофестиваль комедийных фильмов. Мы не возражаем...

11 часов 30 минут. В концертном зале, переполненном габровцами, выступает эстрадно-сатирический коллектив Болгарского радио «Зиг-Заг». Поют эстрадные певцы, артисты Софийского театра сатиры исполняют всевозможные сценки и скетчи. Мы не все понимаем, но смеемся и даже хохочем. Дело в том, что это выступление «Зиг-Зага»

записывается для радио, чтобы потом прозвучать в эфире с ре-, акцией зрителей. Надеемся, что наш залихватский смех понравится болгарским радиослушателям...

К двум часам ночи добираемся до гостиницы.

Скоро к нам в номер приходят представители юмористических журналов из братских стран. Беседуем по-румынски, по-чешски, по-польски, по-болгарски... Самое поразительное, что нас понимают, хотя мы с трудом ворочаем языками. Полиглотничаем до четырех часов... Ложимся спать в пять.

Поэт-пародист Александр Иванов ложится в шесть: он длинный, ему дольше раздеваться...

...кстати, рассказывают, что: КОГДА ОДНОМУ ШОТЛАНДЦУ РАССКАЗАЛИ АНЕКДОТ О ТОМ, ЧТО ГАБРОВЦЫ ПО НОЧАМ ОСТАНАВЛИВАЮТ ЧАСЫ, ЧТОБЫ НЕ ИЗНАШИВАЛИСЬ ЧАСТИ МЕХАНИЗМА, ОН СКАЗАЛ, ЧТО ШОТЛАНДЦЫ ПОСТУПАЮТ ТАК ЖЕ, И ДОБАВИЛ:

— У МЕНЯ ЕСТЬ СОСЕД, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ У СЕБЯ ПОД КРОВАТЬЮ ТРОМБОН. КОГДА ЕМУ НУЖНО НОЧЬЮ УЗНАТЬ, КОТОРЫЙ ЧАС, ОН ОТКРЫВАЕТ ОКНО И ТРУБИТ. ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ КТО-НИБУДЬ, ЧТОБЫ КРИКНУТЬ: «КАКОЙ ИДИОТ ПОДНИМАЕТ ШУМ В ТРИ ЧАСА НОЧИ?!»

МУЗЕЙНАЯ РЕДКОСТЬ

Много музеев есть на свете. Но в Габрове создается уникальный музей, единственный в мире и в своем роде, — Музей сатиры и юмора. Идею создать такой музей выдвинул советский литературовед и исследователь комического Дмитрий Николаев.

Габровцы умеют не только давать свои советы, но и ценить чужие. В короткое время идея стала реальностью. Горсовет принял постановление о строительстве Музея сатиры и юмора на месте старой, отжившей свой век фабрики. Проект Дома-музея уже существует, его автор — мэр Габрова, архитектор Карл Кандулков. Есть у Дома-музея уже и директор — Стефан Фортунов, человек безраздельно преданный благородному делу сатиры и юмора, собиратель габровского фольклора, необычайно деятельный и серьезный человек...

Мы сидим в кабинете директора. Пока, кроме этого кабинета и двух соседних комнат, у Музея сатиры и юмора ничего нет. Впрочем, не совсем так. Уже есть довольно большая картотека, в которой собраны данные о многих деятелях юмористической культуры: писателях, артистах, художниках, композиторах. Есть библиотека юмористической литературы. Есть альбомы карикатур. Есть подшивки сатирических и юмористических изданий со всего мира. Есть два письма, подписанных Чарли Чаплином и адресованных Дому-музею сатиры и юмора...

Стефан Фортунов вдохновенно рассказывает нам о том, что будет. Будут театральные залы, для выступлений самых известных мастеров смеха. Будет самая большая библиотека сатиры и юмора. Будут постоянно действующие выставки художников-карикатуристов. Будет кинозал кинокомедий. Будет огромная фонотека. Будут залы для дискуссий и теоретических изысканий.... Будет...

Слушая Фортунова, мы с благодарностью думаем о габровцах, которые взяли на себя нелегкий труд собрать в своем городе разбросанные по миру крупинки смешного, приютить у себя всех юмористов и сатириков всех жанров, к которым, чего греха таить, во все века относились не очень-то благожелательно.

Фортунов не только рассказывает. Он советует, просит предлагать.

Предлагаем организовать конкурс короткого литературного анекдота-рассказа. Не больше одной страницы. Продолжить традицию габровской шутки.

Фортунов записывает. Принято.

Предлагаем оценивать юмористические произведения по особой шкале. Единицей чувства юмора считать «один габров»... Чтоб можно была говорить, что, мол, этот рассказ тянет на «пять габровых», а эта шутка — на «ноль целых пять десятых габрова».

Принято.

Просим принять нашу Галку Галкину в число постоянных сотрудников Дома-музея сатиры и юмора. Достаем огромную куклу, оформленную художником И. Оффенгенденом, точную копию нашей Галки, — весьма привлекательную особу, к которой отныне бояться попасть на острый язычок прохиндеи всех возрастов и профессий. Куклу преподносим Фортунову. Они очень хорошо смотрятся вместе.

Фортунов улыбается, сажает Галку на почетное место. Благодарит. Присутствующий здесь же мэр города Карл Кандулков заверяет нас, что специальным решением горисполкома Галка Галкина будет постоянно прописана в городе Габрове, о чем редакция «Юности» будет извещена специальным документом.

Теперь уже мы благодарим.

Нам предоставляется высокая честь записать свои хриплые голоса для фонотеки Дома-музея, что мы и делаем...

Впервые с уважением смотрим друг на друга.

...кстати, рассказывают, что: В ОДНОМ ПИСЬМЕ ГАБРОВЕЦ ПИСАЛ: «Я ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, МИЛЫЙ ДЯДЯ, ЧТО НЕ СМОГУ ТЕБЯ ВСТРЕТИТЬ НА ВОКЗАЛЕ. ПРИДЕТ МОЯ ЖЕНА. ЧТОБЫ ОНА ТЕБЯ УЗНАЛА, ДЕРЖИ В ЛЕВОЙ РУКЕ ПОРОСЕНКА ИЛИ, НА ХУДОЙ КОНЕЦ, ГУСЯ...»

ИТАК...

Восемь дней фестиваля позади. Каждый из них по насыщенности был похож на тот, который мы описали.

Собираясь в обратный путь, мысленно составляем отчет, с которым явимся в редакцию.

В голове возникают фразы и абзацы типа: «...габровский фестиваль явился подлинным всеобъемлющим...», «...встречи были полезными, объятия — дружескими и проходили в обстановке сердечности...», «...дискуссии были взаимообогащающими», «увиденное оставило неизгладимое впечатление...», «...вышла болгарка на берег Дуная, бросила в воду цветов».

Посмеявшись над этими казенными фразами, понимаем, что Габровский фестиваль сатиры и юмора явился подлинно народным праздником, встречи были чрезвычайно полезными, а объятия действительно дружескими и сердечными, что дискуссии были поистине взаимообогащающими (не знаем, как наших болгарских друзей, а нас они обогатили). И все то, что мы увидели, на самом деле оставило неизгладимое впечатление. И болгарка, которая вышла на берег Дуная, была удивительно хороша!..

В связи с этим, именно в связи с этим никакого стройного отчета о поездке в Габрово мы представить не в состоянии, кроме того, что здесь изложено. Во всяком случае, все написанное так же достоверно, как и то, что в Габрове живут габровцы...

...кстати, рассказывают, что: В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ НЕ ОДИН ГОД ВЕДУТСЯ РАЗГОВОРЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ФЕСТИВАЛЯ САТИРЫ И ЮМОРА. ГОРОДОВ, ИМЕЮЩИХ СВОЮ «СМЕХОВУЮ» ТРАДИЦИЮ, ПРЕДОСТАТОЧНО: И ОДЕССА — ГОРОД СВОЕОБРАЗНЫХ АНЕКДОТОВ И ЗНАМЕНИТОГО «ОДЕССКОГО» ЮМОРА, И НОВОСИБИРСК — ГОРОД ФИЗИКОВ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ САТИРИЧЕСКИХ АНСАМБЛЕЙ, И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ГОРОДОВ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ ЛЮДИ, ЛЮБЯЩИЕ И ЦЕНЯЩИЕ ЮМОР.

ГАБРОВЦЫ ХОТЯТ ПРИЕХАТЬ В ГОСТИ, НО НЕ ЗНАЮТ, КУДА.

*

Р. С. Через некоторое время после того, как мы вернулись из Габрова, в редакцию «Юности» пришло письмо:

«Уважаемый товарищ Главный редактор!

Позвольте выразить Вам нашу сердечную благодарность за подарок — куклу Галки Галкиной, которую Вы так любезно подарили нам. Эта кукла, так же, как сама Галка Галкина, отныне является жителем города Габрова с постоянной пропиской в Доме юмора и сатиры.

Директор Дома юмора и сатиры Стефан ФОРТУНОВ».

г. Габрово.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Ион ДРУЦЭ. Запах спелой айвы. Повесть. 4

Альберт ЛИХАНОВ. Обман. Повесть. (Продолжение) .., 48

ПОЭЗИЯ

Петрусь БРОВКА. Веселка. Симфония утра. Кавказский рисунок. За что вас так люблю?..

Перевел с белорусского В. Корчагин 2

Роман СОЛНЦЕВ. Эконда. Стихи о чайке ... 3

Николай ТРЯПКИН. Пролетарии всех стран! «Земная тишина! Старуха богомолка!..»
«Днем и ночью, снова днем и ночью...»..... 45

Лев СМЕРНОВ. «Печь жарко топится в избе...». «Зеленая лампа в окне...». Монолог осветителя. Матрешки..... 45

Сергей ДРОФЕНКО. Из неопубликованного . . 47

Светлана СОЛОЖЕНКИНА. «И небо, и ветер...». «Вот поезд едет в Учалы...». «Так речна весело поет...». «Под небом северным, тоскливым...». «Снег падает так безутешно...». «У метели бессвязные речи...»..... 61

Александр КУШНЕР. Отказ от поэмы. «Перерастает человек земную жизнь свою...». «В черной трубке услышав отбой...». Лавр. »*

Вадим КУЗНЕЦОВ. «Ни двора у меня, ни кола...».

«Какому богу я служу?...». Другу..... 63

Расул РЗА. Сказание о скрипке, старом садовнике и скрипичном мастере. Аист.
Перевел с азербайджанского М. Синельников /1

КРИТИКА

Ю. ОСМОЛОВСКИЙ. Русские женщины. (К нашей складке)..... 64

Константин ЩЕРБАКОВ. По следам нестоличных премьер..... 6j

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Владимир ОГНЕВ. Диалог о поэзии..... 72

Ольга ГАРИНА. Легенды и были..... 78

ПИСЬМО СЕНТЯБРЯ

81 Анна Т. «Дальше только красный...» 81 Ада ЛЕВИНА. Кому светит зеленый?

ПУБЛИЦИСТИКА

Вадим ЛЕТОВ. Глубинка..... 83

Валентин АФОНИН. Мой КамАЗ..... 83

Алексей ДИДУРОВ. Прощальный марш ... 94

СПОРТ

Виктор КРАЗУЗЕ: «Я не люблю стадион» ... 99

ЗАМЕТКИ

И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

% М. ПРОБОРОВ. «Коктейль «Галка Галкина», i/f А. БЕРНШТЕЙН. «Дьяволенок».
Том Джексон.....101

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Арк. АРКАНОВ, Гр. ГОРИН. В Габрове живут габровцы..... 104

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия;

А. Г. АЛЕКСИН,

В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ

(зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

(зам главного редактора),

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

(отв. секретарь),

К. Ш. КУЛИЕВ,

Г. А. МЕДЫНСКИЙ,

В. Ф. ОГНЕВ,

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

Художественный редактор Ю. А. Ц и ш е в с к и й.

Технический редактор ГГ. К. Зябкий а.

На 1 — 4-й стр. обложки рисунок Е. КАЧЕЛАЕВОЙ.

Адрес редакции:

101524. ГСП, Москва, К-6.

Улица Горького, № 32/1.

Телефон редакции: 251-32-83.

Рукописи

не возвращаются.

Сдано в набор 5/VII — 1973 г. Подп. к печ. 20/VIII — 1973 г. А 12704.

Формат 84 X 108Vn. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 100 000 экз.

Изд. № 1933. Заказ .4° 827.

Ордена Ленина

и ордена Октябрьской

Революции

типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина 125865. Москва, А-47, ГСП, ул.
«Правды», 24.